Анри Труайя

Николай II

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Последний российский император Николай Второй – одна из самых трагических и противоречивых фигур XX века. Прозванный «кровавым» за жесточайший разгон мирной демонстрации – Кровавое воскресенье, слабый царь, проигравший Русско-японскую войну и втянувший Россию в Первую мировую, практически без борьбы отдавший власть революционерам, – и в то же время православный великомученик, варварски убитый большевиками вместе с семейством, нежный муж и отец, просвещенный и прогрессивный монарх, всю жизнь страдавший от того, что неумолимая воля обстоятельств и исторической предопределенности ведет его страну к бездне. Известный французский писатель и историк Анри Труайя представляет читателю искреннее, наполненное документальными подробностями повествование о судьбе последнего русского императора.

- Анри Труайя
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Эпилог
  - Фото
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51

- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95

- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139

- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183

- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227

- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271

- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306

Анри Труайя
Николай II

Глава первая
Ники

Шестого мая 1868 года в два часа пополуночи жители Санкт-Петербурга встрепенулись от триумфального пушечного залпа с Петропавловской крепости. Те, кто почивал, вскочили на ноги, те же, кто полуночничал, прервали задушевные разговоры. Все бросились к окнам. Пушечные залпы следовали с достаточно продолжительными интервалами, чтобы не сбиться со счету. Один… два… три… тридцать… пятьдесят… сто один… сто два! Роковая цифра превзойдена![1] Из дома в дом понеслась радостная весть, эхом отозвавшаяся во всем городе. Святая Русь узнала о том, что супруга наследника престола Великая княгиня Мария Федоровна явила на свет Божий первенца – сына! В клубах, театрах, блистательных салонах уже откупоривались бутылки шампанского, а по трактирам рекою лилась водка. В благополучии императорской семьи заключалось благополучие всей России. Все подданные Александра II – от самых сиятельных до самых обездоленных – радовались событию, как своей личной победе. Казалось, правящая династия крепнет из века в век – и все-таки были и грустные мысли, которые закрадывались в людские души: ведь по российскому православному календарю шестое мая – день Иова Многострадального, который, потеряв все свое состояние и своих детей, чуть было не кончил жизнь на навозной куче. Не заключалось ли в этой печальной дате предначертание горестной судьбы, ожидавшей последнего отпрыска рода Романовых?

На следующий день во всех церквах зачитывался Высочайший манифест, в котором выражалась надежда, что новорожденный великий князь, когда придет его время, посвятит свою жизнь на благо русского народа, как это делали его предки. В честь крестин внука император Александр II объявил амнистию всем заключенным, не исключая политических. Новорожденный получил имя Николай – в честь славного пращура Николая Первого. Но с самых ранних лет близкие ласково называли его Ники. Родительница окружила его нежной заботой, доходящей до ревности: сама купала и одевала его, сама ухаживала за ним и не упускала случая склониться над его колыбелькой в благоговейном восхищении. С годами товарищами Ники по развеселым играм в детской станут два братишки – Георгий и Михаил – и две сестрицы – Ксения и Ольга.[2] Апартаменты будущего венценосца и его братьев состояли из прихожей,

гостиной, столовой, комнаты для игр и опочивальни. А вот ванной комнаты там не было. Мыться дети ходили в покои матери, забираясь к ней на верхотуру Аничкова дворца. О, сколько же было озорных брызг, веселого смеха и радостных возгласов во время вечернего туалета!

Вскоре Ники и его младший брат Георгий были вверены заботам вдовы капитана Константина Петровича Олленгрэна, классной дамы Коломенской женской гимназии. Робея от внезапно свалившегося на нее поручения, Александра Петровна Олленгрэн взялась за воспитание и начальное образование великих князей.[3] Чуть позже обязанности гувернера перешли к генералу Даниловичу – недалекому, ограниченному персонажу, зато отъявленному монархисту. Он приучал Ники к повиновению, к соблюдению дистанции между собою и окружением. Ники любил новенькие книжки и тетрадки, хорошо очиненные карандаши, но его, озорника и ленивца по характеру, ничего по-серьезному в учебе не увлекало. Внимание его было рассеянно, мысли витали в облаках. Он таял от нежности при взгляде матери, но при приближении отца душа у него уходила в пятки. Мать его – цесаревна Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмара, дочь короля Христиана IX, была женщиной приятной, изящной и легкомысленной, обожавшей наряды, приемы и балы, тогда как ее благоверный, цесаревич Александр – впоследствии император Александр III – неизменно утверждал себя как человек авторитарный, строгих нравов. Непреклонность его морали обрекала домочадцев не только на повиновение, но и на скрытничанье – от главы семейства скрывали мелкие провинности, боясь сурового наказания. Он же со своей стороны никогда не вводил домашних в курс тех забот, которых стоило его батюшке управление империей, тем более что он, мягко говоря, не одобрял либеральных устремлений отца. Отзвуки бурной жизни столичного города не доходили до уютных палат Аничкова. А жизнь вокруг и в самом деле менее всего напоминала тихую заводь. Вслед за отменой крепостного права 19 февраля 1861 года над страной повеял ветер перемен. Со страниц газет, с которых наконец-то был снят тяжкий гнет цензуры, отважные журналисты все больше требовали независимости юстиции. Политические споры охватили салоны и университетские аудитории, выплеснулись на улицы. Исполненные энтузиазма студенты переодевались в мужицкое платье и шли «в народ», который собирались вразумлять. Но за краснобаями скрывались убийцы. На своих тайных сборищах террористы приговорили государя к смерти; несмотря на проводимые им масштабные реформы, он оставался для них ненавистным врагом, ибо

воплощал монархические принципы, от которых они поклялись избавить Россию. Ими уже был совершен ряд покушений на царскую особу, чудом не достигших цели. Преследуемый революционерами, отринутый частью общества, считавшего его слишком толерантным, царь тем не менее решился на то, чтобы издать манифест, являвший собою некое подобие конституции – явление, неслыханное и невиданное в империи.

В глазах Ники царь оставался мифическим существом – ведь видеть деда ему случалось только по особым случаям. И вот наступило первое марта 1881 года – маленькому Ники не исполнилось и тринадцати лет. Когда в этот день ничего не подозревавший отрок вернулся с катка, мать втолкнула его в залу Зимнего дворца, полную плачущих придворных. Ужас охватил Ники, когда он увидел лежавшую на ложе окровавленную, бесформенную фигуру со страшно перекошенным болью ртом, покрытым пеной; одежда на императоре была изодрана в клочья. Врачи суетились вокруг умирающего; дамы плакали навзрыд. Из обрывков разговоров Ники узнал, что император – такой добрый, такой достойный – пал жертвой негодяя, бросившего бомбу. Ошарашенный мальчик приблизился к своему кузену, великому князю Александру Михайловичу, который был старше всего на два года, и вцепился ему в руку. Впоследствии Александр Михайлович запишет в своих мемуарах – одетый в синюю матроску Ники был мертвенно-бледен, а мать его сжимала в руках коньки, которые только что сняла с его ног. Умирающий смотрел на двух юношей взглядом, лишенным всякого выражения.

Этот облик растерзанного, изувеченного монарха, павшего жертвой триумфального шествия свободы, навсегда запечатлелся в памяти Ники. Отныне он уже никогда не сможет отделить революционеров от убийц. В последующие дни во время погребальных церемоний, разворачивавшихся вокруг смертного одра, он выплакал глаза. При этом он еще в полной мере не отдавал себе отчета в том, что трагическое событие сделало его вторым лицом в Российской империи – наследником престола.

Едва взойдя на трон, новый царь Александр III дал обратный ход либеральным инициативам покойного отца. Рослый, массивный, с окладистой бородой, он внушал доверие народу, который видел в нем некоего возвеличенного мужика. Рассказывали, что он мог, подобно Петру Великому, сдавить руками подкову. Не обладая ни дальновидностью, ни гибкостью ума, он с подозрением относился к политическим субтильностям и видел будущее России исключительно в дисциплине и традиции.

После ареста и казни главарей исполнительного комитета «Народной воли» эта подпольная организация, бравировавшая своей силой, в конце концов рассыпалась как карточный домик, и попытки возродить ее не удались. Покушения прекратились как по мановению волшебной палочки. Но Александр III пуще огня боялся возврата революционной чумы. Пресекая любую мысль о введении в России конституции, он объявляет в своем манифесте от 28 апреля 1881 года о намерении править страной твердой дланью абсолютного властителя – отныне судьбы Империи исключительно в руках Божьих и Наших! Машина – полный назад! Более никаких мыслей о реформах. Консультируемый своим давним наставником, фанатичным поборником автократии, обер-прокурором Синода Константином Победоносцевым, Александр III отправил в отставку всех либеральных сподвижников своего отца во главе с графом Лорис-Меликовым, стоявшим за «диктатуру сердца», включая и собственного дядюшку, великого князя Константина, виновного в его глазах в том, что был слишком милостив к смутьянам. Под флагом «оздоровления» общественной жизни пресса снова попала под тяжкое ярмо цензуры, была урезана автономия университетов, зато усилена роль церкви в гимназиях; были расширены права губернаторов, зато крестьяне стали полностью подконтрольны земским начальникам, выбиравшимся местным дворянством, а полиция, усилив бдительность, всюду совала свой нос. Критерием разделения населения была не столько национальная, сколько религиозная принадлежность; поощрялось обращение в православие сектантов, магометан, буддистов и анимистов, живших бок о бок с огромной русской общиной; были введены препятствия, осложнявшие смешанные браки – скажем, православных с католиками и лютеранами; наконец, была принята на веру мысль о виновности евреев во всех революционных смутах – евреям запрещалось селиться вне определенных местностей, приобретать земли, торговать спиртным – ибо, как считалось, присущее им от века плутовство представляло бы большую угрозу для слишком доверчивого крестьянства; им чинили всяческие препятствия на пути к получению среднего и высшего образования.

Однако, находясь под этим железным законом, население не только не протестовало, но и одобряло мудрость правительства – сила, пусть даже принуждающая, внушала больше доверия, чем путаный либерализм. У маленьких людей создалось впечатление, что наконец-то над ними встал царь-отец – строгий и справедливый, понимающий, что к чему. А имущий класс, дрожавший за свои привилегии, вздохнул с облегчением: после

либеральных потуг прежнего режима под скипетром нового государя в стране наконец-то воцарился порядок!

Впрочем, Ники не заметил какой-либо разницы между климатом дней нынешних и дней минувших. Все, что происходило за стенами дворца, его не интересовало. Он делил свою комнату с братом Георгием; оба спали на маленьких железных кроватях с жесткими подушками и тонкими матрацами. Добрые и сердечные, отроки никогда не ссорились. Любя «братьев наших меньших», они завели в своих покоях целую компанию канареек и попугаев, заботу о которых не доверяли никому другому. Прислуга ценила их простоту и порою смотрела сквозь слезы умиления, как они своими руками ставили на стол обеденные приборы.

Ники питал искреннюю нежность к своему брату Георгию, чья живость ума и забавные шутки веселили весь дворец. Он скрупулезно записывал на бумагу эти перлы остроумия и, перечитывая в одиночестве, смеялся от души. Не испытывая ни малейшей ревности к интеллектуальному превосходству младшего брата, он часто говорил себе: это Георгий, а не я заслуживает быть наследником престола.

Зимою отроки в великокняжеском звании катались на коньках на лужайке перед Аничковым дворцом, где заливался каток. По воскресеньям принимали друзей, среди которых были князья Барятинские и графини Воронцовы. Когда эта развеселая компания рассаживалась за столом, шум и гам стоял такой, что командовавшему трапезой генералу Даниловичу приходилось повышать голос, чтобы восстановить порядок. По воспоминаниям одного из наставников, Гюстава Лансона, за трапезой у детишек голубых кровей возникала масса проделок и проказ – хлебные катыши летали, точно пули, порою прилепляясь прямо на нос, иной раз попадая точно в рот; беря бокал, участник пиршества не отказывал себе в удовольствии садануть локтем соседа… Барышни вели себя более сдержанно, скромно улыбаясь, находя поведение юношей забавным…

Понятное дело, совсем по-другому вел себя Ники, когда два или три раза в неделю садился за один обеденный стол с родителями. Он был сама сдержанность; молчаливые уста, потухший взор. Мучительнее всего ему было отвечать на вопрос, как идут учебные занятия. Послушный сын, Ники не отказывался учиться, но его инертность приводила его педагогов в замешательство. Кстати говоря, последние получили строгий приказ не докучать великому князю, проверяя его знания. Они читали ему урок, но не требовали после этого пересказывать его и уж тем более не устраивали ему экзаменов. Из своих наставников

Ники предпочитал англичанина Чарльза Хита. Благодаря этому образованному педагогу со спортивной закалкой царственный юноша научился бегло говорить по-английски и приохотился к спорту – играл в лаун-теннис, занимался греблей, конным спортом и даже боксом. Французский и немецкий языки ему преподавали, соответственно, мосье Дюпейре и герр Гормайер. Между тем прославленный Гюстав Лансон сумел в какие-нибудь пять месяцев привить своему ученику интерес к французской словесности. Стремясь просветить ум и сердце высокородного ученика, Лансон предложил его вниманию стихи Ламартина и Виктора Гюго. «Мне ни разу не приходилось делать ему замечание, – пишет Лансон, – ни разу не пришлось преодолевать какого-либо сопротивления. Эта уравновешенность, эта непосредственность послушания в моем воспитаннике вызывали удивление».

Ну, а над всеми этими иноземными наставниками царствовали престарелый Победоносцев, заклятый враг любых нововведений, и великий историк Ключевский, чьи исторические суждения порою пробуждали Ники от дремотного состояния. По воспоминаниям С.Ю. Витте, Победоносцев поделился с ним, в частности, такой подробностью о прилежании будущего венценосца: когда обер-прокурор читал ему свой курс, то видел только то, как Ники прилежно ковырялся в носу…

Когда великому князю исполнилось шестнадцать, для наставления его в части военных наук были приглашены профессора Академии Генерального штаба – полковник Леер и генерал Пузыревский. Ученик методически записывает в своем дневнике: «11-го января (1890 года). Четверг. Занимался с Леером, чуть-чуть не заснул от усталости». «25-го января. Четверг. Утром имел Леера» (именно так!). Зато в субботу 27 января «встал поздно, чем урезал Лееру его два часа».[4] Но, несмотря на эту не слишком серьезную тягу к серьезным делам, Николая, достигшего совершеннолетия, приглашают 2–3 раза в неделю принимать участие в заседаниях Государственного совета, где убеленные сединою сановники хоть и относились к нему с почтением, однако же никогда не домогались, чтобы он высказывал свое мнение по тем или иным вопросам! В 1887 году, 19-ти лет, его ставят во главе эскадрона гусар Его Императорского Величества и во главе батальона Преображенского полка. Здесь, в этих элитных частях, он приобщается к миру взрослых.

Императорская гвардия, отличавшаяся неколебимым духом и преданностью трону, представляла собою как бы армию в армии. В нее входили три дивизиона пехоты, одна бригада стрелков, три

кавалерийских дивизиона и три артиллерийские бригады. Все офицеры были благородных кровей. Служба в элитных частях обходилась очень дорого – нужно было сшить за свой счет пышную униформу (так, офицеру-конногвардейцу полагалось иметь пять-шесть различных комплектов) и самому приобретать породистых коней. Честь полка ставилась выше любых личных интересов. В некоторых гвардейских частях круговая порука, подкрепляемая офицерскими денежными взносами, позволяла рассчитываться по долгам, сделанным сразу несколькими прожигателями жизни. Ибо в правилах, принятых в среде этих блистающих офицеров, значилось: живи на широкую ногу, да храни верность полку! Даже после ночной разгульной пирушки офицер обязан был быть наутро первым на плацу или в манеже – этого требовала честь сословия! Царь, Отечество, вино, женщины и продвижение по службе – таковы были основные жизненные критерии этих верных слуг престола. Понятное дело, в гвардии карьеры делались быстрее и успешнее, чем в остальных частях, и, стремясь продвинуть своих чад как можно выше по служебной лестнице, семейства изощрялись в придворных интригах. Но, как правило, связь с тем или иным полком была наследственной – предпочтение отдавалось тому кандидату, чей отец, дед или близкий родственник служил под тем же знаменем и носил ту же униформу. Критерием отбора служил также регион происхождения – так, кавалергарды были по преимуществу из русских, зато многие офицеры-конногвардейцы и уланы носили балтийские фамилии; тщательному отбору подвергались и солдаты-гвардейцы – белокурые зачислялись в первую очередь в Семеновский полк, рослые и худощавые – в кавалергарды, низкорослые брюнеты – в гусары, ну, а курносым сам Бог велел служить в Павловском полку – ведь таковым был с лица его основатель, Павел I.

Оказавшись в этой среде блистательности и мужества, Николай наконец-то обрел форму существования, отвечавшую его вкусам. Его окружали представители старейшей русской аристократии. Самоотверженная преданность престолу и Отечеству культивировалась в этих семействах из века в век. Он, как наследник трона, мог бы обращаться с ними снисходительно; но благодаря присущей ему естественной простоте между ним и товарищами сложилась веселая армейская дружба. Свободный от условностей этикета, он курит и развлекается с молодыми людьми в военной форме, которые внезапно сделались ему как ровня. И даже в часы, свободные от службы, он ищет их общества, участвует в бесконечных вечеринках, где летят пробки шампанского и звучат народные песни, исполняемые

солдатскими хорами. На этих музыкальных ужинах толковали о лошадях, карточных играх, охоте и женщинах. Когда чей-нибудь монолог на тему об этих последних прерывался всеобщим взрывом хохота, Николай, сердечных мук еще не ведавший, только улыбался – еще бы, ведь со стороны смотрится очень даже забавно! Удивительно, но в этом закрытом клубе, своеобразном Олимпе, высящемся над головами простых смертных, он чувствует себя как рыба в воде, что не мешает ему скрупулезно исполнять свой офицерский долг – он присутствует на всех маневрах, совершает обход часовых согласно утвержденному маршруту, по-отечески общается с солдатами много старше себя.

Выполнил эти мелкие обязанности – и на весь день совесть у тебя чиста. Помимо офицеров, есть также родители, друзья детства, с которыми так весело развлекаться. Жизнь наследника – сплошная череда праздников, подобная суета сует увлекает и опьяняет его. В его дневнике, будто четки на веревочке, следуют одна за другой банальные заметки: чаепития с дядьями и тетками, катания на коньках, балы, спектакли, вечеринки, на которых он засиживается подчас далеко за полночь, до головной боли… Вот, к примеру, несколько записей за январь 1890 года:

«12-го января. Пятница. Встал в 10 ½; я уверен, что у меня сделалась своего рода болезнь – спячка, т. к. никакими средствами добудиться меня не могут… Катались на катке без Воронцовых. После закуски поехали в Александрийский театр. Был бенефис Савиной „Бедная невеста“. Отправились на ужин к Пете.[5] Порядочно нализались и изрядно повеселились».

«13-го января. Суббота… Поехали в „La Boule“ (французская пьеса. – *Прим. авт.*). Очень смеялся и забавлялся».

«18-го января. Четверг. Весь день у меня болела нога благодаря ушибу на вчерашнем вечере. Ходил в туфле. Завтракали: т[етушка] Мари, д[ядюшка] Альфред[6] и Воронцовы. Не мог кататься на коньках, а смотрел и скучал. Пили чай с Воронцовыми. В 7 час. начался обед у Кавалергардов, Венгерцы, песенники и цыгане. Уехал в 11 ½ очень веселый».

«19-го января. Пятница. Встал около 10 час. Сняли перевязку с ноги и наклеили пластырь, чувствовал себя прескверно после ужина и с трудом пошел завтракать. Спал вместо прогулки. Пил чай со всеми у Ксении.[7] Общество было оживленное. В 8 час. поехали к Сандро[8] к обеду. Были одни товарищи. Играл хор гвардейского экипажа. Горбунов[9] рассказывал анекдоты до 12 ¼».

«20 января. Суббота. Остался очень доволен вчерашними рассказами Горбунова… Был у Сергея,[10] он лежит с ветряной оспой. Чистили каток. Обедали в 7 ½. Поехали во Французский

театр. Давали „[La] Révoltée“ („Мятежница“. – *Прим. пер.*), неудачную вследствие переделок и сокращений пьесу. Вернулись домой в 11 ½».

«23-го января. Вторник. Сегодня было мое маленькое приемное утро. Завтракали: д[ядюшка] Альфред, Н.К. Гирс и Оболенские. На катке было очень весело. Я наконец надел коньки и валял во всю мочь за мячиками. Пили чай с Воронцовыми и Ольгой. Страшно дрались с ними у Ксении. В 7 час. обедали у Оболенских. Отлично танцевали у Воронцовых до 3-х часов».

«25 января. Четверг… На каток приехали три Воронцовых. Возились с ними после чаю. Велел сделать у себя на письменном столе телефон, говорил через него с Сергеем. Закусывали одни. В 9 час. начался детский бал, как в 1887 г. От души веселился».

И этот поток пустяковин перетекал со страницы на страницу, из месяца в месяц. Строки эти могли бы принадлежать подростку 14 лет. А между тем ему уже двадцать два. 28 апреля он заносит в дневник торжественную запись: закончил свое образование «окончательно и навсегда»!

Однако представляется, что, закончив свои занятия с педагогами, наследник престола все же не остановился в своем росте. Между тем за его приветливостью и любезностью в глубине души скрывалось безразличие ко всему, что не понравилось ему с первого мгновения. Поверхностный и рассеянный, он искал пути ничего не делать, ни о чем не судить, ничем не озабочиваться и как можно меньше о чем бы то ни было думать. Характер у него был столь не ярко выраженный, что порою у его собеседников складывалось впечатление, будто его и нету вовсе, будто перед ними всего лишь учтивый фантом. Да и внешне сей молодой человек был бесцветен – не в пример своему могучему родителю он рост имел обыкновенный, средний, и красивое, но лишенное выразительности лицо. Злые языки толковали, что привнесение датской крови безнадежно испортило атлетическую породу Петра Великого. В том же году граф В.Н. Ламсдорф отметил в своем дневнике – мол, наследник престола ничуть не похорошел и попросту теряется в толпе, поди различи его среди людской толпы! Он попросту маленький гусарский офицер – не то чтобы некрасивый, но незаметный, незначительный.

Придерживаясь суровых нравов, Александр III требовал, чтобы его сыновья как огня страшились любовных приключений, и надо сказать, послушание ничуть не причиняло Николаю мучений – обладая умеренным темпераментом, он если и пытался ухаживать за какою-нибудь молодою особою, так только ради забавы, а вовсе не затем, чтобы одержать над нею победу. Все же, подстрекаемый несколькими своими товарищами, он решился

было закрутить шуры-муры с некоей мадемуазель Лабунской, опереточной певичкой, начинавшей у знаменитого ресторатора Дюссо как танцовщица, развлекающая гостей. Что тут началось! По приказу царя петербургский полицмейстер быстро пресек эту унизительную для наследника связь, и бедная мадемуазель Лабунская, захлебываясь от рыданий, вынуждена была покинуть Петербург.

Николаю, однако же, не пришлось отчаиваться – на горизонте возникла другая утешительница. Это была балерина польского происхождения Матильда Кшесинская. Юная, стройная, живая, искрометная, обольстительница Матильда завладела вниманием цесаревича уже в день их первой встречи – на выпускном акте Императорского балетного училища в марте 1890 года, на котором по традиции присутствовала августейшая чета. После спектакля была дана трапеза, во главе которой были царь с царицей, а наследник сидел рядом с Кшесинской и, конечно же, попал под власть ее живых темных глаз – а уж она-то как была очарована! «Я не помню, о чем мы говорили, – много позже напишет она в своих „Воспоминаниях“,[11] – но я сразу влюбилась в Наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на Наследника, я забывала об этом, все было как сон… Когда я прощалась с Наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так, как при встрече, в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе в этом отчета. Какая я была счастливая, когда в тот вечер вернулась домой! Я всю ночь не могла спать от радостного волнения и все думала о событиях этого вечера».

Несколько месяцев спустя произошла новая встреча восходящей звезды балета и наследника престола – на маневрах в Красном Селе близ Петербурга, где имелся небольшой деревянный театр, на подмостках которого выступали лучшие столичные артисты. Увидев ее сперва на сцене, потом за кулисами, он окончательно потерял голову – нет, она не женщина, она – душа танца, лебяжье перышко, лучик луны! Тем не менее какою же сухостью поражают его дневниковые записи о тех мгновениях – в особенности в сравнении с воспоминаниями Матильды! «17-го июля. Вторник. В окрестностях Капорского происходили отрядные маневры, так и слышна была пальба… Поехали в театр. В антракте пел Paulus. Кшесинская 2-я мне положительно очень нравится…»[12]«30-го июля. Понедельник… Дело на Горке разгорелось и продолжалось до 11 часов утра. Я был отнесен офицерами домой… Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно!»

Надо полагать, в этих беседах у окошка звучали и грустные нотки: цесаревич отправлялся в дальние странствия. Так решил его батюшка – а как еще было разлучить сына с молодой особой, отношения с которой, как ему представлялось, зашли слишком далеко! Склонившись над страницами своего дневника, Николай записывает: «31 июля. Вторник. Вчера выпили 125 бутылок шампанского. Был дежурным по дивизии. В 3 час. выступил с эскадроном на военное поле. Происходило учение всей кавалерии с атаками на пехоту. Было жарко. Завтракали в Красном. В 5 часов был смотр военным училищам под проливным дождем. После закуски в последний раз поехал в милый Красносельский театр. Простился с Кшесинской. Ужинал у Мама́ до часу».

Маршруты великих князей, отправлявшихся в заграничные путешествия с образовательными целями, обыкновенно пролегали через столицы Центральной Европы. На сей раз российский император, желая расширить политические горизонты своего сына, направил его на Дальний Восток. Но взамен того, чтобы назначить ему в сопровождающие людей в трезвом уме и с твердыми дипломатическими знаниями, которые могли бы ему все показывать и изъяснять, царь-отец дал наследнику в попутчики брата Георгия (который, уже пораженный чахоткой, вынужден был вернуться с полпути) и нескольких гвардейских офицеров, которые только и делали, что кутили да соблазняли цесаревича местными красавицами. Среди этих юных повес и вертопрахов один только князь Ухтомский – будущий историограф славного путешествия – отличался пытливым и серьезным умом. В Афинах к странствующей группе присоединился греческий царевич Георг, сын царя Георга I и страстный любитель женщин и шампанского. Как не преминул заметить в своих язвительных мемуарах С.Ю. Витте, этот молодой человек был весьма склонен к поступкам, которые никак не могли служить примером великим князьям и царевичам. Материальная организация путешествия была поручена князю Барятинскому – почтенному, почти ослепшему от старости генералу, безупречно верному престолу, но с ограниченным кругозором.

Маленькая компания отправилась в путь 23 октября 1890 года с недвусмысленным намерением развлечься. Несмотря на всю экзотичность и красочность пейзажей, Николай остался безразличен к живописным красотам. В Египте ничто: ни пирамиды, ни Луксор, ни колосс Мемнона – не привлекло его внимания так, как пляски восточных танцовщиц-альмей. «17 ноября. Суббота… Пошли осматривать Луксорский храм, а затем на ослах Карнакский храм. Поражающая громадина… После обеда отправились тайно смотреть на танцы альмей. Этот раз

было лучше, они разделись и выделывали всякие штуки с Ухтомским».

Вполне естественно, на каждом этапе пути наследника ждали пышные почести и докучливые суконные речи; он пожимал руки министрам, генералам, главам местных администраций. В Каире его приветствовала восторженная толпа, осыпавшая его розами и возгласами «Да здравствует Россия!». В Индии на встречу с цесаревичем пожаловал сам вице-король, маркиз Лансдоунский. Но, несмотря на пышность приема, устроенного британской колониальной администрацией, Николай все-таки записывает в своем дневнике: «Несносно быть снова окруженным англичанами и всюду видеть красные мундиры».

В Сайгоне, куда российская эскадра прибыла 16(28) марта, французская колония устраивает торжественную встречу сыну государя, который в пику традициям решился пойти на сближение с республиканской Францией. Наследника провозят под триумфальной аркой в ландо, запряженном шестеркой белых мулов; в его честь устраивается банкет с проникновенными тостами за мир и согласие между двумя державами, он приветствует марш колониальных войск, аплодирует факельному шествию, участвует в череде балов, танцуя и кокетничая с прелестными француженками, и радуется, как дитя, на представлении французской комедии «Жирофле-Жирофля». В конце концов Николай в восторге заявляет французскому губернатору, что здесь, в Сайгоне, он чувствует себя как дома – жаль только, что он не сможет задержаться дольше.

Добрые вести с пути, которые летели в Петербург депешами, укрепляли царя-отца во мнении, что он правильно поступил, отправив сына в странствие по столь дальним землям к странам. И вдруг – катастрофа! Из Японии пришла телеграмма, подписанная супругой микадо. Последняя, рассыпавшись в извинениях, сообщала, что в результате покушения царевич получил ранение в голову. Вскоре пришли и официальные рапорты – от российского посланника в Токио Шевича и от Барятинского.

Несчастье произошло в городе Оцу – побывав на приеме у губернатора, цесаревич собирался возвращаться в Киото. Николай со свитой ехали в легких открытых повозках, которые тянули рикши. Кортеж следовал по узкой улице сквозь кордон из двух рядов полицейских, расставленных в восьми шагах друг от друга. В ряды полицейских затесался фанатик-японец по имени Тсуда Сантсо – в момент, когда тележка с цесаревичем поравнялась с ним, он подскочил к ней и нанес Его Высочеству удар мечом, который держал обеими руками. Лезвие проникло в голову до

самой черепной кости. По сообщениям врачей, жизнь его вне опасности. Покушавшийся собрался было нанести второй удар, но, к счастью, греческий царевич Георг сшиб его с ног. А тут подоспели верные своему долгу полицейские. Фанатик упал в обморок. Придя в себя, он только пробормотал, скорчив гримасу ненависти: «Я самурай». Потеряв много крови, Николай тем не менее сохранил спокойствие; в эту ночь он крепко спал, а проснувшись, даже выказал беззаботную веселость. Сам микадо пожаловал к его изголовью. Японский двор пребывает в отчаянии.

От этого ранения у царевича останется рубец костной ткани, который будет давить на мозг, отчего несчастный будет страдать частыми и мучительными мигренями. Проникнув в его плоть, лезвие японского меча нанесло удар и по его самолюбию. Душевная боль, вызванная этим ничем не заслуженным нападением, не проявляясь внешне, терзала все его нутро. В нем затаилась глухая ненависть к Японии, где его так дурно приняли. Во избежание новых приключений такого рода Александр III приказывает ему срочно прервать путешествие и направиться во Владивосток для участия в церемонии закладки самой восточной станции Транссибирской железнодорожной магистрали. На обратном пути Николай отдал в Томске поклон могиле старца Федора Кузьмича – ведь, согласно поверью, в ней покоились останки не кого иного, как царя Александра I. Он, конечно, не верил в эти легенды, но все же народная молва не оставляла его сердце равнодушным. По мере приближения к родному дому впечатления от путешествия сливались в его сознании в некую путаницу причудливых красок, в итоге в памяти отложилось немногое. После девятимесячных странствий ему больше всего на свете хотелось вернуться к своим товарищам-офицерам, показаться в блистательных салонах и, конечно же, увидеть прелестную Матильду Кшесинскую, воспоминания о которой не дано было вытеснить из его сознания никаким восточным впечатлениям.

Глава вторая
Романы юности

Едва вернувшись в Санкт-Петербург 4 августа 1891 года, Николай отправляется в Красное Село, где проводила лето царская семья. Но не стремление побыстрее встретиться с родителями было причиной такой спешки. Вместо того, чтобы провести с ними вечер, он отправился в театр, чтобы рукоплескать Матильде Кшесинской, выступавшей в балете «Спящая красавица». Особенно пленительным виделся ему образ Красной Шапочки, оказавшейся с глазу на глаз со злым Волком – невинные и испуганные взгляды юной прелестницы наполняли его сердце радостью.

Больше даже – наследник престола решается на дерзостный шаг: пожаловал на дом к Матильде Кшесинской и назвался гусаром Волковым (это был его попутчик по восточному путешествию), Матильда уже в течение нескольких дней не выходила из комнаты, леча нарывы – один на веке, другой на прелестной ножке. Коль скоро ей приходилось носить повязку на глазу, она никак не была настроена принимать визитеров. Тем не менее она явилась в гостиную – представьте же себе ее изумление, когда вместо гусара Волкова она увидела наследника престола! По всему ее телу, с головы до ног, пробежала радостная дрожь. «Я не верила своим глазам, вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан, – вспоминала она. – Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно. Я никогда не забывала этого вечернего часа нашего первого свидания.

На другой день я получила от него записку на карточке:

„Надеюсь, что глазок и ножка поправляются… до сих пор хожу, как в чаду. Постараюсь возможно скорее приехать. Ники“». [13]

И он действительно вернулся, и его настойчивые ухаживания одновременно льстили и беспокоили родителей Матильды, тем более что красавица-дочь более не скрывала своей привязанности к царевичу. Последний являлся каждый или почти каждый день – то один, то в компании своих кузенов, юношей великокняжеского звания. К дружеской компании присоединялась и старшая сестра Матильды – здесь весело танцевали, пели хором, наряжались, тайком попивали шампанское. Николай вручил даме своего

сердца золотой браслет с крупным сапфиром и мелкими бриллиантами. На конских состязаниях он посылал ей цветы в ложу, а однажды подарил ей свою фотографию с надписью: «Здравствуй, душка». Вскоре эта идиллия стала предметом пересудов в русском великосветском обществе.

Однажды вечером к Матильде по приказу государя явился полицмейстер для установления личностей находившихся у нее лиц. Вот что писал на этот счет в своем дневнике публицист А.С. Суворин, издававший крупнейшую газету «Новое время»: «Наследник посещает Кшесинскую и… ее (многоточие в оригинале. – *С.Л.*) Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знают. Он ездит к ним, даже не нанимает ей квартиры и ругает родителя, который держит его ребенком, хотя ему 25 лет. Очень неразговорчив, вообще сер, пьет коньяк и сидит у Кшесинских по 5–6 часов, так что очень скучает и жалуется на скуку».[14] Страсть царевича к без пяти минут царице сцены не оставила равнодушной и Ея Превосходительство А.Ф. Богданович, супругу ярого монархиста генерала Богдановича:[15]«Цесаревич серьезно увлечен танцовщицей Кшесинской 2-й, которой 19 лет. Она не красивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая, зовут ее Матильдой. Цесаревич говорил этой „Мале“ (так ее зовут), что упросил царя два года не жениться. Она всем и каждому хвалится своими отношениями с ним». (Запись от 21 февраля 1893 года.)

Безразличная к этим салонным сплетням Матильда хотела теперь только одного – выбраться из-под родительского крова и обзавестись собственным уголком. «Встречаться у родителей становилось просто немыслимым. Хотя Наследник, с присущей ему деликатностью, никогда об этом открыто не заговаривал, я чувствовала, что наши желания совпадают… Я сознавала, что совершаю что-то, чего я не имею права делать из-за родителей. Но… я обожала Ники, я думала лишь о нем, о моем счастье, хотя бы кратком…»[16]

После тягостного объяснения с отцом, который прекрасно понимал, что творится на душе у дочери, и лишь спросил, отдает ли она себе отчет в том, что ей никогда не суждено выйти замуж за наследника престола! – она вместе со старшей сестрой переезжает в особняк под номером 18 по Английскому проспекту, некогда построенный великим князем Константином Николаевичем – братом Александра II – для танцовщицы Кузнецовой. На новоселье Ники подарил Матильде питейный сервиз из восьми золотых чарок, инкрустированных редкими камнями. Связь между ними сделалась официальной. «Наследник писал Кшесинской, – отмечает А.С. Суворин (она хочет принимать

православие, может быть, считая возможным сделаться императрицей), – что он посылает ей 3000 рублей, говоря, что больше у него нет… что он приедет, и… „тогда мы заживем с тобой, как генералы“. Хорошее у него представление о генералах! Он, говорят, выпросил у отца еще два года, чтобы не жениться. Он оброс бородкой и возмужал, но тем не менее маленький».[17]

Ну, а сама Матильда Кшесинская пребывала на седьмом небе от счастья. В театре она срывала щедрые рукоплескания, ей поручали все новые и новые роли – но, пожалуй, еще более драгоценными казались ей успехи на интимном фронте. Иные злые языки даже судачили о том, что, одурманенная любовью, она уже возмечтала о возможности в один прекрасный день сделаться императрицей. Однако в действительности Матильда уже пришла к осознанию того, что их роман близится к своему скорому концу и что ей ничего не остается, как срывать последние цветы удовольствия, даруемые этим приключением. «Я знала приблизительно время, когда Наследник ко мне приезжал… Я издали прислушивалась к мерному топоту копыт его великолепного коня о каменную мостовую, затем звук резко обрывался – значит, рысак остановился… у моего подъезда».[18] Но визиты царевича становились все реже. Зато при дворе и в городе все больше говорили о планах женитьбы наследника престола на принцессе Аликс Гессен-Дармштадтской. На заданный ему Матильдой вопрос в упор Николай чистосердечно признался, что долг перед государством обязывает его сочетаться законным браком и что из всех представленных ему невест Аликс представлялась самой достойной. После этого, однако, он заверил ее, что ничего еще не решено. Между тем он все чаще отсутствует в столице – отправляется в Лондон на свадьбу своего кузена, герцога Йоркского (будущего короля Георга V), затем в Данию, где пребывает с августа по октябрь 1893 г.; весною следующего года он снова устремляется за границу. С каждым из этих путешествий шансы Аликс повышаются в его сердце, тем более что из этого последнего Матильда выветрилась совершенно – вернувшись из странствий по Дальнему Востоку, он заносит в свой дневник 21 декабря 1891 г.: «Вечером у Мамá… рассуждали о семейной жизни теперешней молодежи из общества; невольно этот разговор затронул самую живую струну моей души, затронул ту мечту и надежду, которыми я живу изо дня в день… Моя мечта – когда-либо жениться на Аликс Г. Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнее с 1889 года, когда она провела шесть недель в Петербурге! Я долго противился моему чувству, стараясь обмануть себя невозможностью осуществления моей заветной мечты… Я почти уверен, что наши чувства взаимны! Все в воле

Божьей. Уповая на Его милость, я спокойно и покорно смотрю в будущее».

Немецко-английская принцесса Аликс (полное имя: Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса) родилась в Дармштадте 6 июня 1872 г. в семье потомка одной из старейших германских фамилий – герцога Людвига IV Гессенского. Мать Аликс – дочь королевы Виктории, урожденная английская принцесса Алиса, уже успела заявить о себе склонностью к экзальтации, близкой к мистицизму. Ее охватывала интеллектуальная страсть к немецкому историку Давиду Штраусу, автору скандальной «Жизни Иисуса», в которой Христос объявлялся не более чем мифом. С точки зрения физического состояния предки принцессы вызывали еще больше беспокойства. Ее дедушка по отцовской линии, отец и братья здоровьем были очень хрупки; над семейством тяготела угроза наследственной болезни гемофилии – несвертываемости крови, которая передается по женской линии, но поражает только мужчин. Тем не менее дед Николая – Александр II был женат на гессенской принцессе, которая родила ему здоровых детишек. Дядя Николая, великий князь Сергей Александрович, взял в жены Елизавету Гессенскую, старшую сестру Аликс. В отдаленном прошлом император Павел I также был женат первым браком на принцессе Вильгельмине (получившей при крещении в православную веру имя Наталья Алексеевна) из того же гессенского дома. Почему бы не продолжить эту сложившуюся при русском дворе традицию?

Потеряв в шестилетнем возрасте мать, Аликс была взята на воспитание бабушкой, королевой Викторией. Под суровым оком могучей владычицы она воспринимала дух и манеры, свойственные Британской империи. Ее обучали английскому и французскому, на которых она разговаривала в совершенстве, пению, игре на фортепьяно и живописи акварелью. В 1884 году, двенадцати лет, она впервые приезжала с отцом в Россию – на свадьбу своей старшей сестры Елизаветы, и в этот свой первый приезд впервые встретилась со своим отдаленным родичем – царевичем Николаем, которому тогда минуло 16 лет. В первый же день их встречи царевич заносит в свой дневник: «Я сидел с маленькой двенадцатилетней Аликс, которая мне ужасно понравилась…» Пройдет еще несколько дней – и русский цесаревич будет и вовсе околдован юной златокудрой принцессой, и их детская идиллия не укроется от глаз императора. Когда пятью годами позже – в январе 1889 г. – она снова окажется на берегах Невы, Николай будет до глубины сердца тронут ее робкой и хрупкой красотой. Ну, а саму Алису нежный взгляд наследника престола и вовсе сведет с ума. Кто

знает, вдруг она уже в ту пору видела себя российской императрицей, по примеру стольких германских принцесс, дорогу которым на российский престол открыла София-Фредерика-Августа, ставшая Екатериной Великой?

… Увидя на страницах английских газет намеки на возможную женитьбу этих двух молодых людей, граф Владимир Ламздорф[19] обратился за разъяснением на сей счет к Александру III. «Я и не помышляю об этом!» – ответил тот. Но Ламздорф не так-то просто поддавался убеждениям. С его точки зрения, этот флирт кровных царевичей заслуживал внимания. Устремив свой строгий взор на молодую пару, он делает в своем дневнике следующую запись: «Принцесса вроде своей сестры (Елизаветы), но не столь красива. Она покрыта красными пятнами до самых бровей. Походка ее не особенно грациозна. Но выражение лица у нее умное, а улыбка приветлива. Она… постоянно говорит по-английски, в основном с сестрой». Что же касается Николая, то Ламздорф находит его все менее и менее значительным в роли воздыхателя-простофили: «Он не вырос и танцует без задора. Это – довольно приятный маленький офицерик, которому идет парадный наряд гвардейских офицеров – белый мундир, опушенный мехом. Но у него такой посредственный вид, что его едва ли можно выделить в толпе. Лицо его маловыразительно, держится просто, но его манерам недостает изысканности».[20]

Александр III, а в еще большей степени императрица Мария Федоровна бросали на юную Аликс косые взгляды из-под маски учтивости. Ни царь-отец, ни царица-мать не испытывали ни малейшего желания вводить в семью новую германскую принцессу. Когда летом 1890 года Николай испросил у матери дозволения съездить в имение Ильинское под Москвой, где Аликс гостила в то время у своей сестры Елизаветы (она же Элла), жены великого князя Сергея Александровича, то получил категорический отказ – пусть выкинет из головы саму мысль об этом абсурдном союзе! Для его бракосочетания строятся другие планы, в данное время царственные родители подумывают о женитьбе сына на француженке. Ну и что же, что строй во Франции республиканский? Для скрепления французско-русского союза можно бы сочетать законным браком Николая с принцессой Еленой Орлеанской, дочерью графа Парижского! Получив такой афронт, Николай делает в своем дневнике грустную запись, датируемую 29 января 1892 года: «Сегодня утром в разговоре Мама́ делала мне намеки насчет Елены Орлеанской… Я на перепутье – сам я хотел бы идти в одну сторону, но Мама́ открыто настаивает, чтобы я шел в другую! Что из этого выйдет?»

Огорченная недомолвками со стороны российского императорского дома, Аликс тем не менее не желает признавать себя побежденной. Выказывая свое расположение к России, она покупает на ярмарке кукол, выточенных из березы – дерева-символа родины Ники. Возвратившись в Англию, она настаивает на том, чтобы ее обучали русскому языку и пускается в длинные теологические дискуссии со священником при русском посольстве. Устав от долгой неопределенности, королева Виктория пишет письмо другой своей внучке – великой княгине Елизавете, – в котором прямо ставится вопрос: не привлекла ли Аликс внимания кого-либо из членов российского царствующего дома? В этом случае она не станет подвергать Аликс конфирмации по англиканским канонам, а напротив, будет готовить ее к обращению в православную веру. Повинуясь предписаниям двора, Елизавета оставила письмо без ответа. В одно мгновенье Аликс поняла, что она решительно не в фаворе в Санкт-Петербурге, и встала на дыбы – любой другой союз казался ей недостойным! Затворившись в гордом одиночестве, она отвергла предложение некоего таинственного немецкого принца, стала искать утешения в благочестивых книгах, согласилась на конфирмацию по англиканскому обряду и заявила, что скорее останется старой девой, чем примет протестантизм.

Со своей стороны наследник российского престола, потеряв надежду на брак с Аликс, стал размышлять, какая женщина ему завтра может быть навязана родительской волей. Проект женитьбы на дочери графа Парижского был отставлен, и наследник вздохнул с облегчением: к этой особе он не питал ни малейшей склонности. С другой стороны, ему докучали попытки втянуть его в политико-административные дела. Когда С.Ю. Витте предложил назначить наследника престола председателем Комитета по строительству Транссибирской железной дороги, удивленный Александр III вскричал: «Да ведь он… совсем мальчик; у него совсем детские суждения; как же он может быть председателем комитета?» Я говорю императору: «Да, ваше величество, он молодой человек, и, как все молодые люди, может быть, он серьезно еще о государственных делах и не думал. Но ведь если вы, ваше величество, не начнете его приучать к государственным делам, то он никогда к этому и не приучится… Для наследника-цесаревича, – сказал я, – это будет первая начальная школа для ведения государственных дел».[21] В итоге Александр III назначил наследника председателем комитета, и он чрезвычайно увлекся этим делом.

И вдруг неожиданная развязка: заболевает Александр III. Гиганта подкосила инфлюэнца, которая вкупе с осложнениями

грозила вызвать пневмонию. На сей раз его атлетическое сложение одержало над хворью верх. Но в глубине души его терзало предчувствие: вдруг он снова серьезно заболеет, а наследник еще не женат, и это обстоятельство может затруднить ему вступление на престол. На прямой вопрос отца Николай ответил без обиняков: да, он по-прежнему влюблен в Аликс! И царь, ускоряя ход событий, посылает сына просить руки юной принцессы.

С этой целью Николай отправляется в баварский город Кобург; предлогом для поездки служит женитьба старшего брата Аликс, Эрнста-Людвига Гессен-Дармштадтского, на принцессе Эдинбургской Мелите-Виктории. Окрыленный Николай пускается в дорогу, взяв в попутчики двоих своих дядьев и пышную свиту. Он берет с собою также православного священника, который должен будет обратить Аликс в православную веру, и наставницу, которая станет обучать ее русскому языку. В Кобурге он оказывается в гуще многоголосого улья, где суетятся сотни блистательных особ. Достопочтенная королева Виктория, бабушка жениха, уже на месте – ее невысокий массивный силуэт уравновешивается воинственной усатой фигурой императора Вильгельма II в парадном мундире. Посреди всей этой шумной канители Аликс продолжала дуться – отгородившись от всех неким мистическим упрямством, она отказалась принять православие, без чего не могло быть и речи о браке с царевичем. Русский священник и Вильгельм II предприняли совместные атаки на заартачившуюся девственницу – первый говорил ей о достоинствах православного вероисповедания, второй – о благах такого союза для Германии. Под воздействием подобных аргументов она стала колебаться, но все же возражала – для проформы. И тогда Николай сам пошел в атаку.

5 апреля 1894 г. наследник записывает в своем дневнике:

«Боже! Что сегодня за день! После кофе, около 10 часов пришли к т[етушке] Элле в комнаты Эрни и Аликс. Она замечательно похорошела, но выглядела чрезвычайно грустно. Нас оставили вдвоем, и тогда начался между нами тот разговор, которого я давно сильно желал и вместе [с тем] очень боялся. Говорили до 12 часов, но безуспешно, она все противится перемене религии. Она бедная много плакала. Расстались более спокойно…» На следующий день, 6 апреля, – новая запись: «Аликс… пришла, и мы говорили с ней снова; я поменьше касался вчерашнего вопроса, хорошо еще, что она согласна со мной видеться и разговаривать». И вот наконец, два дня спустя – победный клич: «8-го апреля. Пятница, чудный, незабвенный день в моей жизни – день моей помолвки с дорогой, ненаглядной моей

Аликс… Боже, какая гора свалилась с плеч; какою радостью удалось обрадовать дорогих Мама́ и Папа́. Я целый день ходил как в дурмане, не вполне сознавая, что собственно со мной приключилось!.. Даже не верится, что у меня невеста». В тот же день царевич посылает письмо родителям: «Милая Мама́, я тебе сказать не могу, как я счастлив и также как я грустен, что не с вами и не могу обнять тебя и дорогого милого Папа́ в эту минуту. Для меня весь свет перевернулся, все: природа, люди – все кажется милым, добрым, отрадным». Самые пустячные события, случавшиеся во время его пребывания в Кобурге, только подстегивали экзальтацию окрыленного счастливчика: «9-го апреля. Суббота. Утром гвардейские драгуны королевы сыграли целую программу под моими окнами – очень трогательно! В 10 часов пришла чудная Аликс, и мы вдвоем отправились к королеве (Виктории. – *Прим. авт.*) пить кофе. День стоял холодный, серый, но на душе зато было светло и радостно». «10 апреля. Воскресенье… Все русские господа поднесли моей невесте букет». «11 апреля. Понедельник… Она [Аликс] так переменилась в последние дни в своем обращении со мною, что этим приводит меня в восторг. Утром она написала две фразы по-русски без ошибки!» «14 апреля, четверток вел. (Великий четверг на Страстной неделе. – *С.Л.*)… В 11 ¼ пошел с Аликс и всеми ее сестрами к здешнему фотографу, у которого снялись в разных положениях и поодиночке, и попарно». «15 апреля. Пятница. В 10 часов поехал с Аликс к королеве… Так странно кататься и ходить с ней просто вдвоем, даже не стесняясь нисколько, как будто в том ничего удивительного нет!» Но вот настало 20 апреля – грустный день расставанья… «Проснулся с грустным чувством, что настал конец нашего житья душа в душу… Она уезжает в Дармштадт и затем в Англию… Как пусто мне показалось, когда вернулся домой!.. Итак, придется провести полтора месяца в разлуке. Я бродил один по знакомым и дорогим мне теперь местам и собрал ее любимые цветы, которые отправил ей в письме вечером».

На следующий день настал его черед уезжать – в Санкт-Петербург. «21-го апреля. Четверг. Вагон. Как ни грустно теперь не видеться, все же при мысли о том, что случилось, невольно сердце радуется и обращается с благодарственной молитвою к Господу!.. Завтракали в Конице; у моего прибора стояла прежняя карточка Аликс, окруженная знакомыми розовыми цветами».

Вернувшись в Россию, окрыленный новым счастьем Николай оказался перед лицом тягостной обязанности – поставить точку в любовной связи с Кшесинской. «Если я могла сказать, что на сцене была очень счастлива, – вспоминала звезда русского балета

многие годы спустя, – то про свою личную жизнь я этого сказать не могла. Сердце ныло, предчувствуя подступающее горе… Хотя я знала уже давно… что рано или поздно Наследник должен будет жениться на какой-либо иностранной принцессе, тем не менее горю моему не было границ».[22] А злоязыкая генеральша Богданович, которая охотно распространяла любые слухи, носившиеся по Санкт-Петербургу, заносит в свой дневник язвительное: «Все думают, что, вернувшись в Петербург в субботу, цесаревич уже в воскресенье будет у Кшесинской, которая теперь разыгрывает роль больной, несчастной, никого не принимает…» (Запись от 18 апреля 1894 г.)

А вот на этот счет Ея Превосходительство ошиблась. При всех своих слабостях Николай был человеком сердца. Решив сочетаться законным браком с Аликс, он долее не мог продолжать любовную связь с Матильдой. Вот несколько трогательных строк из его письма об этом: «Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости». «Далее он писал, – вспоминала Матильда, – что я могу всегда к нему обращаться непосредственно… Действительно, когда бы мне ни приходилось к нему обращаться, он всегда выполнял мои просьбы без отказа». После возвращения из Кобурга он попросил назначить ему последнее свидание. Оно произошло за городом, во время военных маневров. «Я приехала из города в своей карете, а он верхом из лагеря. Как это всегда бывает, когда хочется много сказать, а слезы душат горло, говоришь не то, что собиралась говорить, и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому еще знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах… Когда Наследник поехал обратно в лагерь, я осталась стоять у сарая и глядела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся вдали. До последней минуты он ехал, все оглядываясь назад… Мне казалось, что жизнь моя кончена и что радостей больше не будет, а впереди много, много горя».[23]

Впрочем, будущее компенсировало Кшесинской пролитые слезы – она выросла в приму-балерину Мариинского театра, в 1921 году вышла замуж за кузена Николая, великого князя Андрея Владимировича и получила титул княгини Романовской-Красинской. Но всю свою долгую жизнь она хранила память об этой своей первой любви: «Чувство долга и достоинства было в нем развито чрезвычайно… По натуре он был добрый, простой в обращении. Все и всегда были им очарованы, а его исключительные глаза и улыбка покоряли сердца».[24] Но и Николай на протяжении всей своей жизни не раз мысленно

возвращался к тем блаженным часам, которые он провел возле этой импульсивной артистки.

Тем не менее огорчение царевича по поводу разрыва с Кшесинской знало меру – он был слишком поглощен мыслью о предстоящем браке с принцессой Гессенской, чтобы тосковать о прошлом. Теперь его идеей фикс было как можно скорее воссоединиться со своею избранницею в Англии. Однако царь-отец, далеко не полностью оправившийся от последствий недуга, начал с того, что запретил сыну в такой момент покидать Россию. Отпрыск заартачился, да так, что урезонивать его явился сам генерал-адъютант П.А. Черевин, начальник дворцовой охраны и личный друг государя. Наследник дерзновенно перебил генерала: «Я разговаривал с докторами, они не считают, что император серьезно болен. – Возможно, **пока еще** не так серьезно, – ответил генерал, – но представьте, что произойдет **нечто,** пока вы будете отсутствовать… – О, какой же вы пессимист! – вскричал Николай. – Я дал слово принцессе Аликс провести с ней июнь месяц в Англии, не могу же я забрать его обратно! И потом, у меня здесь такая грустная жизнь, что мне будет лучше уехать на какое-то время!»[25]

Несмотря на все мольбы окружения Государя, наследнику удалось-таки добиться у Папа́ дозволения на поездку – и вот 3 июня 1894 года Николай ступил на борт яхты «Полярная звезда», которая взяла курс на Лондон. Тихая погода благоприятствовала плаванию, и 7 июня Николай делает запись: «День был ясный, чудный, море было синее с барашками… Итак, даст Бог, завтра увижу снова мою ненаглядную Аликс; теперь уже я схожу с ума от этого ожиданья! Последний вечер провел в кают-компании».

Королева Виктория отдала распоряжение принять наследника российского престола со всеми почестями, подобающими его рангу. «Полярная звезда» была встречена приветственным салютом – и вот уже скорый поезд мчит Николая на всех парах в Уолтон-на-Темзе, на встречу с милой его сердцу Аликс и достопочтенной королевой Викторией, которую он ласково называет Granny – бабушка. Увидев свою невесту, наследник находит ее еще более прелестной, чем прежде. «Снова испытал то счастье, с которым расстался в Кобурге!» По прибытии Николай подносит невесте обручальное кольцо с розовой жемчужиной, ожерелье из крупного розового жемчуга, золотую цепь с огромным изумрудом, брошь, сияющую сапфирами и бриллиантами, и – от имени своего отца – массивное жемчужное колье от Фаберже. При виде таких сокровищ – и все это было для ее милой внучки! – восхищенная королева Виктория лишь вздохнула: «Не задирай нос, Аликс!» Помимо драгоценных даров,

Александр III послал в Лондон также протопресвитера Янышева, в задачи которого входило изъяснение принцессе основ православной веры. Она слушает священника с большим прилежанием, но, стоит тому отвернуться, тут же бежит на встречу со своим любезным Ники. Молодая пара совершает продолжительные сентиментальные пешие прогулки, катается в коляске «в кильватере королевы», которая разъезжает в своем знаменитом шарабане, запряженном пони, посещает любимые ею замки – Виндзорский, Фрогморский и Осборнский, плавает по Темзе на «электрической шлюпке», – «прогулка вышла восхитительная, берега замечательно красивы, встречали массу катающихся, в особенности дам»; устраивает вылазку в Лондон… «Смешно и вместе с тем приятно было сидеть с моей дорогой Аликс в вагоне», – замечает Николай 23 июня. К этой записи «дорогая Аликс» добавляет по-английски: «Many loving kisses» – «много горячих поцелуев». Отныне она взяла за привычку украшать дневник своего fiancé[26] – ведомый на языке, которого она пока не понимает, – признаниями в любви вроде «God bless you, my Angel!» (Господи, благослови тебя, мой ангел!) или «For ever, for ever» (Навсегда, навсегда!), молитвами ко Всевышнему, моральными сентенциями и отрывками из стихотворений на английском и немецком языках. Тем самым она дает понять жениху, что вступает в свои права владения им и что особенности ее миропонимания и мироощущения именно таковы. Когда Николай, чтобы сбросить грех с души, рассказывает ей о своей прошлой холостяцкой жизни и своих отношениях с Кшесинской, она записывает, против отметки «8-го июля. Пятница» целую тираду, давая своему возлюбленному осознать, что все поняла и простила: «Мой дорогой мальчик… Верь и полагайся на твою девочку, которая не в силах выразить словами своей глубокой и преданной любви к тебе. Слова слишком слабы, чтобы выразить любовь мою, восхищение и уважение, – что прошло, прошло и никогда не вернется, и мы можем спокойно оглянуться назад, – мы все на этом свете поддаемся искушениям, и в юности нам трудно бывает бороться и противостоять им, но, как только мы раскаиваемся и возвращаемся к добру и на путь истины, Господь прощает нас… Твое доверие меня глубоко тронуло, и я молю Господа всегда быть его достойной. Да благослови тебя Господь, бесценный Ники!»[27]

Эта ласковая проповедь переполняет адресата удивлением и благодарностью. Она не перестает очаровываться мягкостью его улыбки и глубиною его глаз; она воспитывает его сердечко, начертывает путь, которым он должен следовать, ведет его нежностью и твердостью – точь-в-точь так, как он того

бессознательно хотел с юных лет.

Блаженные денечки пронеслись как одно мгновение, и вдруг наследник с ужасом увидел, что на календаре 11 июля – день, назначенный к отъезду. «Грустный день – разлука – после более месяца райского блаженного житья!» – сетует он. Во время пребывания в туманном Альбионе он был так очарован своей прелестной Аликс, что ему было недосуг посетить Вестминстерское аббатство или Национальную галерею. Тем же, кто упрекал его в этом, он отвечал как на духу, что не интересуется «ни картинами, ни тем более древностями».[28] Прощание возлюбленных на пристани было тем грустнее, что еще не была назначена дата свадьбы. «Расстался с моей ненаглядной прелестью и сел в гребной катер. На „Полярной звезде“ получил от Аликс дивное длинное письмо…» Николай пообещал обратиться к родителю с просьбой, чтобы тот ускорил приготовления.

Но когда отважный путешественник возвратился в Россию, чтобы принять участие в свадьбе своей сестры Ксении со своим кузеном Сандро (Вел. кн. Александр Михайлович), он обнаружил, что отец снова болен и что празднество ему в тягость. Вызванный из Москвы профессор Захарьин успокаивает царскую семью и лишь рекомендует больному отправиться отдохнуть в местность с сухим климатом. И все-таки царь решает, по традиции, отправиться в Польшу на осеннюю охоту. Там силы подводят его. Приглашают почетного профессора нескольких германских университетов доктора Эрнста Лейдена – медицинское светило констатирует острое воспаление почек. Больного нужно было срочно перевезти в Крым, Николай в отчаянии – ведь это помешает его давно задуманной поездке к милой Аликс! «15 сентября, четверг. Был теплый дождливый день. Перед отправлением на охоту Мама́ объявила Папа́ о приезде Лейдена и просила его позволить тому сделать осмотр… Поохотились очень удачно. Убито: 2 оленя…4 козла, 1 свинья и 5 зайцев». И далее: «Целый день во мне происходила борьба между чувством долга остаться при дорогих родителях и поехать с ними в Крым и страшным желанием полететь в Вольфсгарте к милой Аликс. Первое чувство восторжествовало, и, высказав его Мама́, – я сразу успокоился!»

После долгого путешествия – сперва поездом до Севастополя, оттуда пароходом – царская семья прибыла в Ливадию. Глава семейства ведет борьбу за жизнь с переменным успехом. У его изголовья собрались пять эскулапов, как их называет Ники, чтобы отогнать от себя грустные предчувствия, наследник престола ездит верхом на свое любимое plage[29] (именно так, в среднем

роде) в Ореанде, «дерется каштанами» с Сандро и Ксенией – «сначала перед домом, а кончили на крыше»; забирается с ними в виноградник, где вкушает «много от плода лозного»… Между тем состояние здоровья отца день ото дня ухудшалось, и было решено выписать из Дармштадта Аликс. «Ее привезут Элла и д[ядюшка] Сергей, – записывает Николай 5-го октября. – Я несказанно был тронут их любовью и желанием увидеть ее! Какое счастье снова так неожиданно встретиться – грустно только, что при таких обстоятельствах».

10 октября на симферопольский вокзал прибыла Аликс в сопровождении вел. княгини Елизаветы Федоровны. Николай встретил ее по дороге в Ливадию. «В 9 ½ отправился с д[ядюшкой] Сергеем в Алушту, куда приехали в час дня. Десять минут спустя из Симферополя подъехала моя ненаглядная Аликс с Эллой… После завтрака сел с Аликс в коляску и вдвоем поехали в Ливадию». Хотя они и велели кучеру гнать во весь опор, в каждой деревне на их пути татары встречали хлебом-солью, к концу поездки вся коляска была полна цветов и винограду. Четыре часа добиралась молодая пара до Ливадии, где царь-отец уже успел заждаться – брезгуя рекомендациями врачей, Александр III изъявил желание встать с постели и облачиться в парадный мундир для встречи сына с будущей невесткой. Увидев будущего свекра сидящим в кресле с мертвенной синевою на лице под стать голубой ленте ордена Св. Андрея, она склонила пред ним колени, будто отдавала почести усопшему. В последующие дни Аликс жаловалась на большую усталость. Ей нужно было беречь ноги, и она предпочитала передвигаться в коляске. Но, несмотря на свое неважное физическое состояние, она стала с самого начала оказывать воздействие на Николая. От нее не укрылось, что окружение царевича относится к нему, наследнику престола, как к пустому месту, как будто и нет его на свете. Здесь, в Ливадии, с ним ни в чем не советуются, все решают за его спиной, как будто он не может навязать свою волю. Отчего же он принимает столь унизительную для него – и даже для нее – ситуацию? Из-за деликатности или потому, что ему так удобно? 15 октября – ровно через пять дней после того, как она распаковала чемоданы, – она завладевает дневником Николая и вписывает туда новую проповедь на аглицком наречии со вступлением: «Дорогое дитя! Молись Богу. Он поможет тебе не падать духом. Он утешит тебя в твоем горе. Твое Солнышко молится за тебя и за любимого больного. Дорогой мальчик! Люблю тебя, о, так нежно и глубоко. Будь стойким и прикажи д-ру Лейдену и другому Г[ерманцу] приходить к тебе ежедневно и сообщать, в каком состоянии они его находят, а также все

подробности относительно того, что они находят нужным для него сделать. Таким образом, ты обо всем всегда будешь знать первым. Ты тогда сможешь помочь убедить его делать то, что нужно. И если д-ру что-либо нужно, пусть приходит прямо к тебе. Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты – любимый сын Отца, и тебя должны спрашивать и тебе говорить обо всем. Выяви твою личную волю и не позволяй другим забывать, кто ты. Прости меня, дорогой!»[30]

Так, утешаемый и подбадриваемый прелестной Аликс, Николай покорно ожидал кончины своего родителя. Каждый день он навещал умирающего, опрашивал медицинских светил и священника и прогуливался по пляжу с дражайшей своей Аликс, которая не уставала жаловаться, как у нее болят ноги. Между тем в стране все с большим нетерпением ожидали вестей из Ливадии… За 13 лет правления Александр III силою подавил революционные тенденции, поднимавшие голову в царствование его отца, укрепил финансовую систему, привлекая иностранные капиталы, обеспечил стране преимущества длительного мира. А что же сын? За пределами двора о нем мало что известно. Достанет ли ему энергии для продолжения славных дел отца? Несмотря на неизбежность рокового исхода, Николай, похоже, не осознает еще всей тяжести ответственности, которая ляжет на его плечи. В эти трагические часы он думает не о своем народе, а о себе. Личное приключение с Аликс заслонило для него огромность российского политического пейзажа. «Такое утешение иметь дорогую Аликс, она целый день сидела у меня, пока я читал дела от разных министров! Около 11 часов у дяди Владимира было совещание докторов – ужасно! Завтракали внизу, чтобы не шуметь». (Запись от 18 октября.) На следующий день, 19-го октября, он пишет: «Беспокойства наши опять начались под вечер, когда Папá переехал в спальню и лег в постель: опять слабость страшная! Все бродили в саду вразброд – я с Аликс был у моря, так что побоялся за ее ноги, чтобы она не устала влезть наверх, коляски не было». И вот наконец 20 октября Александр III, исповедавшись и причастившись, смиренно почил в Бозе. «Боже мой, Боже мой, что за день. Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого Папá. Голова кругом идет, верить не хочется – кажется до того неправдоподобной ужасная действительность. Все утро мы провели наверху около него! Дыхание его было затруднено, требовалось все время давать ему вдыхать кислород. Около половины 3-го он причастился Св. Тайн; вскоре начались легкие судороги… и конец быстро настал. О. Иоанн[31] больше часа стоял у его изголовья и держал за голову. Это была смерть

святого! Господи, помоги нам в эти тяжелые дни! Бедная дорогая Мама́!» И как заключительный аккорд: «У дорогой Аликс опять заболели ноги!»

… Пушки военных кораблей, стоявших на якоре в Ялте, отсалютовали усопшему царю. Уже через полтора часа после кончины монарха в маленькой ливадийской церкви первые лица императорской свиты и другие чины стали присягать новому государю – Николаю Второму. Члены царской семьи, официальные лица и придворная челядь стояли полукругом перед облаченным в золотую ризу священником, совершавшим обряд. Но мысли Николая витали совсем в иных сферах. Он возмечтал о другой, казавшейся ему более важной, церемонии – предстоящем бракосочетании с ненаглядной своей Аликс.

* * *

На следующий же день после кончины Александра III состоялось обращение Гессен-Дармштадтской принцессы в православную веру – отныне ее величают Александрой Федоровной, что, впрочем, не мешает Николаю по-прежнему называть ее на страницах дневника «дорогой Аликс». «И в глубокой печали Господь дает нам тихую и светлую радость, – записывает в своем дневнике новый государь. – В 10 часов в присутствии только семейства моя милая дорогая Аликс была миропомазана… Аликс поразительно хорошо прочла свои ответы и молитвы. После завтрака была отслужена панихида, в 9 часов вечера другая. Выражение лица у дорогого Папа́ чудное, улыбающееся, точно хочет засмеяться!»

«Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу, – замечает Николай день спустя. – Мама́… и я находим, что всего лучше сделать ее здесь спокойно, пока еще дорогой Папа́ под крышей дома; а все дяди против этого и говорят, что мне следует жениться в Питере, после похорон. Это мне кажется совершенно неудобным!» Все же под давлением дядьев Николай вынужден был уступить. Между тем тело новопреставленного было подвергнуто бальзамированию перед отправкой в Санкт-Петербург. «Все не решаюсь войти в угловую комнату, где лежит тело дорогого Папа́ – оно так изменилось после бальзамировки, что тяжело разрушить то дивное впечатление, которое осталось от первого дня!» (Запись 24 октября.)

27 октября гроб с останками Александра III был отправлен сперва морем до Севастополя, оттуда поездом в Петербург. Среди

остановок для панихид в пути была и станция Борки близ Харькова, где когда-то покойный государь проявил чудеса мужества при крушении царского поезда… Погребение состоялось в соборе Петропавловской крепости в присутствии толпы придворных и представителей всех европейских государств. К новому правителю, чье заплаканное лицо едва можно было различить под траурным крепом, устремлялось множество любопытных взглядов. Впрочем, иные уже тогда нашептывали, что это «птица несчастья»… Когда собравшиеся один за другим подходили ко гробу, чтобы сказать усопшему последнее прости, все были поражены состоянием тела – генеральша Богданович не преминула заметить по этому поводу: «Царь очень дурно набальзамирован, лицо совсем синее, покрыто слоем пудры, так что его совсем нельзя узнать. Руки у него страшно исхудали, пальцы тонки до невероятия. Дежурству трудно стоять, так как есть трупный запах, несмотря на дезинфекцию и духи в изобилии». (Запись от 2 ноября 1894 г.)

По выходе из собора Николай увидел выстроенные в каре на крепостной площади войска. Перед ним склонились знамена, воздух наполнили звуки государственного гимна «Боже, царя храни» – в первый раз в его честь!.. Вечером того же дня он, как и всегда, доверяет страницам своего дневника впечатления о пережитом: «Тяжело и больно заносить такие слова сюда – все еще кажется, что мы все находимся в каком-то сонном состоянии и что – вдруг! – он опять появится между нами! Вернувшись в Аничков, завтракал наверху с милой Мамá, она удивительно берет на себя и не падает духом. Погулял в саду. Сидел со своей Аликс и пили чай со всеми».

В последующие дни влюбленная пара занималась преимущественно подбором ковров и занавесок для новых комнат, которые он собирался прибавить к своей пока еще холостяцкой квартире. Ну и как бы между делом – государственные обязанности: «Принимал герцога Альба, посланного королевой испанской. Сделал визит королю сербскому, который всем надоел своим поведением вчера и сегодня в крепости… Обедали в 8 час. и провели вечер спокойно в семейном кругу. Двое из принцев уехали, скорее бы вынесло прочь и остальных». Между тем еще оставался открытым вопрос о дате свадьбы. Сперва предполагали отложить ее до окончания траура при дворе; но Николай с Александрой так торопились, что семья решила соединить их 14 ноября, в тезоименитство вдовствующей императрицы, т. е. всего через неделю после погребения Александра III. Вполне естественно, никаких народных гуляний по случаю бракосочетания не

предусматривалось – все-таки траур! Утром 14 ноября Николай облачился в красный мундир гусарского полковника с золоченым галуном на плече. На Александре было платье из белого шелка, расшитое серебряными цветами, и мантия из золотой парчи, шлейф которой несли пять камергеров, а голову ее венчала императорская диадема, украшенная бриллиантами. В этом убранстве она блистала хрупкой и чистой красотой. Высокая, с правильными чертами, с прямым изящным носиком, серо-синими глазами, мечтательная, с густыми, ниспадавшими на лоб золотистыми волосами, новобрачная выступала грациозно и величаво, но при этом каждое мгновение заливалась краской, точно застигнутый на месте преступления ребенок. Ослепленный любовью Николай называет ее «sunny» – «солнышко». Церемония состоялась в дворцовой церкви; в Малахитовой зале новобрачным поднесли громадного серебряного лебедя от царской семьи. «Кто это почувствует, кто сможет выразить? – писала она сестре. – В один день в глубоком трауре оплакивать любимого человека, а на следующий – в модных туалетах выходить замуж… Наша свадьба казалась мне просто продолжением панихиды, с тем отличием, что я надела белое платье вместо черного».[32]

После церемонии новобрачные сели в карету с русской упряжью и форейтором и покатили в Казанский собор на богослужение. «Народу на улицах была пропасть – едва могли проехать!» – замечает Николай. По возвращении в Аничков дворец Мама́, согласно традиции, встретила молодую пару хлебом-солью. По нескромным слухам, распускавшимся некоторыми придворными, ночь молодые провели так же хорошо, как и день. «Итак, я женатый человек, – доверяет свою радость бумаге Николай. – … После кофе Мама́ посетила нас – ей понравилась отделка новых комнат». И несколько дней спустя: «24-го ноября, четверг. Каждый день, что проходит, я благословляю Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье, каким Он меня наградил! Большего или лучшего благополучия на этой земле человек не вправе желать». К сему Александра добавляет по-английски: «Я никогда не могла представить себе возможности подобного беззаветного счастья на этом свете, такого чувства единства между двумя людьми. Люблю тебя – в этих двух словах вся моя жизнь».

Эта обоюдная экзальтация не мешала Николаю время от времени заниматься государственными делами. Рапорты министров, визиты послов, официальные приемы, разбор телеграмм, пришедших из-за границы… Но все, что отвлекает его от благоверной, кажется ему досадной обузой, отнимающей время. «Просто нет сил расстаться друг с другом», – признается

он. И далее: «Невыразимо приятно прожить спокойно, но не видя никого – целый день и ночь вдвоем». (Записи 19 и 22 ноября). Но если при дворе иные умилялись этой картине идеальной супружеской любви, то другие уже испытывали страх, достанет ли Николаю II качеств, необходимых для управления империей в сто с лишним миллионов душ.

Глава третья
Первые шаги: в России и во Франции

В пору авторитарного правления Александра III Россия застыла неподвижно, точно под стальным колпаком. Любая мысль о реформе беспощадно пресекалась, о заговорах забыли и думать – просто жили ото дня ко дню в порядке, мире и традиции. Даже такая ярая монархистка, как мадам Богданович, и та чувствовала себя неуютно в атмосфере этого удушающего оцепенения. По ее словам, доверенным бумаге 26 ноября 1894 года, покойный император внушал один лишь страх, и, когда он испустил дух, все остальные вздохнули с облегчением – его уход был воспринят более чем прохладно, и сожалели о нем одни лишь те, кто боялся потерять свои портфели.

С восшествием на престол Николая II долго сдерживаемые либеральные идеи снова стали носиться в воздухе. Многим думалось – нет, не сможет этот новый 26-летний государь во всем следовать по стопам отца. Молодой и влюбленный в идеал, он наверняка щедро отзовется на чаяния своего народа. Со своим пригожим лицом и изящной походкой, он представлялся воплощением надежд нового поколения. Но близкие Николая, для которых не была секретом слабость его характера, уже задавались вопросом, кто будет руководить им при принятии первых решений. Если недостатком Александра III было нежелание никого слушать и все решать самому, то недостатком его сына, как представлялось, была, напротив, тенденция опираться на чужую компетенцию и волю, которой ему явно недоставало. Его кузен и друг детства Вел. кн. Александр Михайлович (который впоследствии возьмет в жены его сестру, Вел. кн. Ксению) вспоминал крик души, вырвавшийся у Николая в порыве откровенности: «Сандро, Сандро, что мне делать? Что будет со мной, с тобой, с Ксенией, с мамой – со всей Россией? Я не готов быть царем! Я не хотел им быть! Я ничего не понимаю в управлении. Я понятия не имею, как обращаться с министрами…»

Великий князь Александр Михайлович, которого близкие называли просто «Сандро» – человек умный, образованный, амбициозный, – с самого начала почувствовал необходимость взять на себя роль первого советника при этом робком монархе, не имеющем при восшествии на престол никакой определенной программы. Ну а, помимо него, опорой престолу – целая шеренга дядьёв: «дядя Ниша» – Великий князь Михаил Николаевич, младший брат Александра II, председатель Государственного

совета; «дядюшка Алексей» – Вел. кн. Алексей Александрович, брат Александра III, адмирал, главнокомандующий российским флотом; «дядюшка Сергей» – Вел. кн. Сергей Александрович, брат Александра III, московский генерал-губернатор, женившийся на сестре царицы – Елизавете; «дядюшка Владимир» – Вел. кн. Владимир Александрович, старший из братьев Александра III; «дядюшка Константин» – Вел. кн. Константин Константинович, внук Николая I; «дядюшка Николай» – Вел. кн. Николай Николаевич, еще один внук Николая I, обладавший реальными познаниями в области военного дела и настаивавший, чтобы ими овладевал и монарх-дебютант. Этих ревнующих друг к другу членов пышного клана объединяли гордость за принадлежность по рождению к высшей касте и представление о власти только как о самодержавии. Вел. кн. Александр Михайлович, он же Сандро, рассказывал: Николай боялся остаться с глазу на глаз с этими грозными персонажами. В присутствии свидетелей они воспринимали слова государя как приказы, но стоило им шагнуть за порог его кабинета, как каждый из них тут же принимался выказывать свои амбиции и претензии – Николай Николаевич мнил себя великим полководцем, Алексей – повелителем морей, Сергей спал и видел, как бы превратить Москву в свою вотчину, Владимир взял на себя роль покровителя изящных искусств… У каждого из них были фавориты из числа генералов и адмиралов, не говоря уже о фаворитках-танцовщицах, мечтавших, чтобы им аплодировали в Париже. В конце каждого дня император выглядел совершенно как выжатый лимон.

Помимо дядьев и кузенов, чье мнение было у Николая на высоком счету, огромное влияние оказывала на него мать – вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая казалась ему святой и которой он внимал с благоговением. В глазах этой 47-летней женщины юная Александра Федоровна была всего лишь легкомысленной немочкой, без году неделя обращенной в православие и ничего не смыслящей в российском укладе жизни. Кстати сказать, согласно протоколу вдовствующая императрица обладала старшинством над царствующей, и Мария Федоровна демонстрировала это при каждом удобном случае. Именно она на официальных церемониях шествовала под руку с сыном, ей первой сервировали за столом, она консультировала Николая по всем вопросам, относящимся к жизни двора. Повинуясь принятым при российском дворе правилам, Александра страдала от необходимости постоянно уступать этой надменной особе; она видела в своей свекрови соперницу и раздражалась от того, что та выказывала в отношении сына авторитарность и снисходительность, как будто он по-прежнему оставался ничего

не значащим Ники.

Исполненная жажды реванша, Александра стремилась завоевать уважение и доверие своего супруга. Пусть она еще не успела в достаточной степени выучить русский язык и освоиться с нравами новой родины, но тем не менее она не упускает случая напомнить Николаю, чтобы он не забывал, что он – абсолютный хозяин империи. В этой схватке ее поддерживает ряд друзей и советников из стана покойного свекра. Мало-помалу она узнаёт, кто есть кто в этом семействе, суетящемся за хрупкими плечами нового самодержца. В последний день переломного 1894 года Николай делает следующую запись в своем дневнике: «Мороз усилился и дошел до 14 градусов, потом он сдал… читал до 7 ½, тогда пошли наверх к молебну. Тяжело было стоять в церкви при мысли о той страшной перемене, которая случилась в этом году. Но, уповая на Бога, я без страха смотрю на наступающий год – потому что для меня худшее случилось, именно то, чего я так боялся всю жизнь. Вместе с таким непоправимым горем Господь наградил меня также и счастьем, о каком я не мог даже мечтать, дав мне Аликс».

Мирная атмосфера, царившая внутри и вовне империи, навела либеральные круги на мысль, что настал момент привлечь внимание молодого царя к необходимости проводить более ясно выраженную политику. По случаю восшествия нового государя на престол различные земские собрания направили Его Величеству приветственные адреса, в которых нашли место сдержанные, облаченные в самую почтительную форму пожелания умеренных реформ и некоторых мероприятий по улучшению материального и правового положения крестьянства. В некоторых содержались намеки на желательность привлечения выборных земских людей к принятию политических решений. Особенно отчетливо это прозвучало в адресе Тверского земства, давно уже снискавшего роль лидера либеральных настроений среди органов местного самоуправления. В этом адресе выражалась надежда, что выборные представители получат право и возможность высказывать свои собственные мнения по касающимся их проблемам и доносить до высот престола нужды и чаяния не только правящих кругов, но и русского народа в целом.

Это – робкое, оправленное в уверения в почтении и лояльности – послание изумило и насторожило государя. Как реагировать на это? Заявить ли публично, сколь шокирован он таким посягательством на свое императорское достоинство? Или вообще проигнорировать, чтобы выразить свое пренебрежение к этой нерешительной агитации со стороны земств? Не зная, что и предпринять, он собирает семейный совет, на который

приглашаются Вел. кн. Владимир, министр внутренних дел Дурново, генерал-адъютант, шеф политической полиции П.А. Черевин и его бывший наставник, обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев. Большинство присутствующих убеждали государя, что этот инцидент не имел никакой политической подоплеки и что, принимая депутации, прибывавшие поздравить его с бракосочетанием со всех концов России, виновнику торжества надлежит просто благодарить за благопожелания. Казалось, Николай согласился с этой позицией. И все-таки в итоге занял противоположную. Чем был вызван этот поступок монарха? По словам Александра Извольского – в то время посла России в Дании, впоследствии министра иностранных дел, – это Победоносцев призвал его проявить твердость во имя памяти отца. Сам же Победоносцев утверждал обратное – этим поворотом Николай обязан влиянию юной императрицы. Мол, Александра Федоровна, ничего не зная о России, мнила себя знатоком всего и в частности ее преследовала мысль, что император не в полной мере утверждается в своих правах и не получает всего, что ему полагалось бы. «Она бóльшая самодержица, чем Петр Великий, – утверждал Победоносцев, – и, пожалуй, столь же жестока, как Иван Грозный. Похоже, за ее короткою мыслью скрывался большой ум».[33]

Как бы там ни было, когда 17 января 1895 года новый государь принимал депутации от дворянств, земств и городских обществ, на лице его запечатлелась необычная строгость. По словам очевидцев, царь прочел свою речь по бумажке, которую держал в шапке. Вот эта речь слово в слово: «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому, но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель». И добавил сухим, как бы вызывающим тоном: «Я говорю это громко и открыто».[34] Делегаты обменивались удрученными взглядами, они пожаловали в самый разгар празднества, чтобы поздравить государя, а получили ушат холодной воды.

Заявление царя насчет «бессмысленных мечтаний» земских собраний сделались притчей во языцех во всем русском обществе; неуклюжесть этого заявления признали даже самые отъявленные монархисты вроде мадам Богданович, которая 20 января 1895

года отметила, что слова о «бессмысленности мечтаний» породили множество комментариев и немало недовольства. Утрата иллюзий была всеобщей, даже те немногие, кто с одобрением отнесся к императорской речи, досадовали по поводу этих сказанных императором слов. Что же касается германского посла, генерала Вердера, то 3(15) февраля он передавал на родину депешу: «Вся Россия критикует императора. В начале правления ему курили фимиам, восхваляли его действия. Теперь же все резко изменилось».[35]

Вот так одною бессмысленно резкой фразой Николай рассеял иллюзии русской интеллектуальной элиты. Впрочем, сам он ничуть не сожалел о сказанном. Как и многие люди со слабым характером, он по временам блажил, артачился и принимал необдуманные решения, которые человек с большей твердостью характера отклонил бы или отложил для зрелого размышленья. Даже на его авторитетных поступках часто лежала печать мимолетного каприза – Ея Превосходительство. А.Ф. Богданович, в своем репертуаре, записывает: «Молодая царица, которая хорошо рисует, нарисовала картинку – мальчик на троне (ее муж) руками и ногами капризничает во все стороны, возле него стоит царица-мать и делает ему замечание, чтобы не капризничал. Говорят, царь очень рассердился на эту карикатуру». (Запись от 3 марта 1895 года.) Но куда более серьезной оказалась реакция Революционного исполнительного комитета в Женеве, который в правление Александра III занимал выжидательную позицию, на сей раз распространил по России открытое письмо в адрес Николая II. Тысячи экземпляров этого документа были перехвачены полицией, но куда большее число дошло до русских читателей, а один экземпляр даже лег на письменный стол адресата. Письмо было выдержано в патетических тонах. В нем говорилось, что адресат, до недавнего времени бывший никому не ведомой «темной лошадкой», становится теперь фактором, определяющим ситуацию в стране, которая не находит себе места, услышав это заявление о «бессмысленных мечтаниях». Чего же хотели земства? Всего-навсего более тесного союза между монархом и его народом, возможности без посредников доводить свои чаяния до высочайшего престола, заручиться законом, который стоял бы выше капризов любых администраций. А речь монарха 17 января разрушила ореол, которым столько русских людей увенчали юную, неопытную голову нового государя, низведя, таким образом, его популярность до ничтожества.

Это предупреждение никоим образом не взволновало Николая, который в силу своего темперамента и отсутствия политического образования никогда не предвидел неизбежных

последствий своих поступков. Будучи в мире со своею совестью, он совершенно искренне считал, что родная страна не сможет поставить ему в вину ни одного просчета: ведь он честный человек, усердно корпеет над государственными бумагами, обожает свою жену, как и она – его, ведет у себя во дворце жизнь образцового семьянина – а что еще? Если какие-то ворчуны и упрекают его за ответ земствам, то скоро, как он думал, недоразумение рассеется – ведь в мае 1896 года в Москве состоятся пышные коронационные торжества! А за полгода до этого события прелестная Аликс принесла в семью большущую радость – 3 ноября 1895 года она благополучно разрешилась от бремени дочкой, которую нарекли Ольгой. В день прибавления в семействе Николай в восторге запишет: «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много, много выстрадал! Еще в час ночи у милой Аликс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях – бедная! Я не мог равнодушно смотреть на нее. Около 2 часов дорогая Мама́ приехала из Гатчины; втроем с ней и Эллой находились неотступно при Аликс. В 9 час. ровно услышали детский писк, и все мы вздохнули свободно! Богом посланную дочку при крещении мы назвали Ольгой! Когда все волнения прошли и ужасы кончились, началось просто блаженное состояние при сознании о случившемся! Слава Богу, Аликс перенесла роды хорошо и чувствовала себя вечером бодрою. Поел поздно вечером с Мама́, и когда лег спать, то заснул моментально!»

С началом зимы во дворце впервые со времени смерти Александра III возобновились празднества. На приемах и балах царица Александра Федоровна, дотоле знакомая лишь небольшому числу избранных, оказалась теперь на глазах раболепствующей и злословящей толпы придворных. Суд оных был более чем строгим. Послушать их, и царица не такая красавица, как нам ее расписывают, и манерами она – неисправимая гордячка, держащая всех на расстоянии от себя, отталкивая людей, которых должна бы привлекать к себе. Новая царица вовсе не симпатична, замечает мадам Богданович, а взгляд у нее злой и неискренний. Да и Николай при его невысоком росте, ласковом взгляде голубых глаз, короткой бородке и шелковых усиках не мог импонировать тем, в чьем представлении государь непременно должен был обладать физической мощью и почти сверхчеловеческой моралью. Поднимет ли коронация в глазах народа и двора престиж такого скромного, бледного и благонамеренного монарха? Между тем в канцеляриях и мастерских ускорились приготовления, и

беспощадная мадам Богданович фиксирует на бумаге слухи, что коронация Николая II обойдется вдвое больше против одиннадцати миллионов, затраченных на коронование Александра III. (Запись от 4 марта.)

Уже в первых числах мая Москва была готова к церемонии. На пути следования коронационного кортежа воздвигались триумфальные арки, трибуны и эстрады, гигантские мачты для желтых флагов с золотой бахромой, гипсовые бюсты императора и императрицы. Несколько военных моряков, которые только и были сочтены способными на выполнение этих, подобных акробатическим трюкам, высотных работ, украсили кремлевские башни и купола гирляндами электрических ламп, а плотники вырубали топорами деревянных двуглавых орлов, короны и императорские вензели.

6 мая – в день рождения Николая – царствующая чета прибыла в Первопрестольную, остановившись в старом путевом Петровском замке при въезде в город. 9 мая колокола московских «сорока сороков» возвестили о начале торжеств. Огромные людские толпы теснились на пути следования процессии, жаждя лицезреть обожаемого монарха. Салютовали пушки. В голубом небе плыли легкие облачка и кружили стаи обезумевших птиц. Процессия растянулась на несколько верст. Вот выступают казаки Его Величества в красных мундирах, вот – казаки Императорской гвардии, крепко сжимающие в руках пики; пестреют экзотические одеяния подвластных России азиатских народов, делегации которых прибыли на торжества; придворные лакеи в расшитых золотом кафтанах; скороходы со страусовыми перьями на причудливых головных уборах; царские арапы, музыканты, два отряда кавалергардов и конногвардейцев в полном парадном убранстве. Государь восседал на белоснежном скакуне, подкованном по обычаю серебряными подковами; при его приближении толпы взрывались криками «Ура!». На государе – парадный мундир и орден Андрея Первозванного на широкой синей ленте, пересекавшей грудь. Внимая овациям своих подданных, он мог вздохнуть с облегчением: никто не таил на него зла за неуклюжее высказывание в обращении к земским депутациям.

Позади государя следуют Великие князья, иностранные принцы, послы. В золотой карете, запряженной четырьмя парами белых лошадей, – вдовствующая императрица Мария Федоровна, следом точно в такой же – Александра Федоровна, далее в каретах едут великие княгини и княжны… «Все заметили, что государь был чрезвычайно бледен, сосредоточен, – записал в своем дневнике А.С. Суворин. – Он все время держал руку под

козырек во время выезда и смотрел внутрь себя. Императрицу-мать народ особенно горячо приветствовал. Она почти разрыдалась перед Иверской, когда государь, сойдя с коня, подошел к ней высадить ее из кареты».[36]

И вот наконец настало главное событие празднеств. 14 мая в Успенском соборе Московского Кремля в 10 часов утра начался торжественный обряд Священного Коронования. По ступеням, ведущим к трону, поднялся медленными шагами митрополит Санкт-Петербургский Палладий.

Взойдя на верхнюю площадку, Высокопреосвященный стал перед государем императором и обратился к Его Величеству со следующей по уставу речью:

«Благочестивейший Великий Государь наш Император и Самодержец Всероссийский! Понеже благоволением Божиим и действием Святого и Всеосвящающего Духа и Вашим изволением имеет ныне в сем первопрестольном храме совершиться Императорского Вашего Величества Коронование и от святого мира помазание; того ради, по обычаю древних христианских Монархов и Боговенчанных Ваших Предков, да соблаговолит Величество Ваше вослух верных подданных Ваших исповедать православную кафолическую веру, како веруеши?»

С этими словами митрополит поднес Его Величеству разогнутую книгу, по которой государь император громко и отчетливо прочитал Символ Веры, осенив себя крестным знамением троекратно при произнесении святых имен Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа.

По прочтении государем императором Символа Веры митрополит возгласил: «Благодать Святого Духа да будет с Тобою. Аминь» и сошел с тронного места, а диакон после обычного начала возгласил великую ектению со следующими, особыми на этот случай, прошениями.

По окончании второй молитвы наступила одна из торжественных минут. Государь император повелел подать себе корону. На малиновой бархатной подушке генерал-адъютант граф Милютин поднес большую императорскую корону, усыпанную драгоценными алмазами, ярко сиявшими под лучами солнца, проникавшими в окна храма. Митрополит Палладий принял корону и представил ее Его Величеству. Государь император, стоя в порфире перед своим престолом, твердыми руками взял корону и неторопливым, спокойным и плавным движением надел ее на голову.[37]

«Во Имя Отца и Сына и Святага Духа», – произнес митрополит Палладий и прочел по книге следующую речь:

«Благочестивейший, Самодержавнейший Великий Государь Император Всероссийский! Видимое сие и вещественное главы Твоея украшение – явный образ есть, яко Тебя, Главу всероссийскаго народа, венчает невидимо Царь Славы Христос, благословением Своим благостынным утверздая Тебе владычественную и верховную власть над людьми Своими».

После этого Его Величество повелел подать скипетр и державу. Митрополит Палладий поднес эти регалии государю императору и прочитал по книге речь: «О! Богом венчанный и Богом дарованный и Богом преукрашенный, Благочестивейший, Самодержавнейший, Великий Государь Император Всероссийский! Прими скипетр и державу, еже есть видимый образ даннаго Тебе от Вышняго над людьми Своими самодержавия к управлению их и ко устроению всякаго желаемаго им благополучия». Одетый в порфиру и корону, со скипетром в правой руке и державою в левой, государь император снова воссел на престол.

Вслед затем Его Величество, положив обе регалии на подушки, изволил призвать к себе государыню императрицу Александру Федоровну. Ея Величество сошла с своего места и стала перед августейшим своим супругом на колени на малиновую бархатную подушку, окаймленную золотою тесьмою; монарх снял с себя корону, прикоснулся ею ко главе императрицы и снова возложил корону на себя. В это время митрополит подал государю малую корону, и он возложил ее на свою августейшую супругу. После этого Его Величеству была поднесена порфира и алмазная цепь ордена св. апостола Андрея Первозванного. Государь император, приняв эти регалии, возложил их на Ея Величество при содействии ассистентов государыни императрицы Великих князей Сергея и Павла Александровичей, а также приблизившейся с этой целью к Его Величеству статс-дамы графини Строгоновой. Государыня императрица, облаченная, стала на свое место. Государь император поцеловал государыню.

«Как он нежно надевал на нее корону! – вспоминала позднее его сестра Ольга. – А обернувшись, долго смотрел на меня своими кроткими голубыми глазами…» Наконец все торжественно выходят из собора – Николай и Александра трижды кланяются собравшейся огромной толпе. Аккомпанементом могучему хору всех колоколов возгремел артиллерийский салют; не смолкало громогласное «Ура!», пели трубные звуки гимна «Боже, царя храни»; сами собою лились слезы умиления, восторга, благодарности.[38]

Впрочем, и тут не обошлось без злоязычия – по мнению иных свидетелей, «корона царя была так велика, что ему приходилось

ее поддерживать, чтобы она совсем не свалилась». (Источник – запись в дневнике Ея Превосходительства А.Ф. Богданович от 22 мая 1896 г.) Но и это не самое страшное – многие утверждали: у государственного советника Набокова в тот самый момент, когда он держал корону перед торжественным актом, «сделался понос, и он напустил в штаны»[39] (а это уже дневник Суворина – запись от 19 мая 1896 г.).

Как бы там ни было, религиозная церемония – при сиянии свечей, благовонии ладана, блеске риз, мощном голосе хора – до глубины души потрясла Николая. Ведь этой же церемонии в этом соборе подвергались все русские цари, что правили страной доселе! Еще вчера он был правителем едва ли не на «птичьих правах», а с этой минуты он чувствовал возложенную на него божественную миссию, которая вознесла его над простыми смертными! И все-таки он не изменился. При нем – все та же простота, все та же любезность, все те же сомнения, которые привязывают его к земле. Как примирить беспечность, которая была у него в сознании, с тою ролью, которая выпала на его долю?

По выходе из собора Их Величества поднялись на Красное крыльцо и по обычаю трижды поклонились приветствовавшей их толпе. Вечером того же дня был дан торжественный ужин на 7000 тщательно отобранных персон. Николай и Александра восседали на возвышении под золоченым балдахином. Им прислуживали высокие сановники, подававшие кушанья на золотых блюдах. В продолжение всей трапезы на головах у Их Величеств были надеты их тяжелые короны. После ужина Их Величества совершили прогулку по Кремлю, приветствуя приглашенных на торжество. За ними следовали 12 пажей, несших тяжелые шлейфы.

Согласно традиции программа торжества включала и народные гулянья. Для них, как и в коронацию Александра III, была определена восточная часть Ходынского поля, к северо-западу от Москвы. Для раздачи «царских гостинцев» на зыбкой почве Ходынского поля было сколочено полтораста дощатых киосков – так было и в 1883 году, причем киосков тогда соорудили всего сто, и при раздаче гостинцев обошлось без всяких происшествий. Ходили слухи, что подарки обещали быть очень богатыми – иные, рассчитывая выиграть в лотерею корову, приносили с собою веревку, чтобы увести ее! Однако в действительности подарочный набор включал сайку и завязанные в платок пряник, кусок колбасы, сласти вроде орешков, сушеных фиг, изюму и эмалированную – в то время большая редкость! – кружку[40] с императорскими вензелями. С этой кружкой можно

было подойти к многочисленным кранам с пивом и медом. Ну и, конечно, были предусмотрены многочисленные развлечения, театральные представления, аттракционы и необычные зрелища вплоть до запуска монгольфьеров.

Привлеченная обещанными бесплатными гостинцами и зрелищами 18 мая, публика начала стягиваться к Ходынскому полю еще с вечера 17-го. К полуночи собралось уже около 200 тысяч народу – столько же, сколько пожаловало на торжества в 1883 году, а к рассвету число страждущих увеличилось до полумиллиона, если не более; в ожидании люди устраивались спать на земле, у костров. По давно утвержденной программе, публика не допускалась к местам раздачи гостинцев ранее 10 час. утра; но вот прошел слух, что буфетчики начали оделять «своих», что припасенного на всех не хватит – и, по свидетельству очевидца, толпа вскочила вдруг, как один человек, и бросилась вперед, как будто за нею гнался огонь; людское море бушевало. Между тем местность, на которой были выстроены киоски для раздачи гостинцев, была пересеченной. Поле было изрыто ямами, которые по халатности властей остались незасыпанными; вблизи киосков протянулся огромный овраг 8 футов в глубину, 90 в ширину – оттуда муниципальные службы брали песок, необходимый для содержания в порядке московских улиц. Чтобы добраться до киосков, требовалось спуститься по склону и подняться уже с другой стороны. Позади оврага находились два колодца, вырытых в 1891 году при проведении Французской выставки и кое-как прикрытых досками. В ответ на летевшие со всех сторон требования начать раздачу гостинцев растерявшиеся буфетчики принялись швырять узелки в толпу наугад – и тут началось самое страшное! Киоски брались штурмом, задние ряды напирали на передние; мужчины, женщины, дети скатывались кубарем в овраг, вопя от ужаса; кто падал – того топтали, потеряв способность ощущать, что ходят по живым еще людям. Раздался зловещий треск – это хрустнули доски, прикрывавшие колодцы, и в пустоту полетели изувеченные тела. Иные были просто стиснуты насмерть, и их мертвые тела, зажатые со всех сторон толпою, колыхались вместе с нею. Наконец прибывшим из Москвы пожарным и полицейским подкреплениям удалось создать кордон и вызволить три-четыре тысячи жертв.[41] Мертвых вповалку бросали на подводы и накрывали брезентом, из-под которого свисали безжизненные руки и ноги. Из одного из колодцев, оставшихся после Французской выставки, извлекли 40 тел несчастных. Весь день с поля и на поле ехали подводы, вывозившие мертвых и раненых в полицейские участки и больницы.

Между тем несколько сотен тысяч человек еще оставались на Ходынском поле – ввиду его огромной протяженности они находились вдалеке от места трагедии и ничего не знали о ней; как ни в чем не бывало, мирно закусывали, выпивали и смотрели выступления канатных плясунов и прочие зрелища такого рода. В точно назначенное время в Императорском павильоне появились Великие князья и княгини, иностранные принцы и члены дипломатического корпуса. В два часа пополудни раздался пушечный залп, хор и оркестр исполнили финал оперы «Жизнь за царя», и под громогласные овации подкатила легкая царская коляска-виктория в сопровождении конных офицеров. Через несколько мгновений государь с супругой показались на балюстраде почетной трибуны – и грянуло тысячеголосое «Ура!». «Если когда можно было сказать: „Цезарь, мертвые тебя приветствуют“, это именно вчера, когда государь явился на народное гулянье. На площади кричали ему „Ура“, пели „Боже, царя храни“, а в нескольких саженях лежали сотнями еще не убранные мертвецы»,[42] – записал А.С. Суворин.

Узнав о случившемся, Николай решил было отменить празднество и отправиться в паломничество для покаяния. Но близкие стали его разубеждать, уверяя, что монарх, достойный такого звания, не должен ни под каким предлогом изменять намеченную программу. В первую очередь они настаивали, чтобы он этим же вечером, как и предполагалось, явился на бал, устраиваемый французским посольством. Вдовствующая императрица просто советовала своему сыну в силу своего долга явиться на бал к послу, маркизу де Монтебелло, и задержаться там всего на полчаса. Дядья царя – Владимир Александрович и Сергей Александрович – со своей стороны убеждали Николая, что владыке не пристало быть сентиментальным, что он как раз должен использовать этот случай, чтобы продемонстрировать, что абсолютному властителю позволено все. Кстати сказать, и в других странах случалось подобное – когда в 1867 году в Британии отмечали 50-летие вступления на престол королевы Виктории, в Лондоне при схожих обстоятельствах погибло 4000 человек – и ничего, придворные церемонии не были нарушены! «Стоит ли переносить бал из-за такого пустяка?» – заметил командир кавалергардского полка Чипов. Для очистки совести Николай распорядился выплатить каждой семье погибшего или пострадавшего по тысяче рублей – и отправился на французский бал.

Пышный прием состоялся в Шереметевском дворце, где разместилась французская делегация. Когда царственная чета восшествовала в парадный зал, хористы, одетые в русские

костюмы, грянули русский гимн. Тут же начались танцы. Царь открыл бал, выступив в танце с маркизой де Монтебелло, а маркиз де Монтебелло танцевал, соответственно, с царицей. По некоторым свидетельствам, на лицах царя и царицы лежала печать тяготы, с которой они принимали участие в этом светском развлекательном мероприятии, когда в стольких русских домах стоял стон и плач. Но по другим источникам, они танцевали «с необычайным увлечением, проявляя безмятежное безразличие к случившейся кровавой катастрофе».[43] В действительности же Николай в полной мере отдавал себе отчет о масштабе ходынской драмы, но, как ему объясняли дядья, монарший долг обязывает его любой ценой шагать своей стезей с гордо поднятой головой и взглядом, устремленным далеко вперед. Кстати, Николай и не умел никогда выражать свои чувства на публике. Речь не о безразличии – скорее, о смеси робости и самообладания. Не британское ли образование, полученное в молодые годы, вызвало в нем это отстраненное отношение? Постоянно казалось, что он по ту сторону события. Пытаясь ободриться, он говорил про себя, что иные катастрофы, непонятные с человеческой точки зрения, необходимы согласно критериям божественной логики.

… На следующий после катастрофы день, 19 мая, в точном соответствии с протоколом, Николай устраивает обед на 432 приглашенных; 20-го он присутствует на многочисленном приеме у Вел. кн. Сергея Александровича; 21-го он присутствует на дворянском балу; в этот же день на том же Ходынском поле дефилировали стройные ряды войск; 22-го он пожаловал на большой праздник, устроенный послом Великобритании… К этому времени еще не все жертвы Ходынки были преданы земле. Когда царь ехал в коляске на обед у немецкого посла в России Радолина, «народ ему кричал, что не на обеды он должен ездить, а „поезжай на похороны“. Возгласы „разыщи виновных“ многократно раздавались из толпы при проезде царя», – записала госпожа Богданович 5 июня. Запись, сделанная на следующий день, еще резче: «Царь выглядит больным. Во время коронации он был не только бледным, но и зеленым. Молодую царицу считают porte-malheur’ом (приносящей несчастья. – *С.Л.*) что всегда с ней рядом идет горе».

Первый шок прошел – самое время искать, на кого свалить ответственность. Новая для Николая проблема. Организация «народных развлечений» была поручена двум различным авторитетам: министру двора Воронцову-Дашкову и московскому генерал-губернатору Вел. кн. Сергею Александровичу. Проворно проведенный опрос позволил определить, что истинными виновниками были Сергей Александрович и чиновники,

находившиеся у него в подчинении. Но против обвинения тут же восстали другие Великие князья: с их точки зрения, признание вины кого-либо из членов Императорской семьи дискредитирует сам принцип монархии. Братья Сергея – Вел. князья Владимир Александрович, Алексей Александрович и Павел Александрович – угрожали подать в отставку со своих постов, если дело не будет спущено на тормозах. И под нажимом семейного клана Николай повелел вывести Сергея Александровича из дела – в конце концов, он что, должен был сидеть при этих самых будках и командовать раздачей гостинцев? Ограничились наказанием кое-каких второстепенных лиц; однако в народе единственным виновником по-прежнему виделся Вел. кн. Сергей, который с тех пор получил прозвище «Князя Ходынского». Так его честили и в нелегальных афишках, которые расклеивали по улицам. Полиция срывала их, но в следующую же ночь они появлялись снова.

Впрочем, для самого Николая инцидент казался исчерпанным. После коронации в Москве он планировал согласно традиции посвятить остаток года визитам главным европейским владыкам. Сопровождаемый супругой, он последовательно посетил императоров Франца-Иосифа и Вильгельма II, короля Дании и королеву Викторию. При всех этих дворах он чувствовал себя как дома, в атмосфере куртуазии, учтивости и достоинства. Оставалась Франция. Союзница России с 1893 года, она при всем при том жила – не тужила при республиканском правлении. Вполне естественно, Вильгельм искал путей отговорить Николая от визита к этим негодным французским демократишкам; но вдовствующая императрица наставляла сына – отказавшись от визита в Париж, он предал бы пламенные политические идеи своего батюшки. Министр иностранных дел России князь Лобанов-Ростовский, страстный поборник франко-русского союза, инструктировал его в том же духе. Несмотря на кончину этого выдающегося политика, случившуюся 30 августа 1886 года, программа визита во Францию была оставлена без изменений.

5 октября 1896 года яхта «Полярная звезда» с царственной четою на борту бросила якорь в порту Шербурга, где высоких гостей встретил сам Президент Республики Феликс Фор. Николай и Александра взяли с собою и дочурку Ольгу, которой не исполнилось еще и года. Царь был одет в униформу капитана судна, а царица – в дорожный костюм из бежевого драпа с кружевным воротником и капюшоном, убранным розовыми розами. После банкета и обмена приветственными речами гости и хозяева сели в литерный экспресс и уже во вторник 6 октября в десять утра высадились в Париже на специально и спешно выстроенном по такому случаю вокзале Буа-де-Булонь. Более

миллиона парижан вышли на улицы, чтобы видеть августейших особ, которых умелая пропаганда представляла как безусловных друзей Франции, готовых поддержать ее во всех ее амбициях. На тротуарах теснились возбужденные зеваки, толпясь вокруг мачт, на которых трепетали русские и французские флаги. Предприимчивые владельцы домов, расположенных по пути следования царского кортежа до самой рю Гренель, сдавали окна – желающие посмотреть из окошка на торжество выкладывали по десять луи.[44] Над толпою реяли плакаты: «Пять дней на французской земле – а в наших сердцах навсегда!» Кортеж продвигался вперед под аккомпанемент возгласов «Vive la Russie!» и «Vive la France!». Впереди ехали эскадроны республиканской гвардии, кирасиры и драгуны, за ними – алжирские егеря, спаги, [45] арабские вожди, облаченные в широкие белые бурнусы. Позади них катило украшенное цветами ландо с царской четой и президентом Республики, запряженное шестеркой лошадей, – на сей раз государь был одет в темно-зеленый мундир полковника Преображенского полка, а грудь его пересекала широкая красная лента ордена Почетного легиона. Императрица же была облачена в белое платье, оттененное вышитыми золотом клеверами, при боа из перьев и в шляпе из белого бархата с эгретом. Ну, а грудь Президента Республики пересекала голубая лента Св. Андрея Первозванного. По мере того, как кортеж приближался к площади Согласия, толпа, едва сдерживаемая шеренгами зуавов, тюркосов и линьяров,[46] становилась все более бурною и шумною. Приученные своим народом к покорным и дисциплинированным демонстрациям обожания, Николай и Александра были оглушены вышедшим из берегов энтузиазмом французов. По воспоминаниям французского посла в России Мориса Бомпара, Париж не видел таких зрелищных шествий со времени триумфального возвращения французской армии из Италии после победы при Сольферино.[47]«Когда ворота во двор российского посольства закрылись за царем и царицей, – писал Бомпар, – они испытали чувство облегчения, какое испытывает матрос, доплывший до тихой бухты после трепавшего его шторма».[48]

Последующие дни представляли собою сплошную череду пусть торжественных, но изнурительных испытаний для молодой августейшей четы. Сперва интимный франко-русский завтрак в посольстве на рю Гренель, затем – пышный обед, данный в посольстве в честь президента Франции. Потом – торжественный молебен в русской церкви на рю Дарю, прием и обед в Елисейском дворце, речи, взаимные поздравления, фейерверки, гала-представление в «Гранд-Опера», визит в собор Парижской Богоматери, Монетный двор, Севрскую мануфактуру, Hotel-de-

Ville,[49] старинную церковь Сент-Шапель, где августейшей чете показывали древнее славянское Евангелие Анны Ярославны – королевы Франции, в Пантеон, в Лувр, в Дом Инвалидов, где государь долго размышлял перед гробницей Наполеона; затем Николай торжественно заложил первый камень моста, названного именем его отца – Александра III. По этому случаю артист Муне-Сюлли прочел стихи Х.-М. Эредиа:

Très illustre empereur, fils d'Alexandre Trois!
La France, pour feter ta grande bienvenue!
Dans la langue des Dieux par ma voix te salue,
Car le poète seui peut tutoyer les rois!

Сын Александра Третьего, о славный государь!
Вся Франция тебя приветствовать спешит!
На языке божественном пусть голос мой звучит,
Ведь быть на «ты» с монархами – поэту чудный дар![50]

А вечером 7 октября в «Комеди Франсез» тот же Муне-Сюлли читал стихотворение Кларети, одна из строк которого вызвала вспышку энтузиазма публики:

К нам с севера теперь явилася надежда…

Сам государь соблаговолил аплодировать! Вспоминая прецедент, возникший в посещение Парижа Петром Великим в 1771 году, он выразил желание побывать на заседании Французской Академии. Там Франсуа Коппе прочел Его Величеству стихи собственного сочинения:

Votre chére présence est partout acclamée
Par l'importante voix du Peuple et de l'Armée.

Нашим сердцам дорогой ваш визит
Гласом народа и войска гремит!

Затем академики приступили к работе над словарем. Сегодня предметом их изысканий был глагол animer – «оживлять». «На заседании спорили, отпускали реплики, цитировали, возражали, перелистывали книги писателей, – заметил академик Альберт Сорель. – Краткие, легкие, часто ироничные фразы отлетали из уст академиков и рикошетировали – это была как бы

академическая игра ракетками».[51] Умея бегло говорить по-французски, царь с царицей все же не понимали всех тонкостей этой интеллектуальной игры, хотя делали вид, что она их заинтересовала. 8 октября монарх с супругой прибыли в Версаль. Прогулка в садах, феерия фонтанов, визит во дворец, банкет, представление средней руки комедии Мейлака и Галеви – и, конечно, новое стихотворное подношение знатным гостям. На этот раз были стихи Сюлли Прюдомма в исполнении Сары Бернар – тень Людовика XIV обращается к Версальской нимфе:

> Nymphe immortelle, écoute et viens à mon secours.
> Un couple impérial, espoir de nouveaux jours,
> Veut visiter ma gloire embaumée à Versailles.
>
> Нимфа бессмертная, услышь! Приди на помощь мне!
> Монаршая чета, надежда новых дней,
> Желает славу зреть мою, что царствует в Версале.

Решительно, Франция эпохи Феликса Фюра обожала поэзию. Николай был сражен хлынувшим на него потоком выспренней лирики. Кстати сказать, некоторые из проявлений почтительности к августейшей чете были отнесены глазами русских на счет республиканской неловкости. К примеру, когда императорская чета появилась в зале «Гранд-Опера», публика в едином порыве вскочила с мест и принялась бешено аплодировать; и тогда товарищ министра[52] иностранных дел Н.П. Шишкин, сопровождавший августейшую чету в поездке, обратился к Бомпару разгневанным тоном: «Что же, французы принимают нашего императора за заезжего фигляра (cabotin)?» И, недовольный, покинул зал.

Программа пребывания русской монаршей четы во Франции завершилась грандиозным военным парадом в Шалоне. Рассказывали, что Николай был очарован превосходною выправкой войск, дефилировавших мимо трибуны. Все присутствующие поразились тому, как изменился государь при виде войск. Его лицо, на котором обыкновенно бывало начертано выражение учтивого безразличия, внезапно оживилось. «Царь уже не был прежним, – заметил Жорж д'Эспарабэ. – Он разговаривает, он улыбается… Но императрица не вымолвила ни слова. Она как во сне. Небольшая морщинка пересекла ее ясное чело: она видела слишком много солдат, слишком много похожих друг на друга солдат и в течение слишком долгого времени, так что у нее был несколько усталый вид».[53]

На деле же Александра Федоровна дурно переносила эту

экзальтацию плебса. Французы внушали ей страх. Не в этом ли самом Париже в 1867 году прозвучал выстрел пистолета, нацеленный в Александра II, пожаловавшего с официальным визитом по приглашению Наполеона III? Терзаемая навязчивой идеей о покушении, она тряслась при каждом выходе и вздыхала с облегчением, только вернувшись к себе в апартаменты в российском посольстве. Однажды вечером ей почудились выстрелы под окнами – она вызвала полицию, и комиссар Рейно застал ее в ночном пеньюаре свернувшейся клубочком в кресле; глаза расширились от ужаса.

Со своей стороны Николай не выказывал никакого удовлетворения своим контактом с Францией и бредил любовью к России. Обладая размеренным характером, он сожалел по поводу напыщенности посвященных ему речей. Краткие переговоры с официальными представителями навевали ему только глубокую тоску. Провозглашая на все лады свою нерушимую верность франко-русскому союзу, он не чувствовал никакого сродства с этим непостоянным народом, столь непохожим на его собственный. Одно утешение – триумфальный визит в Париж подтвердил его международный престиж в глазах всех европейских держав. Кстати, ликование парижан день ото дня не уменьшалось – Большие бульвары были ярко иллюминированы, улица Руаяль убрана в драпировки из красного бархата, магазины соревновались, изощряясь в пышности декора витрин, на фронтон «Гранд-Опера» воспарил огромный двуглавый орел, весь из газовых рожков – о, как полыхал он над чернотою ночной площади, полной народу! Шансонье славословили «белого султана» и уже предвидели – разумеется, между строк – возвращение Франции отторгнутых у нее Эльзаса и Лотарингии. Винсент Испа также запустил свой куплет:

В Париж прикатили
(Зачем? Угадай!)
Царица Федора
И царь Николай.

«Журналь де деба» предложила назвать всех французских девочек, которые родятся в 1896 году, Ольгами – в честь крохотной Великой княжны, приехавшей в Париж с августейшими родителями. Иные предлагали выкупить несколько домов перед православной церковью на рю Дарго, чтобы разбить на их месте цветочный партер. Уличные торговцы продавали на тротуарах «памятные платки» из шелка с портретами царственной четы, «царицыны веера» и «русские носки» в качестве кошельков с

изображением императорского герба, «узлы альянса» в виде двух застывших в рукопожатии рук, так что друг от друга не оторвешь… Чем более множились подобные проявления дружбы, тем больше царь погружался в подозрительную мрачность. Нельзя же так перебарщивать! После разговора с царицей Бомпар заметит: в Париже императорская чета пребывала в постоянном напряжении, чувствовала себя неуютно и вывезла из французской столицы воспоминание об ощущении постоянной большой тревоги.

Когда в 1901 году царь с царицей вновь посетят Францию, они откажутся от размещения в Париже и устроятся в Компьене, чтобы избежать назойливой толпы, изматывающих празднеств и возможных покушений – такова была преследовавшая венценосцев идея фикс! А тогда, в 1896-м, им хотелось только одного: поскорее вернуться восвояси, одарив своих слишком услужливых хозяев последней учтивой улыбкой…

* * *

Вернувшись в Санкт-Петербург после европейского турне, Николай наконец-то почувствовал себя готовым к управлению страной твердою рукою. Покинув прелестный Аничков дворец и выпорхнув таким образом из-под мамашиного крылышка, он жительствовал теперь в Зимнем дворце – огромном сооружении на берегу Невы в стиле русского барокко, перегруженном украшениями и увенчанном множеством статуй, вознесшихся над железною крышей. Эта суровая резиденция помогала ему оставаться под впечатлением, что он продолжает великие деяния своих предков. В 1897 г. он принимает Франца-Иосифа, затем Вильгельма II, а в конце августа – президента Франции Феликса Фора, принимавшего участие в крупных празднествах в столице и Петергофе. По этому случаю царь впервые произнес слова «союзные нации», но уточнив при этом, что он желает придать политике решительно пацифистский характер. По его приглашению в Гааге с 18 мая по 29 июля 1899 года состоялась конференция 28 государств, объединенных искренним стремлением добиться в ближайшие пять лет ограничения вооруженных сил представленных на конференции держав. Поскольку Германия и Англия выказали свою неуверенность, конференция затопталась на месте и кончилось тем, что участники разъехались, надавав друг другу зыбких обещаний добрососедства. Но уже в августе того же года французский министр иностранных дел Делькассэ вступает в тайные

переговоры в Петербурге со своим российским коллегой Муравьевым и добивается укрепления франко-русского союза. В этом шаге выразилось желание Николая выполнять посмертную волю своего батюшки.

У молодого государя появился еще один повод для гордости – 10 июня 1897 года дражайшая Аликс разрешилась от бремени крепкой девочкой – Вел. княжной Татьяной. Ольга была без ума от радости, когда у нее появилась сестричка – она была для нее как живая кукла. Два года спустя, 26 июня 1899 года, на свет появилась третья Вел. княжна – Мария. Еще два года – и 18 июня первого года двадцатого столетия возвестила мир о своем рождении четвертая дочь Николая – Анастасия. И ни одного мальчишки! Искренне радуясь каждому прибавлению в августейшем семействе, Николай тем не менее беспокоился: ему нужен был наследник мужского пола. Но он не терял надежды: Александра молила Господа с таким усердием, что оно наверняка будет вознаграждено! Ну, а в ожидании четыре Вел. княжны были усладою семейства; несмотря на столь нежный возраст, каждая из них уже показывала свой характер. Красивые, жизнерадостные, от них веяло здоровьем. Ради них, ради жены, во имя памяти своего батюшки, который взирал с небес, Николай стремился сделать свое правление образцовым.

Продолжать линию, начертанную предшественником, он стремился в первую очередь во внутренней политике. Так, он сохранил на своих постах важнейших министров, трудившихся при Александре III. Среди них особым размахом выделялись два государственных мужа: Константин Победоносцев и министр финансов Сергей Витте. От Победоносцева Николай еще в самом нежном возрасте воспринял убеждение в божественной непогрешимости царя и необходимости нераздельной власти. Этот непреклонный, целостный и патриотичный до мозга костей персонаж отвергал любую уступку, которая могла бы ослабить монархию. Став свидетелем конвульсий, в которых корчилась Россия при претворении в жизнь реформ Александра II, он становился на дыбы, чуть кто заикался о попытках социальных новаций. Не будучи «в принципе» врагом свободы, он отказывался признавать право на нее за нацией, столь мало приспособленной к тому, чтобы понимать ее и с умом пользоваться. И Николай наивно следовал в его русле. «Победоносцев явился, как всегда, с добрыми советами и разными уведомлениями», – помечает он в своем дневнике. При этом он все же начинает чувствовать, что этот закоренелый старец, этот «Великий Инквизитор», как называли его многие, – человек минувшего века, с перекошенным в критике лицом и неспособный хоть одним глазом взглянуть в

будущее.

Тем не менее Россия нуждалась в эволюционном развитии – как в политическом, так и в экономическом плане. Мало-помалу Николай обернул свой взор к Витте, который, будучи верным слугою трона, держался вполне современного мышления. Рекомендацией этому персонажу в глазах юного царя служило то, что его открыл, вывел на большую дорогу и поддерживал обожаемый отец. В бюрократических кругах Санкт-Петербурга Витте почитался опасным и гениальным выскочкой. Сын скромного служащего немецких кровей, он имел возможность учиться только благодаря стипендии, а закончив учебу, поступил на работу в Управление Юго-Западных железных дорог, чтобы зарабатывать на жизнь. Замеченный начальством, затем Александром III, он был назначен последовательно директором Департамента железнодорожных дел, министром путей сообщения и, наконец, министром финансов. Выйдя из низов, он общался с самыми различными слоями и накопил глубокие знания о российской действительности. Как раз этих-то знаний часто не хватало его коллегам, вышедшим из привилегированных классов. Эти последние не могли простить ему ни быстрого восхождения, ни женитьбы на разведенной женщине еврейских кровей. Его суровое бородатое лицо, категоричный тон, вспыльчивость и горячность имели резонанс в высших правительственных сферах. Он не был ни ловким функционером, ни двуликим царедворцем, но практичным человеком, прочно стоящим на земле, в общем – человеком новой России.

«Витте… не подходил под шаблон ни „консерватора“, ни „либерала“. Он совмещал черты, которые редко встречаются вместе, и этим приводил своих врагов в недоумение: „Когда же он искренен и где он хитрит?“ **А оригинальность его была в том, что он совсем не хитрил.** (Выделено автором. – *С.Л.*) Его политический облик и место, которое он мог занять в нашей истории, не укладывалось в шаблонные представления… Он олицетворял собой то, что в обреченном на гибель, разрушающем себя Самодержавии еще оставалось здоровым и что могло спасти ему жизнь».[54]

Итак, пренебрегая догмой в пользу эффективности, Витте принялся вытаскивать страну из летаргии. Доверие, которое ему засвидетельствовал покойный государь, позволило ему получить от Николая определенную свободу маневра в финансовой и экономической сферах. Под предлогом борьбы со злоупотреблениями производителей и оптовых торговцев алкоголем он мало-помалу установил государственную монополию во всей стране, что принесло казне немалые доходы.

Витте также с успехом разместил на парижском рынке масштабный российский заём. К концу XIX века курс российского бумажного рубля сильно упал, и в январе 1897 года Витте объявил о девальвации – бумажный рубль приравнивался к 2/3 золотого, иначе говоря, за 15 бумажных давали 10 золотых рублей. Благодаря свободному размену бумажных рублей на золото национальная валюта стала конвертируемой – стабильный рубль привлек иностранные капиталы. Если в 1890 году их суммы приравнивались в 200 миллионам рублей, то в 1900 году – уже к 900 миллионам. Благодаря этим средствам в стране оживали производства и создавались новые. Немало предприятий были основаны французскими и бельгийскими обществами. Крупные текстильные производства вокруг Москвы, в Лодзи и Варшаве работали на полную мощь. Интенсивно эксплуатировались месторождения природных богатств на Украине, на Урале и на Кавказе. На юго-западе развивалась сахарная промышленность. Повышенные таможенные пошлины защищали русские товары от иностранной конкуренции. Витте принимал меры и к улучшению положения крестьянства, разрешив Государственному банку финансирование кредитных обществ. Чтобы пробудить у молодежи интерес к технике, во всех крупных городах стали открываться профессиональные училища. Одновременно росла сеть российских железных дорог, протяженность которых возросла с 1895 по 1905 год вдвое; сооружавшиеся частично на средства частных компаний, эти линии постепенно выкупались государством. Участки Транссибирской магистрали, начатой еще при покойном государе, вводились в строй один за другим; сложнее всего оказался Байкальский участок, проходивший по тайге и болотам; кроме всего прочего, на нем одном необходимо было пробить 33 туннеля. Но вот настал день – и Санкт-Петербург оказался напрямую связанным с Владивостоком стальною линией длиной в 8731 версту, прорезавшей Сибирь и северную Маньчжурию. Это гигантское свершение поманило на плодородные равнины Зауралья многочисленных переселенцев из губерний, где имелся избыток земледельческого населения. 12 июня 1900 года Николаем II была отменена ссылка в Сибирь – но не из гуманных соображений, а с целью избежания засорения этого обширного и богатого региона «дурными» элементами. Зато число свободных крестьян, желавших обосноваться на не паханных еще землях, постоянно росло. Росло и население страны в целом – предпринятая в январе 1897 г. по инициативе Витте первая Всероссийская перепись населения показала численность населения в 126 миллионов душ.

В этой огромной массе происходила быстрая эволюция

системы ценностей. Колоссальный взлет коммерции и индустрии набил мошну буржуазии и части дворянства. Зато крестьянство, оставленное на обочине этого водоворота капиталов, только разорялось. С другой стороны, создание новых заводов привело к росту в городах многочисленного и малооплачиваемого пролетариата. Первые симптомы забастовочного движения не заставили себя ждать. В конце XIX века забастовки были не только запрещены, но и объявлялись преступлением против общественного права. Но тем не менее они множились и ширились в такой степени, что 2 июня 1897 года, несмотря на протесты промышленников, правительство издает закон об ограничении рабочего времени – 11 ½ часов для взрослых мужчин (норма ниже российской была в то время только в Австрии и Швейцарии), с отдыхом в воскресные и праздничные дни; этот же закон предусматривал также значительное расширение кадров фабричной инспекции, но на случай нарушений со стороны фабрикантов никаких санкций не предусматривалось.

Но даже эти робкие новации, привнесенные С.Ю. Витте в отношения между предпринимателями и рабочими, расценивались иными умами не иначе как подстрекательство к беспорядкам – тем более что со своей стороны студенческая молодежь, державшаяся более или менее благоразумно в эпоху царствования Александра III, начала бурлить. В правительственном сообщении от 5 декабря 1896 года было указано, что в студенческой среде в Москве существует некий «союзный совет», объединяющий 45 землячеств, имеющих общей целью борьбу против самодержавного режима. Идеи этих бунтарей зыбкие и книжные, но их желание покончить со старым положением вещей таково, что они готовы использовать любой повод, чтобы восстать. Так, была пущена в ход идея демонстрации на Ваганьковском кладбище в полугодовой день ходынской катастрофы, 18 ноября. Было выпущено воззвание, призывающее к проведению панихиды по погибшим на Ходынке, чтобы выразить «протест против существующего порядка, допускающего возможность подобных печальных фактов». В этот день около полутысячи студентов двинулись на Ваганьково – их туда не пустили, и тогда они продефилировали по улицам города. Несмотря на то что несколько десятков студентов были арестованы, а несколько сот исключены (с правом поступления с начала будущего учебного года: 201 – в другой университет, 461 – в тот же), движения протеста возобновились в других университетах. В первых числах марта 1897 года произошли волнения петербургских студентов по поводу самоубийства юной

курсистки-народницы Марии Ветровой, содержавшейся в Петропавловской крепости по политическим мотивам и, по слухам, изнасилованной тюремщиками; смерть ее была мучительна – облившись керосином из лампы, она сожгла себя. У Казанского собора, где служили панихиду по погибшей с разрешения митрополита Палладия, – собралась толпа молодежи, которую тут же погнали в полицейскую часть. «Горючего материала у нас сколько угодно», – цинично скаламбурил на этот предмет А.С. Суворин.[55] Два года спустя все те же студенты объявили забастовку и отказались сдавать экзамены в знак протеста против полицейского надзора, под которым они состояли. «Молодость обнаруживает силу, – пишет все тот же Суворин. – … В Киеве анонимные письма к студентам и их женам, списки не желающих забастовки выставляются на дверях и расклеиваются во все уголки заведения, чтобы на них смотрели, как на прокаженных». И далее: «То, что я вижу и наблюдаю теперь, – это бессилие правительства против кучки нигилистов… Весьма возможно, что обостренная молодежь пойдет дальше и станет отказываться от воинской повинности… Истинно преданных самодержавию очень немного… Тут крутыми мерами ровно ничего не сделаешь».[56]

Однако в окружении Николая приверженцы дисциплины преуменьшали значение этих манифестаций. С их точки зрения, это были всего-навсего волнения толпы, подстрекаемой отдельными заблудшими умами, которую успокоит без помехи один дюжий городовой. Напоминая своему бывшему ученику о его отце – человеке властного, крутого нрава, – Победоносцев настаивал, чтобы тот проводил твердую политику в отношении этой взбалмошной молодежи. В 1897 году отдал Богу душу граф Иван Делянов, который, в течение 16 лет находясь на посту министра народного просвещения, проводил реакционные контрреформы; после него пришел Николай Боголепов, такой же реакционер и заскорузлый доктринер. При нем был усилен полицейский надзор в высших учебных заведениях и приняты правила об отдаче «крамольных» студентов в солдаты. Студенческие сходки рассеивались жандармами, вооруженными нагайками. Эти жестокости побудили молодежь поставить ему мат. И дело было сделано: 14 февраля 1901 года выгнанный когда-то сперва из Московского, затем из Юрьевского[57] университетов П.Е. Карпович, явившись в часы приема к министру с прошением о приеме его в Юрьевский университет, всадил в него пулю из револьвера. Несчастный с простреленной шеей еще боролся со смертью, а уже 19 февраля – в 40-ю годовщину отмены крепостного права – перед Казанским собором

развернулась студенческая манифестация, двинувшаяся по Невскому с пением революционных песен. Но наиболее серьезный характер возымела демонстрация 4 марта,[58] опять-таки перед Казанским собором, – здесь на разгон многотысячной толпы были брошены конные казаки. Толпа стала швырять в конные отряды всевозможные предметы; были ранены десятки людей и с той и с другой стороны, полицией задержано 760 человек. Писатели опубликовали пламенный протест, призывая на помощь российское и иностранное общественное мнение; в числе подписавшихся был и Максим Горький.

Видя, как ширится студенческое движение, император Николай поручает подавление бунтующих студентов и поддерживающих их интеллектуалов уже не министру народного просвещения, а министру внутренних дел. Государю хотелось, чтобы на этом посту находился человек суровый и одновременно просвещенный, преданный монархическим принципам, но способный польстить либеральным мечтателям. Словом, сплав Победоносцева и Витте. В 1900 году царь назначил на этот пост Дмитрия Сипягина, преданного престолу и не лишенного природного шарма; уж он-то справится с замирением умов! Но 2 апреля 1902 г. Сипягин был убит студентом-эсером Степаном Балмашевым, который проник в Мариинский дворец, где шло заседание Государственного совета, в адъютантской форме. «Я верой и правдой служил Государю Императору, я никому не желал зла», – успел произнести перед смертью министр. «Сегодня убит Д.С. Сипягин, – записал в своем дневнике Суворин. – Покойный не был умен и не знал, что делать. Его поставили на трудный пост и во время чрезвычайно трудное, когда и сильному уму трудно найти путь в самодержавном государстве».[59] Два дня спустя Николай назначил на его место В.К. Плеве, – по мнению генерала Куропаткина, в то время военного министра, это был «великий человек для пустяковых дел, и глупый – для дел государственных». Что же касается убийцы Сипягина, то расследование показало, что это не был террорист-одиночка, а за ним стояла боевая революционная организация, раскрыть структуру которой он отказался. Николай осознал, что пред ним стояла не зеленая университетская молодежь, которая перебесится да облагоразумится, а тайная, разветвленная, эффективная военная машина, сравнимая с той, которая лишила жизни его деда – царя-освободителя Александра II.

Глава четвертая
Императорская чета

Примерно за шесть лет царствования Николай II приобрел уверенность и растерял симпатии. Все, кто сближался с ним, с беспокойством всматривались в его ласковое правильное лицо и синие меланхолические глаза, чтобы попытаться проникнуть в странную личность монарха. Он очаровывал и одновременно беспокоил. Его характер казался ускользающим, как вода, текущая меж пальцев, когда пытаешься удержать ее в горсти. Каждая черта его характера находила в нем свою противоположность, в любом случае его элегантность, его учтивость и сдержанность в поведении с похвалою отмечали все те, кто порицал те или иные аспекты его политики. В своих воспоминаниях Витте характеризовал его как «хорошего и весьма *воспитанного* (разрядка в оригинале. – *Прим. пер.*) молодого человека».[60] Более подробно высказывается об этом германский канцлер фон Бюлов: «Все в нем – сама благовоспитанность. Его манеры – само совершенство. В любом салоне Лондона, Вены, Парижа, Сент-Морица или Биаррица в нем видели достойного молодого человека, каким полагалось бы быть, например, австрийскому графу или сыну английского герцога». Но за этой вполне британской манерой поведения скрывалась большая робость. Близкие Николая знают, что когда он поглаживал правою рукою усы, то это означало, что он чувствует стесненность в присутствии собеседника. По наблюдению Витте, характер у государя был в своей сущности женским – «кем-то было сделано замечание, что только по игре природы незадолго до рождения он был снабжен атрибутами, отличающими мужчину от женщины».[61]

С самого детства Николай восхищался живостью и словоохотливостью своего брата Георгия и желал ему подражать. Но это было невозможно: что бы он ни делал, он чувствовал себя связанным, натянутым, ему недоставало характера. Как жаль, что с ним рядом не было Георгия, который был бы ему правою рукою! Названный царевичем в 1894 году, он вынужден был прервать свою карьеру морского офицера и скончался от чахотки в 1899 году, 28-ми лет. Николай тяжело переживал этот страшный удар.

Впрочем, по словам близких ему людей, нельзя было сказать, что у нового императора одни лишь только недостатки. Его любезность, сочетающаяся с застенчивостью и отстраненностью, нисколько не мешала ему выказывать в своей работе

интеллектуальные способности выше средних. По мнению того же Бюлова, в большой компании император и в самом деле чувствовал себя несколько скованным; но в более узком кругу и в особенности тет-а-тет он разговаривал ясно, легко и с умом. Со своей стороны немецкий посол, барон фон Шён, подчеркивает в своих мемуарах: «Я всегда находил, что он, даже оказываясь в необходимости действовать без подготовки, был вполне в курсе дел и готов был обсуждать их до дна, честно, на прочной основе политической науки… Он также обладал даром очень быстрого понимания и меткой реплики». Еще более категоричен Извольский, рассказывая о своих отношениях с царем: «Действительно ли Николай II был одаренным и умным? Не колеблясь, отвечаю на это утвердительно. Он всегда поражал меня легкостью, с которой охватывал любые нюансы спора, которые развивались перед ним, и ясностью, с которой он принимался выражать свои собственные идеи; я всегда находил его способным к рассуждению или логической демонстрации».

Но при всей той инстинктивной способности к мышлению, которая позволяла ему быстро воспринимать наиболее трудные отчеты и доклады, нехватка общей культуры вставала со всею очевидностью в его собственных отчетах, где требовалось высокое мышление. Неполные и разрозненные знания не сделали его готовым к овладению проблемами. Он мог видеть элементы и знал, как оперировать синтезом. Его внимание к мелочам, привязанность к деталям мешали ему охватывать широкий горизонт. Оттого он часто бывал не способен предвидеть последствия своих действий. По словам Витте, император страдал странной моральной близорукостью – не чувствовал страха, пока гроза не подступала вплотную. Но вот непосредственная угроза миновала, и страх проходил. Кроме того, у Николая было множество предрассудков, которые, отнюдь не растушевываясь при осуществлении им власти, превращались в идею фикс. Воспоминания об отце были для него не только предметом нежной почтительности, но и моделью бескомпромиссной самодержавной власти. Всякая новация казалась ему святотатством. При всем том он пылко любил свой народ, желал процветания последнему из мужиков, мечтал о мирном и светлом будущем для России. Эта схватка между обязанностью хранить в неприкосновенности авторитет, завещанный предками, и желанием улучшить участь как можно большего числа своих подданных превращалась для него в пытку. Он обладал более чем благородным ощущением своей роли и высоким осознанием своего долга, но его воля колебалась между жаждой править и жаждой быть любимым, отсюда его непримиримость ко всем

бунтовщикам, для которых он не находил никаких смягчающих обстоятельств, и, с другой стороны, забота в отношении раненных на Ходынском поле, которых он навещал в больницах.

Впрочем, если честно сказать, эта заботливость была не более чем фасадом. Сфера его любви замыкалась в семейном кругу. Крайне чувствительный ко всему, что касалось его супруги и детей, он оставался безразличным к заботам других. Он любил Россию, но – издалека, как некую абстракцию, ну, а «конкретное» – это его маленький внутренний мир, это его дорогая Аликс и четыре девочки, которых она подарила ему за шесть лет супружеской жизни. Недуги, которыми страдала его супруга, в его глазах были существеннее, нежели болезненные невзгоды России. Чаепитие с супругой было для него важнее, чем прием министра. При том, что в стране происходили тяжкие события: забастовки, студенческие волнения, убийства крупных чиновников, – он охотнее фиксирует в своем дневнике такие вещи, как погода, прогулки на велосипеде и на лодке, томные разговоры тет-а-тет со своею несравненною Аликс. По всей видимости, этот «частный» по своему вкусу и темпераменту человек страдал от необходимости быть также и «публичным» человеком. Ему приходилось прилагать усилия, чтобы вытащить себя из уютного, мирного семейного очага и облачиться в тяжелый мундир государственных обязанностей. Его истинная жизнь протекала под домашним абажуром, у подола жены, а вовсе не за кабинетным рабочим столом лицом к лицу с министрами, которые наставительно вводят его в курс дел империи. Как только он покидал свой уютненький мирок, он казался пассивным, рассеянным и отделенным от других людей и происходящего некоей зоной холода. Что б ни случилось, он никогда не повышал голоса и никогда не гневался. Но отчего – по причине ли исключительной способности владеть своими импульсами или по причине полного отсутствия нервов? В своих «Воспоминаниях» Матильда Кшесинская утверждает следующее: «Одной из поразительных черт его характера было умение владеть собою и скрывать свои внутренние переживания. В самые драматические моменты жизни внешнее спокойствие не покидало его».[62] Но с точки зрения большей части лиц, к нему приближенных, эта высокомерная невозмутимость объяснялась не столько волею императора, сколько бессознательным проявлением. Посол Великобритании сэр Баченэн так отметил в своих мемуарах: «Обладая дарами, которые отлично подошли бы конституционному монарху, – живостью мысли, образованностью ума, усидчивостью и методичностью в работе, не говоря уже о необыкновенном личном шарме, – император Николай не

унаследовал у своего отца твердого характера и способности к быстрому принятию решения, столь существенных для монарха самодержавного». В том же духе высказывается и барон фон Шён: «Ему недоставало уверенности в себе, в нем была некая скромность, которая заставляла его колебаться и запаздывать с принятием решений… Чаще всего он чувствовал на себе превосходство того, кому случалось разговаривать с ним последним по счету (de lui parler en dernier)». Ему вторит Витте – мягкость характера и темперамента Николая II и была «одною из причин многих неблагоприятных явлений, скажу даже больше, бедствий царствования императора…»[63] И далее: «Основные его качества – любезность, когда он этого хотел… хитрость и полная бесхарактерность и безвольность». Ну, и в унисон с вышеназванными свидетелями – Матильда Кшесинская: «Для меня было ясно, что у Наследника (Николая) не было чего-то, что нужно, чтобы царствовать. Нельзя сказать, что он был бесхарактерен. Нет, у него был характер, но не было чего-то, чтобы заставить других подчиниться своей воле. Первый его импульс был почти что всегда правильным, но он не умел настаивать на своем и очень часто уступал. Я не раз ему говорила, что он не сделан ни для царствования, ни для той роли, которую волею судеб он должен будет играть».[64] Еще категоричнее высказался П.А. Черевин: «Он был как мягкая тряпка, которую невозможно было даже выстирать».[65]

Естественно, что отношения Николая со своими министрами носили отпечаток его непостоянного, зыбкого характера. Впитав в себя патерналистскую теорию, что все на Руси должно исходить от царя и завершаться царем, он являл собою уникальную смесь династической гордости и юношеской робости. Выбрав министра, он начинал с того, что радовался общностью его взглядов со своими. Но стоило министру хоть чуть попытаться утвердить свою личность, как государь обдавал его холодным ушатом недоверия. Между царем и слугою государевым, если тот, не дай Бог, имел свою программу, идеи, компетенцию, день ото дня росла пропасть отчуждения. По обыкновению, царь терялся в деталях, пренебрегая оценками целостного. Раздраженный этим вдаванием в мелочи, министр напрасно пытался добиться от царя твердого ответа на вопрос, и кончалось тем, что он принимался действовать на свой манер, незамедлительно вызывая этим недовольство Его Величества. Не давая никак проявиться своему гневу, Николай мало-помалу отдалялся от высокого сановника и потихоньку подумывал о его замене. Вот как анализирует поведение императора лицом к лицу со своими советниками начальник канцелярии Министерства Императорского двора

генерал А.А. Мосолов: «Царь схватывал на лету суть доклада, понимал, иногда с полуслова, нарочито недосказанное, оценивал все оттенки изложения… Он никогда не оспаривал утверждений своего собеседника; никогда не занимал определенной позиции, достаточно решительной, чтобы сломить сопротивление министра, подчинить его своим желаниям и сохранить на посту, где он освоился и успел себя проявить… Министр, увлеченный правильностью своих доводов и не получив от царя твердого отпора, предполагал, что Его Величество не настаивает на своих мыслях. Царь же убеждался, что министр будет проводить в жизнь свои начинания, несмотря на его, императора, несогласие. Министр уезжал, очарованный, что мог убедить государя в своей точке зрения. В этом и таилась ошибка… Где министр видел слабость, скрывалась сдержанность. По недостатку гражданского мужества царю претило принимать окончательные решения в присутствии заинтересованного лица. Но участь министра была уже решена, только письменное ее исполнение откладывалось». [66]

Коль скоро Николай, по природе своей и по воспитанию, как огня страшился дискуссий, обсуждений с пеною у рта, он никогда не противоречил тому, кто пытался его убеждать. Напротив, он преисполнялся рассудка, чтобы обезоружить оппонента своею учтивостью. Часто случалось так, что он горячее всего одобрял того из своих сановников, кого как раз хотел бы отдалить от себя. Все тот же С.Ю. Витте, знакомый с государевыми нравами отнюдь не понаслышке, называет вещи своими именами: царь, будучи неспособным вести честную игру, постоянно ищет окольных путей и строит козни. Что руководит им при принятии решений, так это мистическая вера в непогрешимость государя, традиционно вдохновляемого Богом. Пока министры разворачивали в его присутствии логические аргументы, приводили цифры, вели подсчеты бюджета, приводили в пример другие европейские нации, государь, раздраженный этой низменной кухней, чувствовал себя совершенно подвластным иррациональным движениям своей души. Он хранил веру в свою судьбу и будущее России, которую считал страной совершенно особой, не сравнимой с соседними государствами и удостоенной особого внимании Всевышнего. Рассудительной диалектике своих советников он противопоставлял священную интуицию. Не имея возможности опровергать их демонстрации, он предпочитал жертвовать теми, кто чересчур упорствовал в стремлении убедить его. Но, будучи слишком робким и слишком уж благовоспитанным, чтобы вступать с ними в честное объяснение с поднятым забралом, лицом к лицу, он попросту направлял им без

предварительного уведомления письмо за высочайшею подписью, уведомляющее адресата об отставке. И министр, который вечером возвращался к себе домой, будучи уверенным, что нашел с Его Величеством общий язык, назавтра же утром узнавал, что впал в опалу. Очевидец этих экзекуций, подкрадывающихся тихой сапой то к одному, то к другому сановнику, Витте мечет молнии и громы: «Это вероломство, эта немая ложь, неспособность сказать „да“ или „нет“, выполнить то, что решено, боязливый оптимизм, используемый как средство, чтобы набраться мужества, – все это черты, крайне негативные во владыках».

В действительности же, устраивая эту чехарду сановников, Николай проводил политику, в которой главенствовали простые и сильные принципы: царь неприкосновенен, русская армия непобедима, православная вера – единственное, что может цементировать союз народа вокруг престола. В этих условиях главною опасностью для России представлялся бунт кучки интеллектуалов, которым дурное чтение затмило сознание. В мыслях Николая память о его дедушке Александре II, разорванном бомбой террориста, не допускала ни малейших уступок новаторам. Он пуще огня страшился уличных беспорядков, ибо видел за ними подрыв устоев, из которых вытекали республика, конституционный режим, выборы, активизация левых сил и тому подобное. Оттого-то он так опасался шушуканья и зубоскальства со стороны intelligentsia[67] – уже само это модное словечко вызывало в нем раздражение. «Как ненавижу я это слово! – говорил государь Витте. – Я заставлю Академию выбросить его вон из русского словаря!»[68] Даже ссылки министра на «общественное мнение» приводили его в ярость. «Для чего беспокоить меня „общественным мнением“?» – неоднократно повторял он.

Бóльшая часть его приближенных поддерживали в нем мысль, что помазаннику Божию незачем советоваться со своими подданными, чтобы узнать, что им лучше всего подходит. Как-то раз Вел. кн. Николай Николаевич задал Витте вопрос, считает ли он государя человеком или чем-то иным.

«Я ответил: „… Хотя он самодержавный государь, Богом или природою нам данный, но все-таки человек со всеми людям свойственными особенностями“. На это Великий князь мне ответил: „Видите ли, а я не считаю государя человеком, он не человек и не Бог, а нечто среднее…“»[69] Эту ультрамонархическую теорию развивал в своей крайне реакционной газете «Гражданин» новый наперсник Николая – князь Владимир Мещерский. Этот вельможа сомнительной нравственности, окруженный женственными молодыми людьми,

покорил Николая своею верностью короне. По собственному признанию государя, уже сами разговоры с этим прихлебателем просвещали и утешали его. «Само ваше появление, – писал он Мещерскому, – разом воскресило и укрепило во мне заветы (т. е. идеи, воспринятые от отца. – *Прим. авт.*). Я почувствовал, что вырос в собственных глазах… Удивительным инстинктом вам удалось проникнуть в мою душу». Не обладая какой-либо определенной должностью при дворе, Мещерский оказывал влияние на решения императора, совал свой нос в редактирование официальных актов, высказывал свое мнение по поводу выбора министров. Но не ему суждено было стать источником самых глубоких, самых потаенных вдохновений государя. Его истинною тайною советчицей стала его благоверная, Александра Федоровна, несравненная Аликс, всегда готовая утешать его, советовать, помогать. У него была слепая вера в нее. Их взаимная любовь с годами только возрастала. С момента, когда он воссоединялся с нею в интимном семейном кругу, он чувствовал себя в тихой бухте, он расслаблялся, дышал свободно, как если бы с ним не могло произойти ничего тяжкого, пока он у нее под крылом.

Да и царица испытывала истинное счастье только подле мужа и детей. Она еще больше, чем царь, испытывала отвращение к свету. Если во время приемов при дворе Николай умел очаровывать приглашенных своею простотой обхождения и легковесными разговорами, то страстная, неподатливая Александра чувствовала себя как на иголках в обществе, на которое смотрела косо. «Я не чувствую искренности ни в ком из тех, кто окружает моего супруга, – писала она своей подруге юных лет, фрейлине прусской княгини, графине Ранцау. – Никто не исполняет своего долга ради долга, а только ради личной корысти, ради возможности сделать карьеру. Страдаю и плачу целыми днями, чувствуя, что все извлекают выгоду из молодости и неопытности моего супруга». (Переведено с французского. – *С.Л.*)

Выходя замуж за Николая, она хотела взять за себя всю Россию, сделаться более русскою, чем сам государь. Но, несмотря на свои усилия, она оставалась маленькой чужеземной принцессой, немкой по крови, англичанкой по образованию. Поздно выучив язык страны, которая стала ее второй родиной, она говорила по-русски с сильным акцентом и обращалась на этом языке только к священникам и к прислуге, но никогда не использовала в кругу близких. В то время, как Николай предпочитал общаться с детьми, матерью, министрами по-русски, она предпочитала общаться в семейном кругу по-английски, по-

немецки, реже по-французски. Это не мешало ей иметь безапелляционные суждения о прошлом и будущем России. Не имея ни малейшего представления о национальных нравах, народной ментальности, течениях в мышлении, характерных для интеллектуальной среды, она сочинила для собственного личного удовольствия некую фольклорную Россию – колоритную, полную добрых чувств, с мужиками, наяривающими на балалайках, несущимися по снежной пороше тройками и толпами, простертыми ниц перед святыми образами. Слабо подготовленная для строгого этикета императорского двора, она бросила вызов своей стихийности, предпочитая сдержанность. Простая в интимной обстановке, она напускала на себя чопорность. Те же, кто находился вокруг нее, принимали за чопорность то, что было всего лишь стеснением и смущением. Ее натянутость, искусственность в отношениях с другими обескураживала даже тех, кто желал ей наилучшего. «У нее никогда ни для кого не было любезного слова, – вспоминала графиня Клейнмихель. – Это была ледяная статуя, которая распространяла вокруг себя холод». Ей вторит известная нам генеральша Богданович: «Царица становится все менее популярной. Она делается всем ненавистной». Сознавая это всеобщее озлобление и неспособная выглядеть любезной по отношению к людям, которых она презирала, Александра была уязвлена этим непониманием тем более, что симпатия окружающих к ее свекрови, Марии Федоровне, только постоянно возрастала. Именно она, вдова Александра III, приглашала ко двору фрейлин, дам, ведающих нарядами императриц и Великих княжон; она же заправляла Красным Крестом, учебными и благотворительными организациями, носившими ее имя; ее повсюду почитали, ей льстили. Ее поддержки искали, чтобы пробиться в свете.

Остракизм, который развивался вокруг Александры, казалось бы, мог погасить в ней интерес к публичным делам. Ан нет! Как это ни странно, чем больше она чувствовала себя отстраняемой двором и Петербургом в целом, тем больше ей хотелось утвердиться в решающих ролях. По ее настоятельным просьбам царь сместил начальника дворцовой охраны генерала П.А. Черевина, который не нравился ей за привычку говорить, не стесняясь в выражениях, и прикладываться к бутылке. Точно так же она добилась отставки министра двора, графа И.И. Воронцова-Дашкова, повинного в том, что обращался к царю недопустимо фамильярным тоном. Она желала быть в курсе намерений своего супруга как в отношении снятия и назначения высоких сановников, так и эволюции российской политики во всех областях. Когда зимою 1900 года царю случилось тяжело

захворать, она стала открыто вмешиваться в государственные дела, – по свидетельству Ея Превосходительства А.Ф. Богданович, во время болезни супруга царица каждую неделю принимала министра иностранных дел графа В.Н. Ламздорфа с докладом о внешней политике. «Витте она всего раз вызывала к себе. Другие министры у нее не были».[70] Ну, а посол Великобритании в Санкт-Петербурге сэр Джордж Баченэн записал в своих мемуарах следующее: «Будучи по натуре робкой и сдержанной, даром что родилась с душою аристократки, она не сумела завоевать привязанность своих подданных. С самого начала не имея представлений о ситуации, она побуждала своего супруга вести государственный корабль по руслу, усеянному подводными камнями… Эта честная женщина, страстно желавшая служить интересам своего супруга, окажется, таким образом, орудием его потери. Робкий и нерешительный, император был обречен попасть под влияние воли более сильной, нежели его собственная».

По правде сказать, человеку с нерешительным характером трудно любить женщину всею плотью, всей душой и при этом сопротивляться ее увещеваниям. Именно Александра задавала тон в императорской чете. Она была в центре домашнего очага. Нежная супруга и добродетельная мать, она при всем при том страдала оттого, что до сих пор не могла произвести на свет мальчика – наследника престола, которого ожидал весь народ. Но она с образцовым прилежанием занималась своими четырьмя дочерьми, следя за их образованием, за их моральным обликом. Сама же она – эталон абсолютной правдивости. Ненавидя болтовню великосветских гостиных, она сообщала каждому своему слову груз правды. Кстати, общим с Николаем у нее был вкус к простоте, имея в виду экономию в ведении хозяйства. Разодетая, как то и полагается принцессе, во время официальных приемов, она одевалась в интимном кругу куда скромнее. Капризы моды выглядели в ее глазах мишурою, недостойной ее положения. Зато она превосходно музицировала, охотно пела своим прелестным контральто, писала милые акварели и любила посидеть за чтением у огня. Особое, и притом все большее и большее, место в ее жизни занимала молитва. Когда-то наотрез отказавшись принять новую религию, она теперь погрузилась в православие с пылкостью и рвением, каких только и следовало ожидать от новообращенной. Но точно так же, как та Россия, которой она была предана, имела мало общего с истинной Россией, так и православная религия, к которой она теперь питала страсть, не была истинным православием. В русской вере ее привлекали не догмы, а обряды. Ее чувства завораживали по-

византийски пышный декор храмов, небесное пение певчих, облачение священников в роскошно расшитые ризы, густой запах ладана. Ее мистицизм был окрашен суевериями. Она блуждала в мире молитв, предчувствий и знаков, которые уводили ее от реального мира. Ей наносили визиты почтенные богословы, молчаливые монахи, ясновидящие странники, и она внимала им с девичьим пиететом. Она окружала себя старинными иконами, каждая из которых, по поверью, слыла чудотворной. «Странная особа Александра Федоровна, – отметил Витте в своем дневнике. – … С ее тупым, эгоистическим характером и узким мировоззрением, в чаду всей роскоши русского двора, довольно естественно, что она впала всеми фибрами своего „я“ в то, что я называю православным язычеством, т. е. поклонение формам без сознания духа… При такой психологии царице, окруженной низкопоклонными лакеями и интриганами, легко впасть во всякие заблуждения. На этой почве появилась своего рода мистика… гадания, кликуши, „истинно русские люди“. И добавляет: „Может быть, она была бы хорошею советчицею какого-либо супруга – немецкого князька, но является пагубнейшею советчицею самодержавного владыки Российской империи. Наконец, она приносит несчастье себе, ему и всей России… Подумаешь, от чего зависят империя и жизни десятков, если не сотен миллионов существ, называемых людьми… Конечно, и императрица Александра Федоровна, и бедный государь, и мы все… а главное, Россия были бы гораздо счастливее, если бы принцесса Аликс сделалась в свое время какой-нибудь немецкой княгиней или графиней…“»[71]

Не побуждая Александру к этому безграничному благочестию, Николай, однако же, не помышлял о том, чтобы сдерживать ее порывы. Если уж она находит утешение в этом усердии в молитвах и мистике, зачем же он станет просить ее быть сдержаннее? Сам же венценосец, сколь бы глубоко верующим он ни был, не давал втянуть себя в эти приступы благочестия. Оставаясь рядом с тою, которая бредит в горячке, он все же умеет сохранять голову холодной.

Тем не менее в этой политико-религиозной доктрине был один пункт, на котором взгляды двух супругов сходились, – это о взаимоотношениях Бога с российской монархией. Еще более принципиальная, чем Николай, Александра была убеждена, что Россия и самодержавие сливаются воедино так же, как вода и вино, смешанные в кубке. Их нельзя отделить друг от друга, не причинив стране ущерба. В противоположность некоторым другим европейским государствам, где монаршая власть ограничена общественным мнением, как то зафиксировано

конституциями, Россия ни за что не согласится даже на самые робкие ограничения императорской власти. Глядя на Николая, Александра думала о Петре Великом, Иване Грозном и сожалела, что ее очаровательный муженек не обладает их сокрушительной волей. Она оставалась свято убежденной в том, что даже если на нее смотрят косо, при дворе ее недолюбливают, то уж народ-то ее обожает, не служат ли доказательством тому огромные толпы, которые собираются для приветствия в тех редких случаях, когда она с царем показывается на улице? В ответ на письмо своей бабушки, королевы Виктории, которая призывала ее быть уравновешеннее в своей монархической вере, она писала: «Россия не Англия. Здесь не нужно прикладывать усилия к тому, чтобы завоевать народную любовь. Русский народ чтит царей как богов, как источник всех благ и всех милостей. Что же касается санкт-петербургского общества, то этот контингент не достоин ничего, кроме полного пренебрежения. Мнение составляющих его людей не представляет никакой важности, равно как и россказни, которые составляют часть их натуры».

В упрек этому «санкт-петербургскому обществу» закоренелая пуританка Александра ставила тщеславную пышность балов и празднеств и упадок нравов. Один только вид разведенной женщины вызывал в ней отвращение. Когда при ней заговаривали об адюльтере, она мгновенно пунцовела и переводила разговор на другую тему. Даже родичам любезного супруга и тем доставалось от нее за «беспутное» поведение. Она ни за что не могла простить морганатического брака дядюшке царя, Вел. кн. Павлу Александровичу, отбившему у гвардейского офицера Пистолькорса красавицу-жену – Ольгу Валерьяновну. Новой чете пришлось, бросив все, отбыть во Францию… Окончательное примирение между царем и его нераскаянным дядюшкой наступило только в годы Первой мировой войны – тогда Ольга Валерьяновна, получив титул княгини Палей, снова стала персона грата во дворце. Еще более громкий скандал сопровождал морганатический брак Вел. кн. Кирилла Владимировича, тайно обвенчавшегося со своей кузиной – Викторией-Мелитой. Дело было не только в близком родстве и в том, что новобрачная была разведенной женщиной, как тогда выражались, «разводкой», – Кирилл нарушил закон, женившись без разрешения государя… За это Кирилл был лишен звания флигель-адъютанта, изгнан из России и лишь через два года прощен и восстановлен на службе, а жена его получила титул Вел. кн. Виктории Федоровны. Не доставил удовольствия царице (и всей семье Романовых) и брак родного брата государя Михаила Александровича, взявшего в жены дочь присяжного поверенного С.А. Шереметьевского –

Наталью… В каждом таком случае царица требовала от супруга строгих санкций против тех Великих князей, которые своими неподобающими брачными союзами не только умаляли свой высокий ранг, но и подавали дурной пример другим членам Императорского дома… Вот и Михаилу пришлось покинуть пределы России, и сердечные отношения между ним и братом-государем восстановились только в годы мировой войны.

Кстати, она никого не любила в этой чванной и суетливой императорской семье, которая к началу века перевалила за 50 персон. В их присутствии она постоянно находилась под впечатлением, что ею пренебрегают, не оказывают ей должного внимания и вообще оценивают взглядом снобов… К тому же она была убеждена, что эта праздная и злонамеренная публика распускает слухи на ее счет. Ей бы хотелось, чтобы ее муж вышел из-под влияния своих дядьёв и кузенов. Но Николай был прочно опутан родственной сетью, в которой обретал свои детские привязанности и увлечения.

Содержание этой золотой касты влетало российской казне в весомую копеечку. Казна выплачивала Великим князьям (сыновьям и внукам императоров) ежегодное денежное довольствие в 280 тыс. рублей (свыше 600 тыс. золотых франков) – но даже эту фантастическую сумму получатели считали недостаточной! Князья императорской крови (правнуки императора) довольствовались разовым пособием в миллион рублей (деньгами или имениями). Такую же сумму получали Вел. княжны по случаю замужества. Все Великие князья награждались при рождении орденами Андрея Первозванного, Александра Невского, Белого Орла, первыми степенями Анны и Станислава. Все члены династии пользовались неприкосновенностью со стороны судебных органов при разборе гражданских или криминальных дел – споры, в которых они были замешаны, передавались на рассмотрение лично царю при посредничестве Министерства двора и всегда решались, защищая их интересы наилучшим образом.

Но не только эти колоссальные денежные довольствия выплачивались за счет казны. Царь из своих личных средств содержал дворцы в Петербурге, Москве, Царском Селе, Петергофе, Гатчине, Ливадии – здесь было занято около 15 000 человек! Огромных средств требовали императорские яхты и поезда. Добавим к сему три Императорских театра в Санкт-Петербурге и два – в Москве, Императорскую Академию художеств и балетную труппу со 153 танцовщицами и 63 танцовщиками. Плюс ко всему расходы на подарки, которые Николай должен был подносить, как велела традиция, самым

верным слугам трона по случаю праздников.

Среди тех, кто составлял самую надежную опору трону, на первом плане были опять-таки Великие князья. Императорская благосклонность бережно протежировала их карьеру. Еще с рождения за ними резервировались важнейшие должности в армии и флоте, и, таким образом, к их денежным довольствиям прибавлялись солидные жалованья. Деньги эти Великие князья бесшабашно транжирили как в России, так и за границей. Эти звезды космополитической аристократии сияли на небосклонах всех европейских столиц, но предпочтение, конечно же, отдавалось французской. Франция вообще пользовалась у этой публики особым расположением. Вел. кн. Алексей Александрович, генерал-адмирал, главный начальник флота и морского ведомства, был личностью известною в Париже так же, как в Санкт-Петербурге. Каждый год он наведывался в Биарриц, где у него была превосходная вилла. Вел. кн. Владимир Александрович, главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, получил в Париже прозвище «Гран-дюк бонвиван». Не меньший парижанин, чем его брат, он был завсегдатаем многих аристократических клубов. Вел. кн. Константин Константинович, небесталанный поэт, переводчик Шекспира, президент Академии наук, был, по свидетельству современников, еще и «пылким франкофилом и безупречным джентльменом». Были и другие Великие князья, влекомые блеском Парижа, – они приезжали туда на целые сезоны вести роскошную жизнь, протекавшую среди светских приемов, театральных премьер, представлений в кабаре, ресторанов и скачек. Именно благодаря им в Париже родилось выражение «турне великих князей» – специально организуемые экскурсии по злачным местам и притонам, где в роли клошаров, апашей и других представителей парижского «дна» выступали, разумеется, специально нанятые актеры. Императрица Александра, у которой от вояжей во Францию остались дурные воспоминания, не могла понять, откуда у родни ее супруга такое пристрастие к республиканской и упадочнической нации.

Все эти вельможи, гордившиеся своими прерогативами, были, в общем и целом, неплохими малыми, но они считали себя стоящими выше законов, управляющих простыми смертными. Ища путей обогащения (жалованья и довольствия им казалось мало!), они нередко пускались в сомнительные предприятия. Впрочем, их темные махинации окружались политической тайной, и широкую публику о них не спешили информировать. «Плющик-Плющевский (юрисконсульт Министерства внутренних дел) рассказывал, что будто Великий князь Сергей Александрович

взял 2 миллиона взятки за отсрочку по его ходатайству винной монополии в Москве, что у Витте будто на это имеются несомненные данные и что государь об этом знает… Теми или другими способами Великие князья всегда брали взятки и старались наживаться всякими способами».[72] Говорили, будто Петр Николаевич получил пять миллионов за основание общества «Феникс», а Вел. кн. Сергей Михайлович был финансово заинтересован в размещении Россией заказов на заводах Шнейдера и Лё-Крёзо. Генерал Сухомлинов, который впоследствии станет военным министром, выскажется еще более резко, чем Суворин: «Безответственное влияние Великих князей, плод длинной исторической эволюции, – зло, подобно раковой опухоли, разъедающее весь государственный организм». У Николая было слишком живо чувство семьи, чтобы карать дядьёв и кузенов за злоупотребления, и даже упреки дражайшей Аликс не могли подвигнуть его на меры воздействия против них. Ведь в конечном счете прощены оказались даже те, кто совершил куда более тяжкое преступление, чем многомиллионная взятка, – вступил в «неподобающий» для Великого князя брак. А единственным конечным результатом этой кары явилась ненависть «морганатических» жен к царице, виновной в их опале.

Среди всех родственниц своего августейшего супруга Александра Федоровна была более всего предубеждена против супруги Вел. кн. Владимира Александровича Марии Павловны, урожденной принцессы Мекленбург-Шверинской, – близкие звали ее просто тетя Михень. Эта элегантная, рафинированная и амбициозная женщина затмевала царицу, перебивая у нее роль первой дамы империи. Самые выдающиеся особы русского и международного общества теснились у нее во дворце на набережной Невы и в Царском Селе. Она задавала тон моде – как на наряды, так и на мысли. Не имея ни возможности, ни желания сражаться с нею на почве бессмысленной суеты, Александра тем не менее страдала при виде ее успехов в свете. Но у царицы была еще одна, куда более веская причина для горечи. У Марии Павловны было трое крепких, здоровых сыновей: Кирилл (род. в 1876 г.), Борис (род. в 1877 г.) и Андрей (род. в 1879 г.) которые, по порядку династической последовательности, следовали сразу за братом Николая II, Вел. кн. Михаилом Александровичем, и за своим отцом, Вел. кн. Владимиром Александровичем. По-прежнему не имея наследника-сына, Александра дрожала при одной мысли, что российская корона может перейти к боковой линии дома Романовых, и винила себя за возможность такого развития событий: ей мнилось, будто на ее чрево наведена порча. Умножая свои молитвы, она видела свое

будущее только в одном – как можно скорее стать матерью цесаревича, которого с таким нетерпением ждала вся Россия. Это желание превратилось у нее в такую навязчивую идею, что она более не могла видеть мать ни одного мальчишки, не почувствовав себя в глубине души жестоко уязвленной. Ей казалось, что у всех членов императорской семьи на уме было только одно: вскочить на трон, как только умрет ее благоверный. От этой идеи фикс у нее серьезно пошатнулось здоровье; она бледнела, у нее теснило дыхание, горло ей стискивали спазмы, лицо ее покрывалось красными пятнами. Эта слабость вкупе с ее отстраненным характером все чаще побуждала ее к самоизоляции от семейного очага. Но согласно этикету императорская чета должна была быть во главе всех больших празднеств, проходивших в Санкт-Петербурге в течение двух первых месяцев года.

Во время этих церемоний царский двор представал во всем своем великолепии. Многочисленный и в высшей степени иерархизованный, он насчитывал 15 сановников первого класса, около 150 – второго плюс к тому 300 камергеров и несметное число камер-юнкеров; во главе всего этого сообщества стоял министр двора, венский состав двора не отличался таким разнообразием, и ему не придавалось такого значения. В свиту императрицы, возглавляемую статс-дамой, входили фрейлины двора, которые одевались для придворных балов и торжеств в платья из белого атласа со шлейфом из красного бархата, расшитого золотом, а украшением головы служил кокошник – традиционный русский головной убор, разновидность диадемы в виде полумесяца. Приглашенные, которым дворцовые курьеры заранее развозили приглашения, прибывали на санях к девяти часам вечера во дворец. Приглашение Его Величества заставляло приглашенного бросить все остальные дела и назначенные встречи, возможность показаться на императорском балу заставляла на время забыть даже о трауре по случаю потери близкого человека. У различных заснеженных подъездов во тьме двигались силуэты, укутанные в меха; доставив господ к месту назначения, кучера рассаживались вокруг костров в специальных «грелках», выстроенных на площади; а в это время в сияющих мрамором и искрящихся хрусталем вестибюлях меха сбрасывались, открывая голые плечи и роскошные, перегруженные орденами и золочеными украшениями мундиры. Многоголосая, сияющая, надушенная толпа поднималась по парадной лестнице между двумя рядами кавалергардов – неподвижных гигантов в доспехах и крылатых шлемах, проходила по длинной галерее и оказывалась в огромной зале, освещенной

электрическими люстрами. Три тысячи привилегированных теснились в этом декоре из колонн, статуй, пальм и роз. Все взгляды устремлялись на двери, из которых должна показаться императорская семья. Достопочтенные «дамы с портретами» (называемые так потому, что они носили на корсаже миниатюрный портрет Его Величества в оправе из бриллиантов) наблюдали строгим взглядом за юным роем фрейлин, которых легко было узнать по бриллиантовому вензелю царицы на банте из голубой ленты, прикрепленном к левому плечу. Вокруг них, словно бабочки, порхали офицеры элитных полков – кавалергарды и конногвардейцы в парадной форме, уланы в красных нагрудниках, гвардейские гусары в белых с золотыми сутажами, черкесские князья с дамасским кинжалом на поясе.

Ровно в девять часов вечера смолкали все разговоры, открывались обе створки главных дверей, могучий голос возвещал: «Его Императорское Величество!», и зал оглашали величественные звуки национального гимна. Царь и царица степенно вступали в зал, сопровождаемые членами императорской фамилии, каждый член которой занимал в этом шествии место согласно рангу, определяемому степенью родства. Николай в парадном мундире, Александра в диадеме и унизанном жемчугами ожерелье, доходившем ей до колен. Платья Великих княгинь усыпаны рубинами, изумрудами и сапфирами. Царственная чета открывала бал полонезом, причем царица танцевала со старейшиной дипломатического корпуса, а царь – с его супругой; затем наставал черед вальсов и мазурок. Великие княгини сами приглашали кавалеров – никто из них не смел предлагать себя как такового. Бал прерывался в час ночи для ужина. Император не принимал участия в трапезе, но в сопровождении министра двора обходил столы и беседовал с приглашенными. После этого молодежь танцевала котильон до трех часов утра. Самым блистательным из этих торжеств был костюмированный бал, призванный воскресить пышность кремлевских празднеств XVII столетия. Высшее общество Первопрестольной начинало подготовку за несколько месяцев до события, разоряясь на парчу и ювелирные украшения. Все кутюрье трудились не покладая рук. На этом грандиозном празднестве Николай, выступая в роли своего пращура Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, – отца Петра Великого, – был облачен в тяжеловесное одеяние в византийском стиле. Столь же массивным было и облачение царицы из золотой ткани, усыпанное дорогими камнями. На уровне груди оно застегивалось заколкой с гигантским рубином – самым роскошным во всей императорской сокровищнице. Одетая в эти

наряды венценосная чета словно воскрешала прошлое Руси, как бы говоря всем собравшимся о легитимности своего нахождения во главе страны.

* * *

Но вот заканчивался сезон праздников, и царь с царицей, уставшие от светских обязанностей, покидали Зимний дворец и удалялись в Царское Село. Когда наступал летний зной, они перебирались в Петергоф, а по осени их ждал Ливадийский дворец в Крыму.

В Царском Селе было два главных дворца: Большой (Екатерининский) дворец, в котором давались пышные обеды и приемы, и Александровский дворец, где император вел повседневную частную жизнь в кругу своих. Николай принимал посетителей в уютном кабинете, где на письменном столе стояла фотография его отца – Александра III. У Николая была маниакальная страсть к содержанию в порядке своих вещей, в том числе безделушек. По воспоминаниям начальника охраны А. Спиридовича, когда император отправлялся на лето в Петергоф, в кабинете помечалось место каждого предмета, чтобы по возвращении хозяина их можно было в точности расставить по местам. Из кабинета можно было пройти в императорскую баню, где находился плавательный бассейн. Лицом к бассейну – глубокий диван. В углу – икона, на круглом столике – кувшин с молоком, которого государь любил время от времени хлебнуть. В другом кабинете он играл в бильярд и принимал небольшие делегации. Особое место во дворце занимала обширная супружеская опочивальня, освещенная тремя окнами и обтянутая кретоном. Под обширным шелковым балдахином – две смежные постели. Позади них, в углублении, блещут множество образов, и среди них – образ св. Николая, небесного покровителя царя, по традиции, написанный на доске точь-в-точь размером с новорожденного. Перед нею горела лампадка. Мебель из светлого дерева, также покрытая чехлами из кретона. По стенам – множество фотографий членов императорский семьи. Наверху помещены портреты отца Александра, самой Александры и Николая. Под потолком – простая люстра с тремя электрическими лампочками. По соседству с опочивальней – «сиреневый будуар», в котором императрица собирала самых близких ей людей.

День Николая начинался между семью и восемью часами утра. Помолившись Богу, Николай тихо выскальзывал из комнаты, чтобы не разбудить супружницу, посвящал минут

двадцать плаванию в бассейне и завтракал один (чай с молоком, булочки, гренки) в палисандровой гостиной, составлявшей часть его личных апартаментов. Сразу после этого он отправлялся к себе в рабочий кабинет слушать различные доклады. Первым он заслушивал графа П.К. Бенкендорфа, обергоф-маршала Императорского двора,[73] сообщавшего царю распорядок дня; затем – коменданта дворца, несшего персональную ответственность за безопасность венценосных особ; комендант знакомил царя с актуальными политическими вопросами. Затем наставал черед министров и крупных чиновников, вызванных из Петербурга. Если царь подходил к окну, то давал этим понять, что аудиенция окончена. По окончании аудиенций император отправлялся на получасовую прогулку в парк в сопровождении шотландских собак; на обратном пути часто снимал пробу с обеда, приготовленного для солдат и прислуги, – обыкновенно щи или борщ, каша, квас. Пробы ему приносил унтер-офицер в закрытом солдатском котелке.

Обед подавали в час дня. Составленные за три дня до этого обергоф-маршалом меню сперва приносили на утверждение царице, которая вносила в них поправки по своему вкусу. Трапеза, на которую, как правило, приглашались гости – министры, советники или личные друзья государя, – состояла из четырех блюд плюс к тому закуски; эти последние – икра, копченая семга, горячие пирожки – располагались по русскому обычаю на отдельном столике. Николай редко прикасался к ним, а икры избегал вовсе: однажды после того, как он поглотил ее в неумеренном количестве, у него случилось жуткое несварение желудка. А в остальном он предпочитал русскую кухню: поросенка под хреном, капустные щи. Под закуску выпивал чарку водки, за обеденным столом – бокал портвейну. Обед не должен был продолжаться более 50 минут, и, чтобы уложиться в этот срок, блюда приходилось готовить заранее, а затем подогревать – к вящему огорчению шеф-повара мосье Кюба, основателя лучшего в Петербурге французского ресторана.

После обеда Николай вновь садился за работу до трех с половиной часов пополудни, затем вновь отправлялся на конную или пешую прогулку по парку в сопровождении нескольких близких друзей. За ним наблюдали повсюду спрятанные в кустах агенты в штатском. Он же забавлялся, глядя, как они пытаются укрыться при его приближении.

К пяти часам он садился пить чай и, осушив свой личный стакан в золотом подстаканнике, вскрывал белые конверты, сложенные кучкой у него возле чайного прибора, и читал депеши. Затем читал русские газеты, в то время как императрица жадно

накидывалась на английские; у нее по-прежнему болели ноги, и она вытягивалась в шезлонге, укутавшись от колен до ступней сложенною вдвое кружевною шалью из сиреневого муслина и заслонившись от сквозняков застекленной ширмой.

В шесть вечера, запасясь сигаретой, Николай возвращался к себе в кабинет, перелистывал досье, полученные от различных министерств, и пытался разглядеть за исписанными каллиграфическим почерком пером рондо листами тяжелой глянцевой бумаги лицо своего народа. Но как бы там ни было, эти листы, исписанные безвестными писарями холодно-административными формулами, не только не освещали, но и маскировали от государя живую реальность России…

В восемь часов после ужина из пяти блюд он наводил справки еще по нескольким досье, затем возвращался к императрице и заканчивал день тем, что читал ей вслух – у него был приятный баритон и ясная, изящная манера говорить, ему были ведомы все тонкости русского языка. По рассказу все того же Спиридовича, Их Величества очень любили книги; раз в неделю библиотекарь Щеглов выкладывал перед ними на столе все русские книжные новинки и множество иностранных. Можно сказать, что Их Величества прочитали все, что было значительного в русской литературе, которую они превосходно знали. Среди излюбленных сочинений императора были «Записки охотника» Тургенева и произведения Н.С. Лескова.

Когда же императрица не бывала в обществе супруга, то проводила часы за рукоделием, гуляла по парку с детьми, беседовала с теми немногими избранниками, допущенными в ее интимный круг. В этот круг избранных входила ее камеристка мадемуазель Занотти, подруга ее детских игр и, по слухам, молочная сестра, которую она вызвала из Германии; ее наставница Катерина Шнейдер, которая служила ей секретарем и теперь обучала русскому языку ее детей; и ее любимая фрейлина княжна Соня Орбелиани. Жизнерадостную, полную любви к своей императрице, молодую кавказскую княжну вскоре настиг наследственный прогрессирующий паралич, приковавший ее к креслу-каталке. Но от этого она стала еще дороже царице, которая окружила ее заботами и поместила в третьем этаже, по соседству со своими дочурками, хотя иные судачили, что негоже морально травмировать детей, находящихся в добром здравии, соседством постоянно прикованного к креслу человека.

Еще большую заботливость, достойную самой лучшей сиделки, царица проявила в 1902 г., когда Николая неожиданно свалила тифозная лихорадка. Она не отходила от его изголовья, ухаживала, как могла, и, проявляя исключительное упрямство,

запретила заходить в комнату больного всем его близким – не было сделано исключения даже для матери-императрицы. «Ники держал себя как чистый ангел, – писала Александра сестре Елизавете. – Я даже отказалась от приглашения к нему сиделки, у нас все так хорошо сложилось! По утрам Орчи (миссис Орчард, английская гувернантка. – *Прим. авт.*) моет ему лицо и руки. Она приносит мне мой обед. Обедую тут же, на диване…» К счастью, царь довольно быстро оправился. Однако же состояние здоровья царицы и не думало улучшаться. Становясь все более нервною, она теперь страдала от слабости сердечной мышцы и отеками ног. Внимательный, тревожащийся за жену супруг Николай проводил подле нее все свободное время и старался избавить от тягот больших официальных приемов. Вот, к примеру, запись от 19 января 1904 года: «Утро было занятое, и день вообще утомительный… В 9 ½ начался большой бал. Народу было как никогда много… К счастью, Аликс отлично выдержала бал». В теплое время года Николай катал свою благоверную в кресле-каталке по парку и непременно делал записи об этом в своем дневнике: «31-го мая. Понедельник. Совсем летний день… Катал Аликс в кресле, затем Татьяну в шлюпке на пруде…» «2-го июня. Среда. Прохладный ясный день… Катал Аликс в парке. Татьяна гуляла с нами. Убил 2-х ворон. Покатался в байдарке». За дневник государь садился вечером, отпустив курьера. Часто он читал его вслух императрице, и та иногда прибавляла к нему несколько нежных слов. Затем ложился на постель, смежную с постелью супруги, под большим шелковым балдахином.

К полуночи взвод охраны занимал места на нижней галерее, часовые становились у каждой двери, устанавливался надзор и в парке. Комендант дворца жил в постоянном страхе покушения на августейшую особу. Эти меры предосторожности не только не успокаивали императрицу, но и усиливали в ней страх с наступлением сумерек.

При поездках Их Величеств по железной дороге отряжался специальный батальон для контроля над мостами, стрелками, вокзалами, туннелями. Часовые расставлялись по всему пути следования, а в распоряжении монарха и его свиты имелись два идентичных поезда, выкрашенных в голубой цвет и украшенных императорскими орлами. Они выезжали один вослед другому – чтобы сбить с толку террористов, никогда не объявлялось, в каком из них проследуют августейшие особы. Император лично заявил Спиридовичу, что известные успехи, одерживаемые революционерами, обязаны не силе революционеров, но слабости властей, что же касается императрицы, то, по словам того же Спиридовича, она косо смотрела на оберегавшую венценосную

чету службу безопасности и была убеждена, что охранить императора могла бы только сила молитв. К тому же ей чудилось, что она со всех сторон окружена шпионами.

Императорский поезд состоял из 7 вагонов,[74] в которых находились рабочий кабинет Николая, две спальни Их Величеств, их ванные комнаты, столовая, отделанная красным деревом, рассчитанная на 16 персон, салон с фортепьяно, детская, обтянутая светлым кретоном, вагон свиты и вагон многочисленной прислуги и, наконец, кухня. Кстати, царь и царица имели привычку по дороге раздавать подарки высокопоставленным лицам в тех местах, где следовал поезд. «Так как никогда нельзя было знать заранее, – вспоминал начальник канцелярии Министерства Императорского двора А.А. Мосолов, – где, кто и когда удостоится высочайшего подарка, в виде правила я возил с собой тридцать два сундука, наполненных портретами, ковшами, портсигарами и часами из всех возможных металлов и всех возможных цен».[75] Жизнь в поезде была комфортабельной и текла согласно протоколу; это был маленький дворец на колесах, разъезжавший по стране.

Атмосфера, окружавшая императорскую семью, немного разряжалась лишь тогда, когда она выходила в море на императорской яхте «Штандарт». «Как только высочайшие особы поднимались на „Штандарт“, – писал все тот же Мосолов, – каждый из детей получал особого дядьку, то есть матроса, приставленного следить за личной безопасностью ребенка… Младшие офицеры „Штандарта“ мало-помалу присоединялись к играм Великих княжон… Офицеров „Штандарта“ лучше всего было бы сравнивать с пажами или рыцарями средневековья… Сама государыня становилась общительной и веселой, как только она ступала на палубу „Штандарта“».[76] И тем не менее она часто без всякой видимой причины напускала на себя холодный и чопорный вид. Даже самым преданным Их Величествам людям случалось страдать от переменчивого норова императрицы. «Что за странная женщина! – пишет о ней Спиридович.[77] – Ни одного сочувствующего слова из ее уст. Сжатые губы, неподвижный взгляд – вот и все». Зато Николай мечтал только об одном: скорее бы остаться с нею наедине. Императорская чета искала уединения, как задыхающийся ищет глотка свежего воздуха. Предпочитая посвящать большую часть года уединенному, скромному и эгоистически семейному существованию, они незаметно отстранялись от своих подданных.

В начале 1902 года писатель и журналист А.И. Амфитеатров публикует в газете «Россия» фельетон «Господа Обмановы», в котором дал саркастическую картину жизни императорской

семьи, не пощадив ни царя, ни царицу, ни Великих князей. Взволнованная публика расхватывала у газетчиков номер, как горячие пирожки; следствием явился большой скандал – дошло даже до того, что, как отметила в своем дневнике 27 января 1902 г. мадам Богданович, «многие, ехавшие на бал в Зимний дворец, говорили, что едут на бал к „Обмановым“, у многих в карманах на этом балу был фельетон Амфитеатрова, некоторые даже там ссужали его другим на прочтение. Это рисует настроение высших слоев общества». «Это посильнее пистолетного выстрела!» – заметил Победоносцев. Виновник событий был выслан в Иркутск, а выпуск газеты приостановлен. Что же до государя, то он, подав газету своему духовнику о. Янышеву, только сказал: «Прочтите, как о нас пишут!»[78]

Глава пятая
Либералы и революционеры

Внимательный читатель, Николай скорбел о том, что большинство великих писателей, чьи сочинения служили иллюстрацией царствования его деда и отца, ушли из жизни до его собственного восхождения на престол. Его любимый автор Николай Лесков скончался в 1895 г., Достоевский – в 1881 г., Тургенев – в 1883-м, Александр Островский – в 1886-м, язвительный Салтыков-Щедрин – в 1889-м, Иван Гончаров, написавший «Обломова», – в 1891-м… Единственным выжившим из этого соцветия талантов оставался Лев Толстой. Оставив романный жанр, он впоследствии возвысил свой глас пророка и философа. Продолжатели представлялись немногочисленными и посредственными. Конечно, существовали Короленко со своими повестями из народной жизни, Чехов со своими интимнейшими рассказами и театром, сплошь состоящим из нюансов, и некий Максим Горький, чей дерзостный реализм шокировал благополучную публику. Но реноме у всех троих было еще покуда неопределенным. Сходная картина наблюдалась и в музыке. Мусоргский скончался в 1881 году, Бородин – в 1887-м, Чайковский – в 1894-м, Рубинштейн – в 1894-м… Смена оставляла желать лучшего.

Кстати, начиная с начала XX века зародилось новое эстетическое движение, волновавшее интеллектуальную среду. Молодые писатели отвернулись от филантропического пророчества и «серого человеческого пейзажа», характеризующего произведения их предшественников. Не то чтобы они были нечувствительны к народной нищете, которая была одной из излюбленных тем 1860—1890-х годов, но на первый план в их творчестве выходили индивидуализм и рафинированность. Они превозносили «искусство для искусства», что не исключало для некоторых из них мистического порыва. Имена Бодлера, Верлена, Малларме, Верхарна возносились до небес представителями этой школы, озабоченной совершенством формы. Бог с ним, с сюжетом, лишь бы удачной была звукопись! Великие русские символисты: Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Мережковский, Зинаида Гиппиус – упивались изящными гармониями. Что объединяло их, так это некий литературный импрессионизм, теории которого излагались на страницах журнала «Мир искусства», основанного Дягилевым в 1898-м и просуществовавшего до 1905 года.

Но уже заявляло о себе другое литературное поколение:

Александр Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, – стремившееся посредством поэзии проникнуть в тайну жизни. Некоторые из этих символистов – как, например, Мережковский – с самого начала посвятили себя проблемам религии и мечтали об обновлении церкви. В этом они сближались с философскими теориями Владимира Соловьева, который утверждал примат духовных ценностей.

Это движение быстро распространилось и на область изящных искусств. Творчество молодых русских художников: Валентина Серова, Исаака Левитана, – вдохновлявшихся французскими импрессионистами, развивалось как негативная реакция на реалистические сцены и картины крестьянской жизни. Даже старых мастеров – таких, как Репин и Суриков, – и тех затронула эта тенденция фиксировать на полотне ощущения, не прибегая к помощи организующего мышления. Московские меценаты покупали шедевры импрессионистов, презираемых во Франции. Богатейший промышленник Мамонтов содержал на свои средства оперу, декорации которой писали Коровин, Врубель и Васнецов; с ее сцены звучал голос Шаляпина. Благодаря субсидиям негоцианта Морозова Константин Станиславский основал Московский художественный театр, совершивший переворот в концепции своих современников, выведя на сцену простоту и суровость правдоподобия.

Но, как это ни любопытно, ответом на это увлечение чистым искусством, отстраненным от социальных забот, явилось все большее возрастание в публике обеспокоенности о будущем страны. Эстетизм не только не затушевывал озабоченности о завтрашнем дне, но, напротив, растревоживал ее. Интеллигенция с равным вниманием относилась как к новым тенденциям в искусстве, так и к новым тенденциям в политике. Студенты агитировали по всякому поводу, земства, выходя за рамки своей компетенции, выступали за обязательное народное образование, отмену телесных наказаний, рост справедливости и свобод. Наиболее отважные из этих собраний даже создали за рубежом нелегальный журнал «Освобождение», печатавшийся в Штутгарте, затем в Париже; его редактор – Петр Струве, прежде «легальный марксист», затем перешедший к куда более умеренным доктринам. Этот журнал, проникавший в Россию окольными путями, вскоре стал настольным чтением всех тех, кто ждал перемен, без загвоздок. Тайная организация, объединявшая земских деятелей, студентов, писателей, университетских профессоров, основанная в России в 1903 г., взяла название «Союза за освобождение». Отвергая принцип «классовой борьбы», эти мужчины и женщины видели спасение не в ниспровержении

царизма, но в разумном ограничении самодержавия конституционной демократией. Именно из этого союза два года спустя возникнет партия «конституционных демократов», или кадетов.

Истинные революционеры считали смехотворной эту оппозицию благовоспитанных людей. Они косо смотрели на интеллектуалов, впитавших в себя утопии «всеобщего братства», и были убеждены, что только трудящиеся классы могут путем насильственного вмешательства устранить ненавистный режим. Проникнувшись теориями Карла Маркса, они пророчили, что развитие индустриального капитализма автоматически приведет к социальному взрыву. Этим они отличались от своих предшественников – народников, которые отводили роль армии освобождения крестьянской массе. В настоящее время становилось очевидным, что эту миссию должен взять на себя рабочий пролетариат. Необыкновенный взлет экономики России не повлек за собою повышения уровня жизни заводских рабочих, численность которых перевалила к началу века за три миллиона. Этот люд, пришедший из деревни, концентрировался в пригородах крупных городов. При каждой фабрике строились огромные, серые и мрачные здания-казармы, где скученно обитала рабочая сила. Несколько семей снимали одну крохотную комнату-каморку, отгораживаясь друг от друга лишь занавесками из тряпок. Кровати стояли вплотную друг к другу. Обитатели – мужчины, женщины, дети – делили друг с другом сны, любовные отношения, недуги, ссоры и примирения. Порою рабочий, отправляясь в ночную смену, уступал за пятак койку своему товарищу, так что койки не пустовали ни днем, ни ночью – и тем не менее обитателям каморок еще завидовали обитатели ночлежек, где нары громоздились друг над другом и не было вообще никаких перегородок! Убогое жилище, бедное питание, грошовое жалованье, отсутствие защиты от произвола фабрикантов – все это превращало пролетариат в превосходную почву для пропаганды подрывных идей. В точном соответствии с предвидением Карла Маркса, по мере того, как возрастает материальное благосостояние страны, в тени вызревает сила, которая ее разрушит. Чем больше продвигается Россия по пути прогресса, тем больше она строит заводов; чем больше она строит заводов, тем больше ей требуется рабочих; чем больше ей требуется рабочих, тем более будет возрастать число недовольных.

Со своей стороны крестьянство, насчитывающее 80 процентов населения, роптало на обнищание, вызванное распределением земель не в его пользу. На 139 миллионов десятин общинных

земель приходилось 101 млн. частновладельческих, большая часть из которых находилась в руках дворян. Эта диспропорция между владениями господ и крестьян казалась этим последним все более нетерпимой. После долгих веков обскурантизма и повиновения мужики неосознанно потянулись за рабочими в их стачечной борьбе. Сельские бунты потрясли Полтавскую и Харьковскую губернии. Крестьяне грабили помещичьи хозяйства, поджигали усадьбы. Мятежи были жестоко подавлены – порядок наведен, но это не успокоило умы людей. В речи перед старейшинами сельских общин Курской губернии царь, вспоминая о мятежах в Полтавской и Харьковской губерниях, заявил, что «виновные понесут заслуженное наказание, и начальство сумеет, я уверен, не допустить на будущее подобных беспорядков». Государь по-отечески напомнил, что «богатеют не захватами чужого добра, а от честного труда».[79] Эти слова не убедили никого.

Между тем наилучшая почва для пропаганды все же находилась у заводских ворот. С конца 1895 года мелкий присяжный поверенный Владимир Ульянов предпринимает попытку сплава различных марксистских тенденций в единое движение «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Этим он продолжал семейную традицию – его брат Александр был казнен в 1887 году двадцати лет от роду за участие в заговоре против царя Александра III. Позже Владимир Ильич Ульянов возьмет себе фамилию Ленин. Арестованный полицией вместе с несколькими десятками своих сторонников, он проведет год в тюрьме, затем три года – в сибирской ссылке.

Преследования теоретиков революции не остановили рост народного недовольства. В 1896 году в Санкт-Петербурге объявили забастовку 30 тысяч рабочих 22 хлопкоткацких заводов. Следуя их примеру, объединялись в союзы рабочие ряда крупных городов Центральной России, Украины, Кавказа, Польши. Еврейские рабочие объединились в секретный союз под названием «Бунд». В марте 1898 года в Минске была образована «Российская социал-демократическая партия» во главе с Центральным комитетом из трех членов. Серия арестов, произведенных через десять дней после ее первого съезда, дезорганизовала ее. Вернувшись из ссылки, Ленин отправляется за рубеж, где издает газету «Искра», решительно ориентированную на создание революционной организации. Второй съезд социал-демократической партии, состоявшийся в Брюсселе и Лондоне в июле – августе 1903 года, подтвердил прогресс этой суровой тенденции. И тут же в организации наметился раскол между большинством – сторонниками Ленина,

которые станут называться большевиками, – и меньшинством, будущими меньшевиками, стоявшими за Мартова и Аксельрода.

Но пока марксисты социал-демократической партии сталкивались в схватках по доктринальным вопросам, партия социалистов-революционеров – бывших народников, из которых вышли террористы 1870—1880-х, – подверглась структурной перестройке и начала выпуск подпольной газеты «Революционная Россия». Несмотря на преследования и аресты, многочисленные тайные группы, державшиеся идеологии насилия, продолжали существовать по всей России. В то время как социал-демократов всерьез волновал один лишь рабочий класс и они считали важнейшими методами борьбы стачки и массовые манифестации, социалисты-революционеры ориентировались в основном на крестьянство, пропагандируя распределение земель между теми, кто их обрабатывает, и делая упор на индивидуальную противоправительственную борьбу прежними террористическими методами.

Эта экстремистская концепция привлекала к движению адвокатов, врачей, агрономов, мелких служащих, журналистов, преподавателей гимназий, педагогов, студентов. Те, кто был особенно преисполнен энтузиазма, вступали в «Боевую организацию». Этот ударный батальон, существовавший в форме тайного общества, занимался изготовлением бомб и исполнением покушений. Брожение умов среди университетских студентов побудило правительство ужесточить репрессии – студенческие сходки разгонялись казаками, вооруженными нагайками и саблями. Эти жестокости только ожесточали бунтующую молодежь, жаждавшую ниспровержения и разрушения. Новый министр народного просвещения П.С. Ванновский, назначенный после убийства Боголепова, напрасно пытался утихомирить бедных студентов введением системы общежитий. Отныне лозунгом молодого поколения было: «Нам нужны не реформы, но реформа». Любой уважающий себя интеллектуал должен быть в оппозиции к режиму и пренебрежительно относиться к своему внешнему виду. «Новое время настает, и оно себя покажет, – отметил Суворин в своем дневнике 29 мая 1901 года. – Оно уже себя показывает тем, что правительство совершенно спуталось и не знает, что начать: „Не то ложиться спать, не то вставать“. Но долго ли протянется эта безурядица?» И впрямь перед лицом недовольства масс со стороны правительства не высказался ни один голос. Часть его, представляемая Витте, выступала за либеральную и толерантную политику; другая, представляемая сменявшимися один за другим министрами внутренних дел, выступала за реакционную политику, за неприкосновенность

государственных институтов и необходимость полицейских репрессий. Эта политическая непоследовательность только подстегивала подрывные элементы. Студенческие манифестации все множились. 3 марта 1902 года состоялась манифестация на Невском проспекте; жандармы, вздыбливая коней, разгоняли манифестантов с помощью сабель. Месяц спустя был убит министр внутренних дел Сипягин.

Последовавшее немедленно назначение на его место Вячеслава Плеве знаменовало собою очередную победу реакции. Вместо того чтобы успокоить общественное мнение, Николай предпочел взбудоражить его. И это при том, что советов действовать осторожнее он получил более чем достаточно. Важнейшее предостережение пришло за несколько месяцев до того от Льва Толстого – это патетичное письмо было передано государю Великим князем Николаем Михайловичем.

«Любезный брат!

Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к Вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку – брату. Кроме того, еще и потому, что пишу к Вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти. Мне не хотелось бы умереть, не сказав Вам того, что я думаю о Вашей теперешней деятельности и о том, какою она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам людей и Вам и какое большое зло она может принести людям и Вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь.

… Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отдаленной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением, и потому поддерживать эту форму… можно только, как это и делается теперь, посредством всякого рода насилия, усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещений книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел.

Мерами насилия можно угнетать народ, но не управлять им. Единственное средство в наше время, чтобы действительно управлять народом, – только в том, чтобы, став во главе движения народа от зла к добру, от мрака к свету, вести его к достижению ближайших к этому движению целей. Для того же,

чтобы быть в состоянии это сделать, нужно прежде всего дать народу возможность высказать свои желания и нужды, исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не одного класса или сословия, а большинства его.

… Как ни велика Ваша ответственность за те годы Вашего царствования, во время которых Вы можете сделать много доброго и много злого, но еще больше Ваша ответственность перед Богом за Вашу жизнь здесь, от которой зависит Ваша вечная жизнь и которую Бог Вам дал не для того, чтобы предписывать всякого рода злые дела или хотя участвовать в них и допускать их, а для того, чтобы исполнять Его Волю. Воля же его в том, чтобы делать не зло, а добро людям.

… Простите меня, если я нечаянно оскорбил или огорчил Вас тем, что написал в этом письме. Руководило мною только желание блага русскому народу и Вам.

Достиг ли я этого – решит будущее, которого я, по всем вероятиям, не увижу. Я сделал то, что считал своим долгом.

Истинно желающий Вам истинного блага брат Ваш

Лев Толстой.

Гаспра. 16 января 1902 г.»

Эти строки ничуть не взволновали царя. При своем обожании Толстого как романиста он нисколько не восхищался им как мыслителем. Он ставил его на одну доску с молодыми взбудораженными представителями интеллигенции. Кстати, в минувшем году автор «Войны и мира» был отлучен от церкви – отнюдь не без причины. Священный Синод метал против него громы и молнии.[80] На самом же деле это отлучение обернулось против его инициаторов. «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? – задает вопрос Суворин. – Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост».[81]

Вполне естественно, письмо Льва Толстого к царю не получило никакого ответа. Николай заявлял, что любит русский народ даже больше, чем «великий писатель русского народа» (как назвал Толстого Тургенев в своем последнем письме к нему). Зная

о нищете маленьких людей, он готов был по мере возможного облегчить ее – несколькими щедрыми указами. Но поступиться частичкой власти, унаследованной от предков?! Упаси Бог! Именно так понимал монолитную концепцию самодержавия новый министр внутренних дел Плеве. Этот сановник, истинный ученик Победоносцева, рад был стараться в борьбе с революцией. Начинал свою карьеру директором Департамента полиции еще при Александре III. Затвердев в своих монархических идеях, он и помыслить не мог, что с течением времени общество способно эволюционизировать, и опасался подпольного влияния либералов еще пуще, чем революционеров. Едва приступив к исполнению служебных обязанностей, он предпринял усилия по координированию деятельности многочисленных органов, подчиненных его власти, и внедряя своих шпионов под вымышленными именами в различные подпольные группировки. Важнейшим из этих агентов был некий Евно Азеф – толстогубый, с расплющенными чертами лица. Этот Азеф незаметно внедрился в ряды немногочисленных членов Боевой организации социалистов-революционеров. Ревностный и беспринципный, он вел двойную игру: помогал товарищам готовить покушение – и сообщал о готовящемся деле полиции, которая хватала нескольких второстепенных лиц. Плеве видел в Азефе ловкого провокатора, который поможет разрушить всю сеть. Кроме того, он поощрял инициативу главы Московского охранного отделения С.В. Зубатова по созданию на правительственные средства легальных рабочих организаций с читальными залами. По мысли Зубатова, эта система сможет отвлечь рабочих от политических проблем, а если уж они и прибегают к забастовкам, то последние приобретут беззубый характер. И что же? Московские фабриканты во главе с Гужоном обратились к Витте с жалобой на московскую полицию, «поощряющую забастовки»! Плеве уволил Зубатова, не думая, впрочем, отказываться от его методов, прозванных зубатовщиной…

В итоге, надеясь взять рабочее движение под контроль, он только давал ему легальную основу и укреплял его.

С другой стороны, новый министр внутренних дел не желал ограничиваться ролью охранителя порядка. Верный политике русификации, проводившейся при Александре III, он стремился закручивать гайки в отношении национальных меньшинств, в особенности финнов, армян и евреев. В Финляндии он оказывал поддержку генерал-губернатору Н.И. Бобрикову, который видел эту страну не Великим княжеством, а ординарной провинцией Российской империи. Согласно законопроекту, представленному Финляндскому сейму еще в январе 1899 г., финляндское войско

(которое по местным законам должно было служить только в пределах края) увеличивалось примерно в полтора раза, и финские граждане могли быть отправлены служить в другие части империи; русский язык насаждался в школах и в учреждениях, и наконец в апреле 1903 г. действие финляндской конституции было приостановлено.

Меры по русификации широко применялись и на Кавказе. С 1897 года армянские школы были закрыты по всей территории Армении; 12 июля 1903 года был издан высочайший указ о передаче имущества армяно-григорианской церкви в управление казны – мера эта была выдвинута Плеве под тем предлогом, что, по агентурным сведениям, часть доходов с армянских церковных имуществ шла на поддержку армянских националистических революционных организаций. Армянское население восприняло это как посягательство на свои священные права, доходило до кровавых столкновений с представителями власти.

Но особую остроту в бытность Плеве министром внутренних дел приобрел «еврейский вопрос» – Плеве рассчитывал, что всплеск в народе националистических настроений отвлечет его от революционных идей, антисемитизм виделся им как клапан для бурлящих умов. 6 апреля 1903 года – в первый день Пасхи – на городской площади Кишинева возникли инциденты между евреями и христианами, и затем, в какие-нибудь полчаса, город оказался охвачен беспорядками. Пока солдаты и полицейские стояли сложа руки, подогретая алкоголем толпа громила лавки и дома евреев, не щадя ни женщин, ни детей. Такого погрома в России не было свыше двадцати лет. «Такого погрома, как кишиневский, не было еще в новейшей истории… Невежество, дикость всегда одинаковы, и злоба во все времена ужасна, ибо она будит в человеке зверя», – стояло в передовой статье «Нового времени». Между тем газета «Таймс» опубликовала якобы «перехваченное» письмо Плеве к бессарабскому губернатору, предупреждавшее о готовящемся погроме и указывавшее на нежелательность применения против толпы слишком суровых мер, в частности оружия, дабы не провоцировать озлобления населения против правительства.[82] На процесс по делу о погроме пресса не допускалась.[83]29 августа того же года произошел еще один погром, на этот раз открыто поддержанный войсками,[84] – в Гомеле. Могилевский губернатор заявил евреям: «Это ваша вина, вы дурно воспитываете ваших детей!» Плеве высказался еще категоричнее: «Остановите революцию, и я остановлю погромы!» До сих пор запуганная, еврейская община подняла голову – решив отстаивать свои религиозные традиции, она сблизилась с революционерами.

Таким образом во всех отношениях грубая репрессивная политика Плеве приводила только к возрастанию ненависти и жажды возмездия. Думая утихомирить народ, он добивался только худшего. В начале марта 1903 года войсками был подавлен мятеж рабочих Златоуста. Итог: убито 45 человек и ранено 83. Ответ революционеров: убийство в уфимском городском саду местного губернатора Богдановича. Чуть позже студентом Шауманом был застрелен из револьвера генерал-губернатор Финляндии Бобриков. 3 июня Николай запишет в своем дневнике: «Получил скверную весть о том, что в Бобрикова стреляли в здании Сената и что он тяжело ранен… Обедали на балконе в первый раз». И на следующий день: «Утром с прискорбием узнал, что Бобриков тихо скончался в час ночи. Огромная, трудно заменимая потеря! Погода была жаркая… Катал Аликс в кресле и в шлюпке. Дядя Владимир пил у нас чай. Много читал. Ездил на велосипеде и убил 2-х ворон; вчера одну. Обедали на балконе, к вечеру стало прохладнее».

Эти кровавые перипетии только усилили решимость Плеве избавить страну от «революционной сволочи». Прознав о том, что мышление ряда видных земских деятелей понемногу сдвигается в сторону конституционной монархии, он наложил «имперское порицание» на 19 предводителей дворянства, обвинявшихся в участии в этих собраниях, отрешил от должности князя Петра Долгорукова с поста председателя уездной управы Курской губернии, отказался санкционировать переизбрание камергера Дмитрия Шипова председателем Московской губернской земской управы, «с более мелкими шишками поступили еще более бесцеремонно…»[85] В итоге либеральная часть титулованного дворянства при всем своем знатном прошлом также сближалась с оппозицией.

На приеме у Плеве посол Франции Морис Бомпар задал ему вопрос в упор: «Не найдется ли среди множества компетенций Министерства внутренних дел каких-нибудь способных сблизить царя с его подданными? С каждым днем между Его Величеством и его народом – все меньше симпатии… Это не останется без серьезных недоразумений, если однажды дело дойдет до внутренних или внешних сложностей». Ничуть не выбитый из седла, Плеве ответил с апломбом: «Я был введен в Министерство внутренних дел как человек крутого нрава. Если при карательных мерах я проявлю малейшие колебания, я потеряю право называться таковым». Когда чуть позже дипломат возразил, что перед лицом сопротивления народа правительству придется поднять свой авторитет, он вскричал: «Я это знаю не хуже вас. Но что вы хотите? Я начал и вынужден теперь продолжать – и по

мгновении размышления добавил: – Я сижу на кипящем чугунке и взлечу на воздух вместе с ним». Вовлеченный в закручивающуюся спираль репрессивных мер, он ждал войны, которая положила бы конец народным мятежам. «Чтобы остановить революцию, – сказал он генералу Куропаткину, – нужна небольшая победоносная война».

Глава шестая
Русско-японская война

Постоянно озабоченный тем, как бы не отступить от доктрины, завещанной ему предками, Николай также желал оставить след в истории как «собиратель русской земли». По его мнению, царствование, достойное называться таковым, утверждает себя в том числе и расширением империи. Кстати, все цивилизованные страны стремятся к самоутверждению путем приобретения колоний, которые являются для них потенциальными рынками, источниками сырья и людских ресурсов на случай войны. Таким образом, государь оказался «двуликим Янусом»: на Европу он смотрел как миротворец, на Дальний Восток – как завоеватель. С одной стороны, он стремится к консолидации франко-русского союза на Балканах и прилагает усилия по созыву в 1899 году Гаагской конференции, которая, пусть и не привела к желаемому разоружению, все же имела следствием ряд договоренностей: были утверждены соглашения о применении Женевской конвенции к морской войне, о пересмотре декларации о законах и обычаях войны и о мирном разрешении международных споров путем посредничества и третейского разбирательства. С другой стороны, с самого своего восшествия на престол он размышлял о продолжении проникновения России в северную Азию – его юношеское путешествие на Восток до самой Японии казалось ему своего рода предвосхищением. Не этим ли направлениям предначертал ему следовать отец для завоевания всемирной славы? Его кузен, германский император Вильгельм II, подстрекал его к тому же. Вообще же между Ники и Вилли сложилась трогательная дружба – они регулярно переписывались, обращаясь друг к другу на «ты». Сожалея о том, что его дражайший Ники якшается с этими «цареубийцами-парижаками», и побуждая его неистово бороться с общими внутренними врагами: анархистами, республиканцами, нигилистами, Вилли убеждает своего дорогого друга, что на него как на российского царя возложена миссия «защищать крест и старую европейско-христианскую культуру от нашествия монголов и буддизма». (Письмо от 10 июля 1895 г.) Не довольствуясь одними лишь письменными увещеваниями, кайзер прилагает к письму гравюру, которую он, по его словам, «давал разработать первоклассному рисовальщику». На ней изображены аллегории европейских держав и Архистратиг Сил Небесных Михаил, который созывает их для защиты креста против

буддизма, язычества и варварства. В обмен за этот «азиатский крестовый поход» Вильгельм обещает царю защищать его от возможных нападений в Европе и помочь разрешить в пользу России вопрос о возможных территориальных аннексиях. Он равным образом выражает надежду, что царь благосклонно допустит, «чтобы Германия со своей стороны могла приобрести гавань где-нибудь, тебе это не помешает?» (26 апреля 1895 г.)

Такая настырность Вильгельма при всех его заверениях в поддержке весьма раздражала Николая. Будучи сам бесхитростного темперамента, он с трудом выносил напыщенность своего кузена, его отсутствие такта, чувство собственного превосходства. Как в физическом, так и в моральном отношении противоположность двух владык выглядела почти комической. В то время как Николай со своим нежным правильным лицом, скромной бородкой и синими мечтательными глазами был персонажем боязливым, безликим, сознающим ограниченность своего ума, кайзер, гордясь своими закрученными кверху, навощенными усищами и сверкая своими стальными глазами, выставлял себя этаким фанфароном, гораздым при любом случае продемонстрировать свою образованность и силу во всех областях. При всей своей природной скромности Николай считал, что ему как государю российскому не пристало получать наставления от германского императора. Он помечает в своем дневнике: «Принял флигель-адъютанта императора Мольтке с письмом и гравюрой ко мне от нудного господина Вильгельма». (18 сентября 1895 года.) И несколько недель спустя: «После чая читал и затем трудился над сочинением чернового ответа Вильгельму. Несносное занятие, когда столько и своего дела и поважнее!» (24 октября того же года.)

Что касается области внешней политики, то после внезапной смерти министра иностранных дел Лобанова-Ростовского царь назначил на этот пост графа Муравьева, не обладавшего ни компетенцией, ни авторитетом своего предшественника. Вместо того чтобы предостеречь государя от опасностей захватнической авантюры, Муравьев только разжигал его завоевательский аппетит. Осенью 1897 года у китайской провинции Шаньдун, неподалеку от Кьяо-Чао (Циндао) были убиты два немецких миссионера, и кайзер, воспользовавшись этим предлогом, не замедлил ввести в бухту Кьяо-Чао суда и высадить отряд на берегу. Этот поспешный шаг побудил Николая сделать ответный ход. 3(15) декабря русские военные суда вошли в Порт-Артур и Талиенван – те самые гавани, которые были отняты у Японии за два с половиной года до этого. 15(27) марта 1898 г., уступая

перед ультиматумом, китайская императрица Цыси подписывает конвенцию, предоставляя России право 25-летней аренды портов «Артур, Талиенван с соответствующими территорией и водным пространством, а равно предоставлена постройка железнодорожной ветви на соединение этих портов с великой сибирской магистралью» – из Харбина в Порт-Артур через Мукден и Ляоян. Несмотря на протесты Великобритании и Японии, Муравьев объявил: северные провинции Китая: Маньчжурия, Чили, Китайский Туркестан – находятся под политическим влиянием России и отныне там не потерпят никакого иностранного вмешательства.

Одновременно с проникновением в Южную Маньчжурию Россия надеялась распространить свою гегемонию и на Корею, которая, теоретически являясь независимым государством, фактически находилась под японской опекой. Обеспокоенный последствиями, которые могло возыметь российское продвижение в этом направлении, Витте стал указывать царю на избранного им кандидата на эту должность – графа Ламздорфа для замены Муравьева, скончавшегося от сердечной недостаточности. И в самом деле, компетентный и умеренный Ламздорф рекомендовал проявлять сдержанность в таком щекотливом деле.

Но в очереди к государевым ушам толпилось немало других советчиков, вещавших куда более энергичным языком. Представляя «партию войны», они утверждали, что Япония – величина, которой можно пренебречь, и что Россия имеет моральное право на эту часть континента. В действительности они были движимы исключительно меркантильными интересами. Протежируемые Вел. кн. Александром Михайловичем, они имели доступ к царю в любое время дня. Один из членов этой теплой компании, предприимчивый воротила Вонлярлярский, предложил создать Общество по эксплуатации природных богатств Кореи, богатой железом, углем, лесом и золотом. Его план заключался в том, чтобы вырвать у корейского правительства концессию и, протянув к этому региону индустриальную длань, подготовить аннексию Россией всей страны. Царь одобрил этот проект, и с 1899 года Обществу удалось выманить у корейцев несколько лесных концессий. Во главе предприятия был поставлен отставной кавалергардский полковник Безобразов, он построил лесопилку на левом берегу Ялу, в зоне влияния Японии, что вызвало протесты Токио.

Между тем в Китае вспыхнуло восстание, начатое тайным обществом «Кулак во имя справедливости и согласия», – отсюда и название «Боксерское», данное иностранцами. Это восстание залило кровью Китай и поставило под угрозу иностранные

миссии. Это явилось поводом для русских войск выступить в поход и занять всю Маньчжурию и совместно с другими заинтересованными державами двинуться на Пекин. Восстание было подавлено, но Россия не вывела свои войска из Маньчжурии под предлогом защиты еще строившейся железной дороги. Результатом этих прямолинейных действий явилось сближение Японии с Соединенными Штатами и Англией, тогда как Париж колебался, поддерживать ли царя и его экспансию в Азию. Франция настояла на том, чтобы Николай дал Китаю обещание вывести войска из Маньчжурии в три этапа, каждый по шесть месяцев; но, подписав этот график, Николай внезапно прервал эти меры по эвакуации. В духе примирения Япония в крайнем случае согласилась бы признать российские претензии на Маньчжурию в обмен на полный отказ от русского вмешательства в Корее. Но такое положение дел не могло удовлетворить кучку придворных во главе с Безобразовым. Невзирая на подпись, скреплявшую англо-японский альянс, они возобновили свои требования по эксплуатации лесов по Ялу. Сбитый с толку царь высказал свое одобрение. В свою очередь, Витте должен был предоставить в распоряжение Безобразова кредит в 2 миллиона рублей для Русско-китайского банка, чтобы начать вырубку деревьев.

Плеве ликовал: по его мнению, русские революционеры связаны с японцами, и уничтожение последних помогло бы избавиться от первых. В этом политико-коммерческом предприятии имели свои интересы самые высокие придворные фигуры. Витте негодовал, называя концессионеров чистопородными авантюристами. И все больше и больше оказывался в изоляции. Тем временем в Санкт-Петербурге только что был принят новый японский проект, предусматривавший взаимное согласие об особых правах Японии – в Корее, России – в Маньчжурии; начались переговоры, которые вел адмирал Е.И. Алексеев, только что получивший должность наместника Дальнего Востока. Новый наместник был в сговоре с Безобразовым, который стал неким подобием второго министра иностранных дел. Напыщенный гордостью Алексеев спал и видел, как бы броситься в схватку. Он пользовался полным доверием царя и к тому же вдохновлялся воодушевляющими словами Вильгельма II. «Всякий человек без предвзятого мнения, – писал Вильгельм, – обязан признать, что Корея должна быть и будет русской». Ему нравилось называть Николая «императором Тихоокеанским», закрепив за собою титул «императора Атлантического». Упоенный планами Николай более не мог сносить нерешительность Витте, который опасался воздействия

войны на экономику страны. Вскоре весь царский двор ополчился против министра финансов. С каждым днем пропасть между царем и его слишком прозорливым слугой все ширилась. Возможно, Витте следовало проявить большую гибкость, чтобы возвратить себе императорский фавор. Но он был весь из цельного куска и не умел скрывать своих чувств. По мнению Извольского, между натурой Витте и натурой императора существовало некое физическое отвращение. Сам Витте признавался, что его манеры, и в частности манера разговаривать, наверняка не понравились бы и показались шокирующими такому учтивому человеку, как Николай II.

В разгар этого министерского кризиса Николай в сопровождении двух императриц и нескольких Великих князей совершил паломничество в Саровскую пустынь, на перенесение мощей св. Серафима Саровского, особенно чтимого Александрой Федоровной. Саровская пустынь расположена среди густых лесов, на рубеже Нижегородской и Тамбовской губерний, в сотне верст от ближайшей железной дороги. Государь, обе императрицы, члены царской семьи и сопровождавшие их высокие церковные чины прибыли в Саров 17 июля. В последующие дни государь принимал депутации дворянства и духовенства. «Сам обряд прославления тянулся четыре с половиною часа, – писал А.А. Мосолов. – Удивительно, что никто не жаловался на усталость: даже императрица почти всю службу простояла, лишь изредка садясь. Обносили раку с мощами уже канонизированного преподобного Серафима три раза вокруг собора. Государь не сменялся, остальные несли по очереди». После канонизации прелестную княжну Орбелиани отвезли в чудодейственную купальню – увы, купание в целительном источнике под райские песнопения не излечило ее от наследственного недуга! Искупалась и царица, моля Господа о ниспослании ей сына. Накануне отъезда из Сарова государь отправился пешком в скит, куда удалялся Серафим; толпа, жаждавшая видеть «и, если можно, коснуться своего монарха», напирала все сильнее, и тогда Мосолов и еще один человек из свиты подняли государя на плечи. «Народ увидел царя, и раздалось громовое „ура“».[86] Саровские торжества, собравшие до 300 тысяч паломников, укрепили в государе веру в свой народ. Ему казалось, что та смута, которая тревожила его в последнее время, – явление наносное, тогда как сердце России здоро́во и бьется в унисон с его, государевым, сердцем. Благословенный и духовенством, и народом, он вернулся в Санкт-Петербург с чувством, что сам Господь – опора ему на стезе принятия самых рискованных решений. Вызвав Витте «для верноподданнейшего доклада» в

Петергоф, он в течение приблизительно часа выслушивал его соображения относительно будущего, а перед тем, как проститься, неожиданно объявил, что назначает министром финансов Плеске, чиновника исправного, но не обладавшего размахом, а самому Витте предлагает взамен пост председателя Комитета министров, должность хоть и почетную, но «бездеятельную», не влекущую никакой ответственности. Лишившемуся полномочий Витте ничего не оставалось, как только почтительно поклониться. Плеве и Безобразов оказались избавленными от своего главного противника.

Тем временем переговоры с Японией затягивались – обе стороны обменивались нотами, спорили из-за мелочей. Не сознавая опасности, Николай не испытывал ничего, кроме презрения, к этой вздорной Японии, которая корчит рожи перед огромной, бескрайней Россией. Да разве эта нация «макак», по его собственному выражению, дерзнет напасть на непобедимую царскую армию?! Война случится лишь тогда, когда Его Императорское Величество изволит захотеть развязать ее. А он не спешил: нанес визит родне жены в Гессен-Дармштадт, отправился повидать Вильгельма II в Потсдам, славно поохотился в Польше и, возвратившись в Петербург, открыл в январе 1904 года большим балом в Зимнем дворце сезон зимних празднеств.

Ужины, спектакли, приемы непрерывной чередою следовали один за другим, и было ясно, что все это доставляет государю наслаждение. Тем временем Ламздорф отчаянно пытался спасти мир. 15 января 1904 года он созвал совет из высших государственных чиновников с тем, чтобы в принципе согласиться с последними японскими предложениями. Но для этого была необходима санкция царя. А тот не спешил с ответом. Напрасно японский посланник срочно требовал аудиенции Его Величества. Как ему сообщили, Его Величество очень занят. В это время русские войска концентрировались вдоль Ялу. 24 января Николай лаконично пометил в своем дневнике, что Япония прекращает переговоры и отзывает из России своего посланника. Еще один маневр запугивания, подумал он. С его точки зрения, это отнюдь не означает неизбежности войны. Но два дня спустя, вернувшись из театра – «шла „Русалка“, очень хорошо», – он получает известие, что японские миноносцы атаковали стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура русские корабли, причинив повреждения нескольким из них.[87] В эту ночь русские штаб-офицеры танцевали на балу у губернатора. Экипажи кораблей спали, за исключением вахтенных, которые были застигнуты врасплох. На следующий день Николай помечает в своем дневнике: «27-го января. Вторник. Утром пришла другая

телеграмма с известием о бомбардировании 15 японскими судами Порт-Артура и о бое с нашей эскадрой… Потери незначительны. В 4 часа был выход в Собор через переполненные залы к молебну. На возвратном пути были оглушительные крики „ура“. Вообще отовсюду трогательные проявления единодушного подъема духа и негодования против дерзости японцев. Мама́ осталась у нас пить чай».

30 января, перед завтраком, большая толпа студентов с флагами подошла к Зимнему дворцу и запела – на сей раз не революционные песни, а «Боже, царя храни». Царь, царица и царевны пошли в Белую залу и стали кланяться студентам из окон за патриотические чувства. Зато госпожа Богданович находила подобные манифестации не только нежелательными, но даже опасными. «Сегодня пришли с чувствами, завтра придут с протестом», – записала она в этот день. И как в воду глядела!..

В целом же из нации выделилась партия, возмущенная вероломством япошек, бомбардировавших Порт-Артур без всякого объявления войны, и мечтавшая о немедленном и кровавом реванше. Гвардейские офицеры считали честью отправку на фронт. Гражданские лица записывались в Красный Крест. Охваченные духом соперничества, богатые коммерсанты соревновались, кто внесет большие суммы на поддержку военных усилий правительства. Дезинформированное прессой общественное мнение было убеждено, что Россия отправляется в быструю и легкую колониальную экспедицию. Только несколько скорбных умов старались обратить внимание публики на то, что у японцев современная, хорошо оснащенная и хорошо организованная армия, что Япония находится в непосредственной близости от театра военных действий, тогда как русским приходится транспортировать боеприпасы и живую силу за 8 тысяч верст по единственному и притом недостаточно надежно защищенному железнодорожному пути. В лагере скептиков находились также все национальные меньшинства, преследуемые Плеве, все революционеры и все либералы. Они возлагали на царя и его советчиков ответственность за бесполезную и дорогостоящую военную авантюру, предпринятую ради удовлетворения амбиций нескольких горячих голов и подозрительных финансистов. Некоторые, из числа самых ярых противников режима, втайне даже желали поражения, которое сотрясло бы трон. Что же касается простого люда, то он едва ли мог понять, почему его отрывают от родного дома, от земли и посылают в далекую Маньчжурию сражаться с японцами, о которых он раньше и слыхом не слыхивал.

Несмотря на повреждения, причиненные стоявшим в Порт-

Артуре кораблям, Николай был по-прежнему убежден в скорой и легкой победе. «У нашего государя грандиозные в голове планы, – писал военный министр Куропаткин. – Взять для России Маньчжурию, идти к присоединению к России Кореи. Мечтает под свою державу взять и Тибет… Что мы, министры, по местным обстоятельствам задерживаем государя в осуществлении его мечтаний и все разочаровываем, он все же думает, что он прав, что лучше нас понимает вопросы славы и пользы России. Поэтому каждый Безобразов, который поет в унисон, кажется государю более понимающим, чем мы, министры… Витте сказал мне, что он вполне присоединяется к моему диагнозу».[88] Вполне понятно, куда решительнее был настроен Плеве: Россия, говорил он, была выстроена штыками, а не дипломатией.

Под давлением своего окружения Николай поставил Куропаткина во главе армии, при этом подчинив его адмиралу Алексееву. Отсюда дуализм командования, пагубно сказавшийся на проведении операции. Провозгласив мобилизацию ряда военных округов, царь пустился в поездку по стране, принимал парады войск, отправлявшихся на театр военных действий, и по совету императрицы раздавал им образа святых, которые солдаты принимали, стоя на коленях. Это породило непочтительную шутку в офицерской среде: «Противник будет забрасывать нас снарядами, так мы забросаем его иконами».

Японцы, которым внезапное нападение на русский флот создало преимущество на море, высадились в Корее, овладели всей страной и обосновались в столице – Сеуле. 31 марта на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине и затонувшем в какие-нибудь две-три минуты, погиб легендарный адмирал С.О. Макаров; вместе с кораблем пошли ко дну около семисот матросов и большая часть офицеров команды; в числе немногих спасенных оказался кузен царя – Вел. кн. Кирилл Владимирович. Потеря «Петропавловска» явилась национальной скорбью. «Целый день не мог опомниться от этого ужасного несчастья», – записал в своем дневнике государь. Но в петербургских гостиных уже пошла гулять издевательская шутка, что Вел. кн. Кирилл не утонул благодаря тому, что научился хорошо плавать в «Аквариуме» – популярном ночном кабаре. Но, несмотря на дурные новости с фронта, светская жизнь в столице продолжалась с прежней пышностью, только что гала-вечера назывались теперь благотворительными, на балах проводились лотереи в пользу раненых, а несколько гранд-дам, по примеру императрицы, заводили склады амуниции для новобранцев, где работали с подругами. 6 апреля Николай записывает в своем дневнике: «Аликс пошла первый раз в склад».

18 апреля 1904 года 1-я императорская японская армия форсировала реку Ялу и вынудила русских оставить позиции у Тюренчена. Несколько дней спустя японцы высадились на полуострове Ляодун и осадили Порт-Артур. Таким образом гарнизон города, состоявший из двух пехотных дивизий, был отрезан от остальных русских сил – так называемой Маньчжурской армии, которая по приказам Куропаткина по-прежнему концентрировалась в каких-нибудь двух сотнях километров от театра военных действий. Подкрепления подходили медленно: однопутная Транссибирская дорога пропускала три-четыре пары поездов в сутки (потом – до восьми пар). В ожидании подхода сил, достаточных для деблокирования Порт-Артура, Куропаткин пытался сдерживать продвижение противника чередою нерешительных стычек – бои у Вафангоу, Дачичао, Кайчена… Эти кровавые схватки деморализовали русских солдат, которые все более страдали оттого, что их посылали сражаться вдали от родины, за дело, смысл которого им не дано было понять. Напрасно Куропаткин устраивал все новые молебны со святыми образами и хоругвями, напрасно повторял он: «Терпение, терпение и терпение, господа!»[89]

Поражения на фронтах разжигали недовольство масс в тылу. Витте заявил: «Россия не может воевать. Она может воевать только тогда, если неприятель вторгнется в сердце ее».[90] Революционеры активизировались все больше и больше – 15 июля министр Плеве, ехавший в карете на вокзал для ежедневного доклада государю, был разорван бомбой, брошенной террористом Сазоновым. В этот день император записал в своем дневнике: «Утром П.П. Гессе (дворцовый комендант. – *Прим. автора*) принес тяжелое известие об убийстве Плеве брошенною бомбою в Петербурге, против Варш[авского] вокзала. Смерть была мгновенная. Кроме него, убит его кучер и ранены семь чел[овек], в том числе командир моей роты Семеновского полка кап[итан] Цветинский – тяжело. В лице доброго Плеве я потерял друга и незаменимого министра внутренних дел. Строго Господь посещает нас своим гневом. В такое короткое время потерять двух столь преданных и полезных слуг! (Плеве и Сипягина. – *Прим. автора*.) На то Его святая воля!.. Обедали на балконе – вечер был чудный». Чтобы на время расследования происшествия на месте повернуть экипажи на другой маршрут, рядом с воронкой, оставшейся на месте взрыва, был повешен фонарь; проезжая мимо этого сигнала, кучера посмеивались, зеваки хихикали в кулак, и даже в высшем обществе никто ничуть не сожалел об убиенном. Приглашенный на воинский обед в Красное Село Морис Бомпар пишет: «Собрание было оживленным, весьма приятным и вполне

бонтонным. На нем сплетничали о тысяче светских историй. Ни единого слова о позавчерашнем покушении… Графиня Клейнмихель, устраивавшая этот обед и возвратившаяся вечером с нами в Петербург, не могла скрыть своего раздражения тем, что столь значительное событие не было удостоено ни словца. А все почему? Потому что Плеве был простым функционером, чиновником, судьба которого недостойна внимания столь высокопоставленного общества. Да убережет их Господь и нас тоже от кары, которой заслуживал бы подобный снобизм!» А Суворин заносит в свой дневник: «На днях был у Витте. Яростно говорил о Плеве. „Зачем о нем пишут? Отчего не пишут о кучере?“ – кричал он».[91]

Две недели спустя, когда скорбь по убиенному уже давно рассеялась, в жизни Николая наступило наконец радостное событие: 30 июля 1904 года его дражайшая половина, милая Аликс, разрешилась от бремени наследником мужского пола, которого вся страна ждала уже десять лет. Новорожденного назвали Алексеем. «Незабвенный великий для нас день, в который так явно посетила нас милость Божья», – записал в этот день царь. Младенца окрестили в присутствии двора – мужчины в парадных мундирах, дамы в платьях со шлейфами, расшитыми золотом и серебром; по такому случаю они надели на себя все драгоценные украшения. Во главе процессии – обер-гофмейстерина несет на подушке тщедушного царевича, надежду всей России. Еще в колыбели он был произведен в гетманы казачьих полков. В гостиных – радость с оттенком строгости; чтобы не омрачать этих дней всеобщего веселья, дурные новости с фронта велено было прятать на последние полосы газет. Суворин негодует: «„Новик“ японцы потопили у Сахалина. Это лучший наш крейсер. Не объявляют по случаю радости крещения. В царские дни несчастья и поражения не признаются. Им хорошо во дворцах и поместьях… Что им русские несчастья!»[92] И чуть ранее: «Сегодня мебельщик Михайлов говорил мне: „Еду с дачи по железной дороге. Разговор о новорожденном наследнике. Радуются. Вдруг какой-то господин очень громко говорит: „Странные какие русские. Завелась новая вошь в голове и будет кусать, а они радуются“. Все разом так и притихли. До чего вольно разговаривают, так просто удивительно“».[93]

В самом же императорском доме к счастью прибавления в семействе примешалась жестокая тревога. С первых же дней жизни наследника создалось впечатление, что он болен гемофилией. Придворные врачи просветили Их Величеств насчет этой странной болезни, вызываемой дефицитом факторов свертываемости крови – этот недуг передается женщинами, но

болеют, за редкими исключениями, мужчины, и эффективного средства от этой болезни не найдено. Но ряд выдающихся практикующих светил утверждают, что всегда можно ожидать ремиссии. Отчаявшаяся царица чувствовала себя ответственной за то проклятие, которое передалось ее сыну, и окружила его удвоенною нежностью и заботой. «Без всякого сомнения, – заметила кузина царя, Вел. кн. Мария, – родители были тут же предупреждены о болезни сына, и никому и никогда не узнать, какую боль вызвал в них этот ужасный факт».

* * *

Ну а за тысячи верст от этой семейной драмы с неумолимою закономерностью развивалась военная драма России. 28 июля оставшиеся корабли русского флота предприняли попытку вырваться из Порт-Артура и следовать во Владивосток, но были атакованы японцами и принуждены были вернуться назад, понеся большие потери; при этом прямым попаданием снаряда в рубку флагманского броненосца «Цесаревич» был убит командующий эскадрой адмирал В.К. Витгефт. Через три дня после этого боя, 1 августа, владивостокская эскадра, вышедшая навстречу порт-артурской, встретила в Корейском проливе превосходящие силы адмирала Камимура и потерпела тяжкое поражение. Всего было выведено из строя 11 русских крейсеров, броненосцев и миноносцев; моря Дальнего Востока перешли под исключительный контроль противника. Что же касалось сухопутных сил, то они не предпринимали более усилий по деблокированию Порт-Артура, но, напротив, медленно отступали к северу.

В ходе этой прискорбной маньчжурской кампании различные русские штабы находились в постоянном соперничестве. Высшее начальство жило в комфорте, особенно кричащем по сравнению с убожеством жизни солдат. Каждый офицер имел в среднем трех ординарцев; у каждого из командиров армейских корпусов был специальный поезд. Особенно великолепным был поезд адмирала Алексеева, наместника Дальнего Востока, – там были и вагон-ресторан, и вагон-салон, и спальные вагоны, где он празднично размещался со своими многочисленными помощниками. Этот роскошный состав отправлялся в путь лишь изредка и никогда – ночью. Коль скоро адмирал не любил, чтобы его сон нарушался свистками локомотивов и стуком колес, с момента, когда он ложился спать, всякое движение на линии прекращалось. Составы с войсками, вооружением, провиантом – все застывало

блокированным у семафоров, пока Его Превосходительство не изволит проснуться. «Алексеев – это злой демон России, – писал Суворин 16 июля. – А царь за него держится, не хочет лишить своего доверия. А что с Россией будет – это ему все равно».[94] Когда Алексеев все же был смещен и на его место назначен Куропаткин, тот, в свою очередь, также потребовал себе специальный поезд.

В августе 1904 г. развернулось широкомасштабное и кровавое сражение под Ляояном, где закрепились русские войска. Силы той и другой стороны были приблизительно равными. После неудавшихся фронтальных атак японцы под командованием генерала Куроки обошли левый фланг Куропаткина, вынудив русских покинуть свои позиции и отступить к Мукдену. «Тяжело и непредвиденно!» – записал в своем дневнике царь. Но все же он не падал духом и был решительно настроен продолжать войну, «пока последний японец не будет изгнан из Маньчжурии». Слушаясь безумных советов Вильгельма, он созвал министров и принял решение о посылке на Дальний Восток эскадры кораблей Балтийского флота под командованием адмирала Зиновия Рожественского.[95] Этот рискованный проект вызвал страх у советчиков царя. Они робко попытались объяснить ему, что новой эскадре, сформированной из кораблей самых разных типов и очень различающихся в скорости, вынужденной ввиду невозможности пополнять запасы в нейтральных портах тащить с собою транспорты с припасами и углем, придется огибать Европу, Африку и часть Азии, прежде чем она прибудет к месту назначения. Но царь упорствовал. Он все более и более возлагал все свои надежды на Господа, который не мог отвернуться от России. Одержимый неким мистическим фатализмом, он не ведал – или делал вид, что не ведал, – об ответственности людей, которые проводили его политику. Отстояв заупокойную службу по незабвенному родителю, Николай пишет: «10 лет уже прошло, скорее пролетело, со дня его горестной кончины. Как все сложилось, как все труднее стало. Но Господь милостив, после испытаний, ниспосланных Им, наступят спокойные времена!!!» Да и как ему было не верить в лучшее – ведь сам Серафим Саровский предсказывал, что победоносный мир будет заключен нами в Токио![96]

Чтобы внести спокойствие в страну, которую опасно будоражили сводки с фронта, Николай задумался над тем, чтобы дать обратный ход брутальным методам, которые еще недавно употреблялись Плеве. Может быть, принимая во внимание обстоятельства, лучше будет приласкать оппозицию, погладив по шерстке? Изменив тактику, он вверил портфель министра

внутренних дел князю Петру Святополку-Мирскому, человеку умеренному по характеру, в прошлом заместителю Сипягина, уволенному с назначением Плеве за несогласие с его идеями. На первой же аудиенции у государя Святополк-Мирский заявил ему о своем намерении примирить правительство с обществом, пойдя навстречу законным желаниям умеренных слоев и национальных меньшинств. Наученный горьким опытом, который он познал в бытность Плеве министром, Николай принял принцип этой дружеской позиции верховной власти. Он надеялся путем ряда осторожных уступок спасти основную догму самодержавия. Но сама благосклонность нового министра приободрила оппозицию вместо того, чтобы усыпить ее. Стоило Святополку-Мирскому заявить о своих намерениях – снять с должностей ряд помощников Плеве, смягчить цензуру, амнистировать многих политических заключенных, – как интеллектуалы и земства возжелали не почетного компромисса с властью, но абсолютной победы. С августа земские деятели начали подготовку к съезду, имевшему целью направление петиции царю. 17 сентября Союз освобождения, включавший наиболее передовые элементы этого движения, решил развернуть осенью кампанию банкетов в крупных российских городах в поддержку съезда земцев. Этот съезд состоялся 6–9 ноября в Санкт-Петербурге – «из предосторожности собирались каждый раз в новом месте»[97] – и принял резолюцию из 11 статей – истинную настольную книгу русского либерализма: были выдвинуты требования неприкосновенности жилища, личной свободы, свободы совести, свободы слова, свободы печати, свободы собраний и ассоциаций, гражданского равенства, расширения полномочий земств… Одновременно с этим публичные банкеты, также организованные Союзом освобождения, развивали эти идеи в еще более радикальном смысле.

С 30 сентября по 9 октября в Париже происходили совещания оппозиционных и революционных партий Российского государства. Помимо Союза освобождения и социалистов-революционеров, в нем участвовали польские, латышские, армянские, грузинские и финские радикалы. Каждая из этих групп сохраняла свои собственные методы борьбы, но все сосредоточились на одной цели: на конференции были вынесены резолюции об уничтожении самодержавия и замене его «свободным демократическим строем на основе всеобщей подачи голосов», а также о «праве национального самоопределения» народностей, населяющих Россию.

Святополк-Мирский, который поначалу было тешился мыслью, что именно ему дана власть «освежить атмосферу»,

начал думать, что явился слишком поздно, чтобы предотвратить катастрофу. Тем более что внешние события отнюдь не могли служить сдерживанию умов. Едва эскадра Рожественского вышла в море 28 сентября 1904 года, как вскоре оказалась в центре серьезного международного инцидента: проходя в ночь с 8 на 9 октября Северное море близ Доггер-банки, эскадра открыла огонь по английским рыболовецким судам, которые в темноте были приняты за японские миноносцы. Итог: двое убитых, одно судно затонуло. Этот неуклюжий жест породил взрыв негодования в английской прессе. И что же? Вместо того чтобы принести извинения, царь заартачился. Не по вкусу пришлось ему «дерзкое поведение Англии», как он сам охарактеризовал ее действия в своем дневнике. Уже ожидали вступления в войну Англии на стороне японцев, но, к счастью, благодаря усилиям министра иностранных дел В.Н. Ламздорфа, дружественному вмешательству Франции и миролюбивому настроению Эдуарда VII конфликт был урегулирован арбитражной комиссией в Париже. «Паршивые враги наши сразу сбавили спеси и согласились», – вот что писал Николай об англичанах. Международная следственная комиссия присудила взыскать с России 65 тысяч фунтов стерлингов.

Едва улеглись эмоции вокруг этого дела, как вспыхнули новые: 9 ноября земцы принесли Святополку-Мирскому декларацию, выработанную в ходе заседаний. Одиннадцать предводителей дворянства поддержали это требование, объясняя в меморандуме, что принцип самодержавия, освященный веками истории, должен поддерживаться лишь на условиях участия выборных представителей в законодательной работе. Генеральша Богданович тут же заносит в свой дневник следующий злопыхательский анекдот: «Спрашивают: что за шум? Чего хотят эти люди? Ответ: они хотят конституции, хотят ограничения монархии. А почему вдруг такое желание? Разве у нас целых десять лет не было ограниченного монарха?» Куда горше тон записей Суворина: «Самодержавие давно стало фикцией. Государь сам находится во власти других, во власти бюрократии и не может из нее вырваться». (21 августа.) «Милость царская дороже общей пользы (льстецам придворным)… Государь, станьте частным лицом в государстве нашем и спросите самого себя: что бы Вы произвели на нашем месте, когда бы подобный Вам человек мог располагать Вами по своему произволу, как вещью?» (27 августа.) «Святополк-Мирский, говорят, благородный и хороший человек. Но именно поэтому он ничего не сделает. Надо быть умным и дальновидным». (17 августа.)[98]

Студенты снова подняли голову и потребовали прекращения

войны и созыва Учредительного собрания. Вел. кн. Алексей Александрович – брат Александра III, генерал-адмирал, – попал на улице в кольцо прохожих, кричавших: «Верните наш флот!» В Москве на концерте Собинова зрители освистали гимн «Боже, царя храни»; с галерки разбрасывались революционные листовки. В начале декабря Николай принял предводителя московского дворянства, князя Петра Трубецкого, который подтвердил существование пропасти между государем и его народом и убеждал его принять во внимание меморандум, представленный одиннадцатью предводителями дворянства. На это возмущенный Николай вскричал: «Мужик конституцию не поймет, а поймет только одно, что царю связали руки, и тогда – я вас поздравляю, господа».[99]

После этого разговора Трубецкой написал Святополку-Мирскому: «Отныне Россия вступила в пору революции и анархии… Если бы император захотел просто собрать вокруг себя лояльные ему силы и позволить им высказать все, что накипело на сердце, Россия могла бы быть избавлена от всех угрожающих ей кровавых ужасов».

Между тем Святополк-Мирский, верный своему обещанию, представил царю резолюцию из 11 пунктов и высказал предложение ввести в Государственный совет делегатов, избранных провинциальными организациями. По его словам, это будет лишь первый шаг, который «лишь через десять-двадцать лет» сможет привести к конституции. В начале декабря у государя состоялось совещание высших сановников и Великих князей. С самого начала скромное предложение Святополка-Мирского о необходимости привлечения общественных деятелей в Государственный совет натолкнулось на возражения престарелого Победоносцева, который заявил: мол, религия запрещает царю изменять устои своей власти. Со своей стороны министр финансов Коковцев и министр юстиции Николай Муравьев критиковали проект с финансовой и юридической позиций. Напротив, Витте заявил, что реакционный путь приведет к несчастью, так как существующий режим осуждается всеми общественными классами.

Второе заседание открылось 8 декабря. Участвовали дяди царя, Вел. князья Владимир Александрович, Алексей Александрович и Сергей Александрович. Создавалось впечатление, что Николай посмеивался над мнением своего министра внутренних дел и приказал подготовить указ согласно первоначально предложенной редакции за исключением «некоторых при нем перемен». Но в течение трех последующих дней государь советовался с самым реакционным из своих

родственников – Вел. кн. Сергеем Александровичем, который наставлял его не слишком проявлять слабину перед требованиями либералов. Когда 11 декабря Витте приехал в Царское Село, чтобы представить окончательный текст указа, он застал императора в компании с этим ужасным «дядюшкой Сергеем». Его Величество со всею присущею ему любезностью обратился к Витте со следующими словами:

«Я указ этот одобряю, но у меня есть сомнение только по отношению одного пункта». (Это именно был тот пункт, в котором говорилось о необходимости привлечения общественных деятелей в законодательное учреждение того времени, а именно, Государственный совет.)

В ответ на предложение государя «совершенно откровенно» высказать ему свое мнение по этому пункту Витте ответил, что этот указ, и в том числе спорный пункт, составлен под его непосредственным руководством. «Если Его Величество, – писал далее Витте, – искренно, бесповоротно пришел к заключению, что невозможно идти против всемирного исторического течения, то этот пункт в указе должен остаться; но если Его Величество, взвесив значение этого пункта и имея в виду… что этот пункт есть первый шаг к представительному образу правления, со своей стороны находит, что такой образ правления недопустим, что он его сам лично никогда не допустит, то, конечно, с этой точки зрения осторожнее было бы этот пункт не помещать». Услышав эти слова, Его Величество посмотрел на Великого князя, который был явно доволен ответом Витте, и заявил: «Да, я никогда, ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо считаю его вредным для вверенного мне Богом народа, и поэтому я последую вашему совету и этот пункт вычеркну».[100]

Таким образом, из указа «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» было выхолощено самое существенное положение. Акт, опубликованный на следующий день – 12 декабря 1904 года, – касался только необходимости установить веротерпимость (в частности, в отношении религиозных сект) да провинциальных школ. Более того, в тексте указа отмечалось, что Его Величество намерен «сохранять в неприкосновенности основные законы империи». Вприбавок к сему «Правительственный вестник» опубликовал отповедь царя черниговскому земству, собрание которого приняло «конституционную» резолюцию, направленную черниговским предводителем дворянства непосредственно государю по телеграфу. «Нахожу этот поступок дерзким и бестактным, – собственноручно начертал на телеграмме

государь. – Заниматься вопросами государственного управления – не дело земских собраний, круг занятий которых ясно очерчен законом».[101]«Тяжелое и нехорошее впечатление, – скорбит Суворин. – Это повторение знаменитого выражения „бессмысленные мечтания“. Витте, у которого я был сегодня, говорит, что он был против публикации этого».[102]

Реакция не заставила себя ждать. Бросая вызов торжественному осуждению, сформулированному Николаем, московское земство объявило о своей солидарности с черниговским. Затем тверское дворянство направило телеграмму с одобрением действий протестующих собраний. Агитация докатилась и до стен университетов: в Москве студенты объявили забастовку, вторглись в конторы газет, залы земской и городской управ, побили окна в доме генерал-губернатора… По улицам двинулись манифестации под красными полотнищами с лозунгами, требующими прекращения войны. Они разгонялись жандармами, лихо наносившими удары саблями плашмя. Интеллигенция устраивала в Санкт-Петербурге, Москве, во всех крупных городах российской провинции бурные банкеты. На одном из московских банкетов на 600 персон все собравшиеся горланили в едином порыве: «Долой самодержавие!» «Похоже, что царя не существует», – отметила мадам Богданович.

В этом климате лихорадки и смуты громом разорвалась весть о капитуляции Порт-Артура. В течение одиннадцати месяцев гарнизон героически отбивал все новые и новые атаки численно превосходящих сил врага. Но после того, как 2 декабря при взрыве японского фугаса был убит лучший из руководителей обороны, ее душа – генерал Р.И. Кондратенко, его место занял генерал Стессель. Его тоже величали как национального героя. Однако 19 декабря 1904 года, сочтя ситуацию безнадежной, Стессель послал к японцам парламентеров о сдаче.[103] Это явилось актом слабодушия – у гарнизона еще оставались и живая сила, и запасы для сопротивления. В эти дни Николай проводил смотр войск, отправлявшихся в поход. «21-го декабря. Вторник. Получил ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники – все герои и сделали более того, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья! В 10 час. подъехали к станции Березина… Оттуда поезд пошел к станции Бобруйск… и в 12 ½ отправился по направлению к Минску». И 10 дней спустя: «31-го декабря. Пятница. Мороз увеличился, была вьюга. После завтрака поехали в Софийский собор на панихиду

по убитым и погибшим в Порт-Артуре. В 4 часа были на елке в местном лазарете… Обедали у Мама́».

Списки погибших занимали все большее место в столбцах газет. В потрясенном неслыханным унижением народе раздавались все более многочисленные голоса против бездарных генералов, против коррумпированных Великих князей, а через них – и против царя. Даже высшее общество осуждало смирение Николая перед несчастьем, потрясшим Россию. «Депеша о капитуляции Порт-Артура была получена царем на станции Боровичи, во время пути, – отмечает Ея Превосходительство госпожа Богданович 25 декабря 1904 года. – Новость, которая удручила всех, любящих свое отечество, царем была принята равнодушно, не видно было на нем и тени грусти. Тут же начались рассказы Сахарова (военного министра), его анекдоты, и хохот не переставал. Сахаров умеет забавлять царя. Это ли не печально и не возмутительно!» И 28 декабря: «Штюрмер (политический деятель, оппонент Святополка-Мирского. – *Прим. А. Труайя*) сегодня прямо говорил, что царь болен, его болезнь – бессилие воли; он не может бороться, всем уступает, а в эту минуту вырывает у него уступки самый ловкий во всем мире человек – Витте».

… Потеря Порт-Артура не подвела итог войне. На сопках Маньчжурии продолжались смертельные схватки за абсурдное дело, по морям по волнам медленно продвигалась вперед эскадра Рожественского, а за много тысяч верст от всего этого Николай молился за то, чтобы Господь обратил наконец свои взоры к России.

Глава седьмая
Кровавое воскресенье

В субботу вечером 1 января 1905 года Николай, склонившись над страницами своего дневника, прилежно записывает: «Да благословит Господь наступивший год, да дарует Он России победоносное окончание войны, прочный мир и тихое, безмятежное житие!.. Погулял. Отвечал на телеграммы. Обедали и провели вечер вдвоем. Очень рады остаться на зиму в родном Царском Селе».

Затворившись в своей любимой резиденции, царь ведет там спокойную, безмятежную жизнь: бывает на офицерских собраниях различных полков, расквартированных поблизости, принимает прибывающих из столицы министров, совершает прогулки пешком или на «моторе»; ну, а большую часть своего времени посвящает семейным радостям. В Петербург наезжает только для выполнения своих высочайших обязанностей и на краткое время. Так, 6 января государь, по давно заведенной традиции, участвует в обряде водосвятия на Неве по случаю праздника Крещения Господня – и тут произошел странный случай: одно из орудий батареи, производившей салют с Петропавловской крепости,[104] вместо холостого заряда выстрелило картечью. «Один городовой был ранен. На помосте нашли несколько пуль; знамя Морского корпуса пробито», – отметил царь; было разбито также несколько стекол в окнах Зимнего дворца. Сам же государь, находившийся в павильоне на набережной Невы, остался невредим: в этот раз пуля миновала… В царском окружении заговорили о покушении, но проведенное расследование показало, что дело всего лишь в преступной халатности: пушку забыли разрядить после проводившихся накануне маневров… И без того день богат событиями, а надо еще принимать послов и посланников! В 4 часа того же дня государь заспешил обратно в Царское: отсидеться бы здесь подольше, подальше от протокольных церемоний!

Но именно в Санкт-Петербурге его присутствие было необходимо более всего. На следующий же день после падения Порт-Артура рабочих окраины охватило возмущение. С 3 января 1905 года бастовали мастерские Путиловского завода; четыре дня спустя остановились еще 382 предприятия. 8 января число бастующих достигло 150 тысяч – выдвигались требования 8-часового рабочего дня и улучшения санитарных условий. В листовках, издававшихся большевистской секцией социал-демократов, помещались призывы требовать также политических

и профсоюзных свобод, учреждения в России демократического режима. В гуще этой туманной агитации некий поп Георгий Гапон, священник церкви при Пересыльной тюрьме, выдвинул идею мирного рабочего шествия к Зимнему дворцу с целью поведать царю о горестях его самых ничтожных подданных. В действительности этот молодой, тридцатидвухлетний священник украинского происхождения был прекрасно известен полиции. На него, агента-провокатора, была возложена задача по проведению в жизнь патерналистской программы, задуманной Зубатовым и пережившей опалу своего автора.[105] Задача эта заключалась в том, чтобы под предлогом борьбы за социальный прогресс объединять рабочих в безобидные организации, где их подрывной пыл окажется под строгим контролем. В этом духе Гапон создал мощное «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», в котором насчитывалось уже 25 тысяч членов. Гапон электризовал их своим бурным красноречием и пророческим блеском в глазах. Какую цель преследовал он, сзывая на грандиозную манифестацию в воскресенье 9 января? Действительно ли он искренне предполагал разжалобить власти зрелищем почтительной и дисциплинированной толпы? Или же, напротив, рассчитывал на насильственный ответ властей с тем, чтобы решительно дискредитировать царя в глазах нации? Или, что вероятнее всего, он действовал при подстрекательстве полиции с целью спровоцировать аресты вожаков и тем прекратить существование организации, которая, как считалось, была под его патронажем? Вполне возможно, что в голове этой тщеславной, взбалмошной, экзальтированной особы, возжаждавшей освободительного взрыва, смешались все три означенных мотива; этот галлюцинированный демагог уже мнил себя посредником между государем и народом. 8 января он адресовал Николаю обращение, заявлявшее о своих намерениях:

> *Государь!*
>
> *Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы – родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент,*

когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы не многого просили, мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука. Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Но в этом нам отказали – нам отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что такого права за нами не признает закон.

… Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть – умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты – эксплуататоры рабочего класса и чиновники – казнокрады и грабители русского народа. Вот что стоит перед нами, государь, и это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение. Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь. Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собой. Ведь ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивай его помощь, прими ее, повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих…

Далее следовали требования:

Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки.

Немедленное объявление свободы и

неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.

Общее и обязательное народное образование на государственный счет.

Ответственность министров перед народом и гарантия законности правления.

Равенство перед законом всех без исключения.

Отделение церкви от государства…

Затворившись, как и обычно, в Царском Селе, Николай и мгновения не помыслил о том, чтобы снизойти до мольбы этого кликушествующего попа и вернуться в Санкт-Петербург. Сама императрица советовала ему удвоить свою непреклонность перед всей этой чернью, которая еще смеет лезть с запросами к престолу! Кстати сказать, петербургский градоначальник Фулон отозвался более чем формально: «Поп уладит все!» И впрямь, принимая вечером 8 января делегацию социалистов, Гапон убеждал их не разворачивать красные знамена, чтобы характер шествия выглядел абсолютно миролюбивым.

Несмотря на эту успокаивающую информацию, новый министр внутренних дел Святополк-Мирский опасался вспышки насилия. На созванном в спешном порядке в отсутствие царя совещании министров он выступил с предложением, чтобы кто-нибудь из членов царской семьи взамен Его Величества принял от Гапона петицию. Предложение было сочтено нереалистическим, и правительство предпочло показать кулаки. Ночью в город были стянуты войска, чтобы преградить путь манифестантам. Петербург быстро превратился в укрепленный лагерь. По всем улицам дефилировали кавалеристы, пехотинцы, ездили военные санитарные повозки и полевые кухни. Тут и там солдаты грелись у жаровен, а рядом стояли пирамиды из винтовок – ведь команда «В ружье!» могла прозвучать в любой момент. Эмиссары предупреждали Гапона об этих тревожащих приготовлениях. Он – ноль внимания. Прожженный каналья готов был поставить на карту все.

На заре воскресного дня 9 января 1905 года рабочие стали собираться в помещениях «Собрания русских фабрично-заводских рабочих», где ораторы зачитывали им текст злосчастной петиции:

… Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом.

Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу…

… Свобода потребительско-производственных и

профессиональных рабочих союзов – немедленно.

8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.

Свобода борьбы труда с капиталом – немедленно.

Нормальная заработная плата – немедленно.

Непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих – немедленно.

«Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе; лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей Родины от рабства и нищеты, возможно ее процветание, возможно рабочим организоваться для защиты своих интересов от наглой эксплуатации капиталистов и грабящего и душащего народ чиновничьего правительства. Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена, а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу… Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно приносим ее.

Священник Георгий Гапон

Рабочий Иван Васимов».[106]

С каждой минутой толпа все прибывала… Теперь уже, помимо рабочих в воскресных одеждах, в ней можно было увидеть интеллигентов при пенсне, зябких студентов, буржуа в мехах. Десятки тысяч человек… Гапон, поглаживая темную шелковистую бородку и сверкая фанатичным светом очей, приказал принести из соседних храмов святые образа и хоругви и снять большой царский портрет в золоченой деревянной раме, висевший в зале собрания. Двое мужчин, взяв портрет, заняли место во главе процессии – и бормочущая толпа двинулась по направлению к Зимнему дворцу. Стоял морозный солнечный день; снег хрустел под ногами. На подступах к Нарвским воротам манифестанты натолкнулись на военных, преградивших им путь. Офицер приказал им разойтись. Но те, вместо того чтобы повиноваться, только теснее сплотили свои ряды. Тогда на манифестантов, обнажив сабли, бросились кавалеристы. Сбитые с ног мужчины,

женщины, дети валились под конские копыта. Из толпы раздались крики: «Что же вы делаете! Стыд и позор! Мы не японцы! Дезертиры из Маньчжурии, убирайтесь вон!» Нападавшие промчались через всю толпу насквозь и вернулись назад. Пехотинцы, расступившись, чтобы пропустить кавалеристов, затем перестроились в шеренгу и взяли ружья на плечо. Но рабочие продолжали наступать; тогда прозвучал сигнал горна – и тут же воздух сотряс залп. Толпа дрогнула, люди выкрикивали проклятья, жестикулировали, многие пустились наутек – и падали, на всем бегу настигнутые пулями. На снегу остались сотни тел; рядом лежали пробитые свинцом святые образа и хоругви. Гапон исчез – приверженцы затащили его в закоулок, обрезали ему волосы и бороду, переодели в одежду рабочего и подготовили его отъезд за границу. Находясь под защитой полиции, он добрался до Парижа, где жил на широкую ногу благодаря субсидиям, выплачиваемым ему секретным агентом. [107] Вернувшись в конце 1905 года в Петербург, Гапон предложил продать властям планы действий террористов; те про то прознали. Разоблаченный в своем предательстве, Гапон будет повешен в мае следующего года социалистами-революционерами – полиция найдет его почерневший труп подвешенным за шпингалет в заброшенной дачке в Озерках близ Петербурга.

4 января генеральша Богданович отмечает: «Говорили, что священник Гапон, который организует здесь „союзы рабочих“, – темная личность». А вот запись от 9 января: «Господи! В эту минуту в Петербурге творится ужасное: войска – с одной стороны, рабочие – с другой, точно два неприятельских лагеря». И в самом деле, результатом этой кровавой бойни безоружных людей, прозванной «второй Ходынкой», явилась глубокая пропасть между царем и его народом. Ходили разговоры о тысячах жертв.[108] Как может царь после этого претендовать называться «батюшкой», защитником обездоленных?! Вековое обаяние, объединявшее династию Романовых и народные массы, оказалось непоправимо утраченным. За рубежом новость об этой бессмысленней мясорубке вызвала вспышку негодования всех либеральных слоев. В Англии депутат от лейбористской партии Джеймс Рамсей Макдональд[109] назвал русского царя преступником против общественного права и кровавой тварью. Сам Вел. кн. Павел Александрович, оказавшись в Париже, заявил Морису Палеологу: «Но почему же мой племянник не принял делегатов от забастовщиков? В их отношении не было ничего мятежного. Весь день я молил Бога, чтобы не пролилось ни капли крови, а кровь пролилась потоками. Это непростительно, как и непоправимо!»

Однако сам Николай в привычном для него духе не

соизмерил важности происшедшего. Впрочем, у него был предлог не появляться в столице: после инцидента, случившегося во время водосвятия, службы безопасности рекомендовали ему быть осторожным вдвойне… С другой стороны, он считал унизительным для самодержца, чтобы организация каких-то рабочих смела беспокоить его просьбами. Очевидно, он мог бы поручить кому-либо из министров или членов императорской семьи принять от имени своего величества петицию рабочих. Но он не изволил о том подумать, и никто из его окружения не посоветовал ему сделать это. В любом случае он не считал себя ответственным за всю эту суматоху, которую недруги называют «бойней» и которую он сам считал просто стычкой между силами порядка и бунтовщиками; вечером того же дня он записал в свою тетрадь: «9-го января. Воскресенье. Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мама́ приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми, гулял с Мишей. Мама осталась у нас на ночь». И назавтра, как ни в чем не бывало: «Принял депутацию уральских казаков, приехавших с икрой. Гулял. Пили чай у Мама́».

В этот же день, 10 января, чтобы восстановить порядок в Петербурге, Николай решил назначить Дмитрия Трепова (ранее московский обер-полицмейстер) на специально для этого созданный пост петербургского генерал-губернатора. «В Петербурге на это назначение посмотрели без восторга, – записала на следующий день мадам Богданович. – В Москве он был непопулярен, нелюбим, но признают, что он тверд, что его скоро убьют». Жить ему и впрямь оставалось чуть более года, только Господь смилостивился, позволив ему умереть своей смертью. Грубый, энергичный солдафон, страстно преданный престолу, Трепов рекомендовал государю принять депутацию петербургских рабочих. Этих рабочих общим числом 34 полиция тщательно отобрала по фабрикам и заводам из самых благонадежных; настоящим образом проинструктировав их, как они должны себя вести в присутствии Его Величества, рабочих привезли 19 января в Царское Село, представив перед светлыми очами государя, каковой обратился к ним со строгой и наставительной речью.

«Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей родины, – сказал самодержец. – Призывая вас идти подавать мне прошение о нуждах ваших, они поднимали вас на бунт против меня и моего правительства… Стачки и мятежные

сборища только возбуждают безработную толпу к таким беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы. Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Многое надо улучшить и упорядочить, но имейте терпение. Вы сами по совести понимаете, что следует быть справедливым и к вашим хозяевам и считаться с условиями нашей промышленности. Но мятежною толпою заявлять мне о своих нуждах – преступно… Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их».[110]

После этой строгой отповеди император задал рабочим несколько вопросов и велел подать им чаю с бутербродами. Когда делегаты возвратились по своим фабрикам, иных из них товарищи тоже на славу угостили – тумаками и колотушками… Тем не менее Трепов остался восхищен результатом. Что же касается императрицы, то ее волновали не столько убитые и раненные 9 января, сколько родной супруг. Вот что писала она своей сестре, принцессе Баттенбергской: «Бедный Николай несет тяжкий крест, который тем тяжелее, что нет никого, на кого он мог бы полностью положиться и кто бы ему по-настоящему помог… Он так изнуряет себя, работает с таким упорством, но нам чрезвычайно недостает тех, кого можно было бы назвать „истинными мужами“. Я на коленях молю Бога даровать мне благоразумие найти одного из таких мужей – а мне все не удается, я в отчаянии! Один слишком мягок, другой слишком либерален, третий слишком слаб умом, и так далее… Тяжесть ситуации заключается в мерзостном отсутствии патриотизма, когда мы находимся в разгаре войны, когда звучат революционные идеи. Бедные рабочие, которые были введены в заблуждение, пострадали, а вожаки, как обычно, попрятались за их спины. Не верьте всем этим ужасам, о которых рассказывают зарубежные газеты! От их тошнотворных преувеличений волосы дыбом становятся. Увы, это так – войска вынуждены были стрелять. Толпе неоднократно приказывали отступить; она знала, что Ники нет в городе (поскольку мы проводим зиму здесь)[111] и что войска будут вынуждены стрелять. Но никто не хотел слушать – отсюда и пролитая кровь… Санкт-Петербург – испорченный город, в нем нет ни одного русского атома.

Русский народ глубоко и искренне предан своему самодержцу, а революционеры прикрываются именем царя, чтобы настроить людей против собственников и т. д., я даже не знаю, как! Я хотела бы быть умницей и стать ему настоящей помощью. Я люблю мою новую страну, она так молода, так могуча, и в ней столько доброго; она только совершенно взбалмошна и

инфантильна. Бедный Ники, он ведет грустное и тягостное существование. Если бы здесь был его отец, который умел видеть множество людей и удерживать их подле себя! Тогда у нас был бы выбор, кем заполнить нужные посты. Но в настоящее время не к кому обратиться! Вокруг или глухие старцы, или желторотые юнцы. Дядья не стоят и гроша!»[112]

Александра Федоровна все более чувствовала себя призванной воздействовать на решения своего благоверного. Она хотела всеми фибрами души верить в существование глубокой и тихой России, которая, несмотря на всю эту внешнюю накипь, преданно привязана к своему государю. Но похоже, слова, обращенные ее венценосным супругом к «добрым рабочим», никого не утихомирили: забастовки распространились из Петербурга на все индустриальные центры страны, особенно на приграничные регионы. Полиция днем и ночью не смыкала глаз. Террористические покушения сделались в порядке вещей. Даже интеллектуалы, пресытившиеся бесплодными потугами бездарного государства, отказались от своего пацифистского образа мышления и более не осуждали терроризм. «Кровавое воскресенье» в один день объединило всех оппозиционеров режиму – от экстремистов до умеренных. В конце января 16 членов Академии наук и более 300 университетских профессоров подписали манифест, заканчивающийся утверждением, что «свобода науки несовместима с современным российским социальным режимом». Адвокаты приняли решение об организации «профессионального союза», близкого всем революционным группировкам, с целью подготовки умов к идее конституции. По их примеру вскоре другие «профессиональные союзы» объединили служащих железных дорог, инженеров, литераторов… Эти различные ассоциации объединились в «Союз союзов». Несмотря на тиранию цензуры, газеты всех направлений оттачивали языки, критикуя режим. Даже консервативная газета «Русь» Суворина-младшего писала, что интересы государства требуют смены учреждений.

4 февраля 1905 г., в Москве взрывом бомбы был убит Вел. кн. Сергей Александрович, незадолго до того оставивший пост московского генерал-губернатора, чтобы целиком посвятить себя командованию военным округом.

Как всегда, в 2 часа 30 минут Вел. кн. Сергей выехал в карете из Николаевского дворца по направлению к Никольским воротам; карета не доехала шагов 65 до ворот… Бомбу бросил эсер Каляев – человек разгоряченного ума и упрямой воли, чья преданность делу доходила до навязчивой идеи самопожертвования. За несколько дней до того он отказался бросить бомбу в Вел. кн.

Сергея, потому что вместе с ним в карете ехали жена и двое детей – племянник и племянница. Арестованный после покушения, Каляев орал во всю глотку: «Долой царя! Долой правительство! Да здравствует партия социалистов-революционеров!» В тот же вечер Николай занес в свой дневник: «Ужасное злодеяние совершилось в Москве: у Никольских ворот дядя Сергей, ехавший в карете, был убит брошенною бомбою, и кучер смертельно ранен. Несчастная Элла (Вел. кн. Елизавета Федоровна, супруга Вел. кн. Сергея и сестра императрицы. – *Прим. автора*), благослови и помоги ей Господь!»

Сразу же после случившегося ЦК партии социалистов-революционеров публикует прокламацию, так и названную: «4 ФЕВРАЛЯ», в которой убиенного обвиняли в жертвах на Ходынке, в репрессивной политике, распутной жизни и, наконец, возлагали на него ответственность за развязывание японской войны и расстреле петербургских рабочих 9 января. «Четвертое февраля, – читаем в прокламации, – это удар дубиной, нанесенный этой придворной камарилье, которая посредством закулисных интриг пытается управлять всею политикой страны и готовится потопить в крови мощный порыв к свободе. Наступил час расплаты! Опираясь на трудящийся народ, мы не сложим оружия, пока не добьемся триумфа справедливости!»

Через несколько дней после убийства Вел. кн. Сергея Александровича неутешная вдова покойного, Вел. кн. Елизавета, пришла к Каляеву в тюрьму. Мистический порыв милосердия побудил ее спросить у него объяснения своему поступку. Она готова была понять и простить его. И, как вершина своего великодушия, она готова была даже ходатайствовать о сохранении жизни тому, кто по политическим убеждениям лишил жизни ее супруга. Но Каляев только повторял пред нею свой революционный катехизис, отказался подписать прошение о помиловании и кончил на виселице.

Тем временем в Царском Селе наблюдалось полное смятение умов: ведь, атаковав Сергея Александровича, террористы посягнули на семью Романовых! Из страха перед новым покушением Николай не приехал в Москву на похороны дяди. В его окружении одни, как царица, требовали ответить репрессиями; другие, подобно Витте, хотели пойти на разумные уступки. Безвольный Святополк-Мирский был снят с должности, и по совету Тренева царь назначил министром внутренних дел А.Г. Булыгина, прежде служившего помощником московского генерал-губернатора. Уравновешенный и сознательный Булыгин повиновался директивам указа от 12 декабря 1904 г. и разработал текст нового императорского документа, допускающий

привлечение избранных от населения представителей для обсуждения законодательных предположений. Со своей стороны, царица с помощью двух людей, пользовавшихся ее особым доверием – князя Ширинского, которого она знала со времени паломничества в Саров, и князя Путятина, служившего во дворце, сформулировала манифест, призывавший всех людей доброй воли сразиться с мятежными элементами, которые в своей дерзости нападают на самые основы империи, освященные законом и церковью, и желали бы учредить в стране новый образ правления, несовместимый с российской традицией.

Для публикация царского указа был выбран день 18 февраля. Накануне, 17 февраля, под влиянием своей супруги и Победоносцева Николай подписал недвусмысленно вдохновленный махровой реакцией манифест, не поставив об этом в известность министров. О последних царских решениях они узнали из газет в поезде, который вез их в Царское Село. Вызванные для совещания пред царские очи для доработки либерального проекта Булыгина, они неожиданно оказались перед свершившимся фактом. Удивленные и вознегодовавшие, они почувствовали себя одураченными императорской семьей. Впрочем, как писал Витте в своих воспоминаниях, государь явился на заседание как ни в чем не бывало, как если бы спорного манифеста не существовало вовсе – возможно, в глубине души он испытывал радость нашкодившего отрока, ведь он так любил смущать советников сюрпризами! В этой атмосфере обманчивого согласия Булыгин зачитал свой проект рескрипта, в котором предусматривалось «привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной обработке и обсуждении законодательных предположений», что входило в противоречие с манифестом, опубликованным нынешним утром. Собравшиеся разошлись на обеденный перерыв, а когда собрались вновь, министры безоговорочно одобрили рескрипт, предложенный Булыгиным. Перед лицом этого единодушия царю ничего не оставалось, как дать свое согласие. Прежде чем заседание было закрыто, царь подписал отдельный указ о том, что всем русским людям и организациям, предоставляется право сообщать государю свои предположения о реформах государственного устройства. Таким образом, газеты поместили одновременно три официальных документа, оппонирующих друг другу по всем пунктам. Ошеломленные читатели спрашивали себя: чего же все-таки царь хочет – движения вперед или отката назад? Глазам простых обывателей представлялось очевидным, что телегу власти тянут то вкривь, то вкось.

О, если бы пришли добрые новости с фронта, как воспрянули бы русские умы! Но в Маньчжурии русская армия терпела поражение за поражением. 27 февраля 1906 года японцами был взят Мукден. Русские потеряли в мукденском бою до 90 000 человек, включая пленных, – свыше четверти своего состава. Опасаясь быть отрезанным от основного состава армии, Куропаткин, сменивший Алексеева на посту главнокомандующего, отдал приказ отступить к северу. После этого по приказу царя был отстранен от поста и Куропаткин, а новым главнокомандующим назначен командующий 1-й армией Линевич, прежний пост которого был отдан все тому же Куропаткину… Но эти перестановки никак не повлияли на исход сражений. Три месяца спустя пришло сообщение о новом несчастье. Эскадра Рожественского после своего бесконечного плавания (в пути ее снабжали германские суда) сконцентрировалась в виду берегов Аннама, чтобы продолжить путь к Владивостоку; дальнейший поход был чрезвычайно опасен – Рожественский мог идти либо кружным путем по Тихому океану, либо более коротким – через Цусимский пролив. Рожественский выбрал последнее. Но его тихоходные, перегруженные углем и лишенные маневренности корабли были и в количественном, и особенно в качественном отношении слабее японского флота. Сам Рожественский не верил в успех, но поворот назад к Балтике мог быть воспринят во всем мире как отказ от борьбы. 14 мая русская эскадра вошла в Цусимский пролив, причем японские разведывательные суда чуть не проворонили ее, наткнувшись в тумане только на последние русские корабли.

Адмирал Того тотчас вышел наперерез русским, и, как только завязался бой, сразу сказалось превосходство японцев. На заре 15 мая от русской эскадры сохранились лишь жалкие останки.

Миноносец, на котором находился тяжело раненный осколком снаряда Рожественский, сдался японцам.[113]«На душе тяжело, больно, грустно», – записал царь в дневнике 18 мая. И назавтра: «Теперь окончательно подтвердились ужасные известия о гибели почти всей эскадры в двухдневном бою… День стоял дивный, что прибавляло еще больше грусти на душе». В последующие дни государь ежедневно «катался в байдарке», о чем непременно записывал в свой дневник. Кому что: кому – голубая гладь Царскосельского пруда, кому – цусимская могила под толщей свинцовой воды… Но чем же все-таки объяснить такой лаконизм дневниковых записей? Это что – признак холодности? Вовсе нет. Просто некое представление о политесе препятствовало Николаю выкладывать свои чувства нараспашку.

Даже когда он садился за свой дневник, то, питая недоверие к масштабным фразам, придавал больше значения мелким деталям повседневной жизни, нежели сейсмическим толчкам, сотрясавшим страну. По словам генерала Мосолова, в тот день, когда в императорском поезде была принята телеграмма о цусимской катастрофе, царь пригласил офицеров на чай и говорил с ними о бывших в тот день смотрах войск и других незначительных событиях – в течение часа ни одного слова о Цусиме не было помянуто. «Вся свита была ошеломлена безучастием императора к такому несчастию, – писал Мосолов. – Когда царь ушел, Фредерикс (министр двора. – *Прим. А. Труайя*) рассказал о своей беседе с государем в купе. Николай II был в отчаянии: рухнула последняя надежда на благополучный исход войны. Он был подавлен потерею своего любимого детища – флота, не говоря о гибели многих офицеров, столь любимых и облагодетельствованных им…»[114]

Подавленность, вызванная поражениями на фронте и на море, грозила перерасти в возмущение с далеко идущими для самодержавия последствиями. «Нет человека, – писала мадам Богданович 18 мая, – который бы не сказал, что последствием этого боя будет конституция». Понятно, в экстремистских кругах каждое поражение русских воспринималось с радостью. Один из русских журналистов заявил в присутствии французского посла Мориса Бомпара следующее: «Они побиты, и здорово побиты. Но – недостаточно. Нужно, чтобы японцы нанесли им новые поражения такого рода, чтобы мы наконец освободились!» Вопрос, который отныне стоял перед русским правительством, был трагичен в своей простоте: нужно ли, несмотря на нескончаемые поражения, продолжать сухопутные операции в Маньчжурии? Новый главнокомандующий Линевич, как и прежний, Куропаткин, упорствовал в своем убеждении в возможности русской победы, ибо подкрепления не переставали прибывать на фронт. Не столь категоричный в своей оценке, Николай считал возможным продолжать войну еще какое-то время, чтобы в итоге склонить японцев к предложению почетного мира. Однако Витте, поддерживаемый общественным мнением, ратовал за немедленное прекращение военных действий и переход к мирным переговорам на нейтральной территории.

25 мая Николай заносит на страницы дневника: «Приняли американского посла Мейера с поручением от Рузвельта. Гулял и катался на байдарке». Поручение от Рузвельта содержало предложение мирного посредничества. Николай мало верил в успех этого предприятия – опьяненные успехом японцы могут потребовать невозможного. Тем не менее вечером он созвал

совещание по выработке решения. В итоге он в противоположность мнению военных высказался за переговоры, в ходе которых можно было бы попытаться умерить аппетиты японцев. Но русские дипломаты, к которым он обращался с предложением возглавить делегацию, один за другим давали самоотвод, приводя самые разные мотивы. В действительности же они все, как один, боялись быть причастными к этой неблагодарной задаче и оказаться при любом исходе событий дискредитированными в глазах общественного мнения. Увидев, как все пытаются отбояриться, Николай скрепя сердце остановил свой выбор на человеке, к которому ничуть не испытывал расположения и который постоянно рекомендовал ему проявлять умеренность в дальневосточных делах: председателю Совета министров С.Ю. Витте, и тот – из патриотических чувств – согласился. Было достигнуто соглашение о том, что уполномоченные вести переговоры соберутся в Портсмуте (штат Нью-Хэмпшир, Соединенные Штаты Америки). Перед тем как Витте отправился в Новый Свет, царь очертил ему границы его полномочий. «Государь меня благодарил, что я не отказался от этого назначения… но только он не может допустить ни хотя бы одной копейки контрибуции, ни уступки одной пяди земли».[115]

Определив, таким образом, свое отношение к требованиям «япошек», Николай задавал себе вопрос, как же утихомирить не менее требовательных соотечественников. Наряду с социалистами-революционерами, которые отдавали предпочтение тактике индивидуального террора, социал-демократы марксистских взглядов усилили свою пропаганду среди рабочих масс, в армии и на флоте. Новая волна забастовок парализовала страну, в Лодзи произошло столкновение рабочей толпы с войсками, убито было 12 человек. Их похороны стали поводом для масштабного восстания – войска снова стреляли в народ, и на этот раз итог был еще более жестоким: по неполным официальным сведениям, свыше полутораста человек убито, раненых – около 200. Схватки такого же рода происходили и в других городах Польши, в прибалтийских губерниях, на Кавказе… Всеобщая стачка была объявлена в Одессе. 14 июня в виду этого города показался броненосец «Потемкин» с красным флагом на мачте. Его команда восстала под предлогом выдачи несвежего мяса, и тогда командир корабля и его заместитель отдали приказ о расстреле мятежников. Но коль скоро моряки отказались стрелять в товарищей, помощник застрелил одного из матросов[116] – в ответ вспыхнули кровавый мятеж и резня офицеров. Сразу после этого экипаж установил контакт с одесскими революционерами; в городе начались схватки между

солдатами и манифестантами. Социал-демократы предложили солдатам овладеть Одессой и превратить ее под прикрытием орудий «Потемкина» в центр борьбы с самодержавием. Но мятежники не решились сойти на берег. В городе положение сделалось угрожающим: тяжелые орудия броненосца грозили разнести любое здание в городе. Наконец местные власти взяли ситуацию в городе под контроль. «Потемкин» еще некоторое время странствовал по Черному морю, но все гавани ему были закрыты;[117] на 11-й день с начала восстания «Потемкин» вошел в румынскую гавань Констанцу, где команда сошла на берег и сдалась властям.

По получении известий с черноморских берегов Николай записывает в своем дневнике следующее: «15-го июня. Среда. Жаркий тихий день. Аликс и я долго принимали на ферме и на целый час опоздали к завтраку. Дядя Алексей ожидал его с детьми в саду. Сделал большую прогулку в байдарке. Тетя Ольга приехала к чаю. Купался в море. После обеда покатались». И только затем переходит к самому главному: «Получил ошеломляющее известие из Одессы о том, что команда пришедшего туда броненосца „Потемкин Таврический“ взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в городе. Просто не верится!» И несколько дней спустя: «20 июня. Понедельник… На „Пруте“ были тоже беспорядки, прекращенные по приходе транспорта в Севастополь. Лишь бы удалось удержать в повиновении остальные команды эскадры! Зато надо будет крепко наказать начальников и жестоко мятежников. После завтрака гулял и выкупался в море перед чаем. Вечером принял Абазу.[118] Вечером покатались. Было жарко».

Увертки правительства все более раздражали общественное мнение. Съезд земских и городских деятелей, собравшийся в Москве 24 мая, решил поднести адрес государю и отправить к нему депутацию. После долгих колебаний Николай согласился ее принять. В документе, представленном государю, подчеркивается, что в России установилось состояние «гражданской войны», и высказывается сожаление, что обещание созыва народных представителей не было выполнено. От имени делегации говорил кн. С.Н. Трубецкой. «Мы знаем, государь, – заявил он, – что вам тяжелее всех нас… Крамола сама по себе не опасна… Русский народ не утратил веру в царя и несокрушимую мощь России… Но народ смущен военными неудачами; народ ищет изменников решительно во всех: и в генералах, и в советчиках ваших, и в нас, и в господах вообще…» Затем Трубецкой заговорил о созыве народных представителей. Нужно, сказал он, «чтобы все ваши

подданные, равно и без различия, чувствовали себя гражданами русскими… Как русский царь не царь дворян, не царь крестьян или купцов, не царь сословий, а царь всея Руси – так выборные люди от всего населения должны служить не сословиям, а общегосударственным интересам».[119] Николай ответил заранее заготовленною речью, составленною в примирительных выражениях. «Отбросьте сомнения, – заявил он, – моя воля – воля царская – созывать выборных от народа – непреклонна. Привлечение их к работе государственной будет выполнено правильно. Я каждый день слежу и стою за этим делом… Я твердо верю, что Россия выйдет обновленной из постигшего ее испытания. Пусть установится, как было встарь, единение между царем и всей Русью, между мною и земскими людьми, которое ляжет в основу порядка, отвечающего самобытным русским началам. Я надеюсь, что вы будете содействовать мне в этой работе».[120]

По словам кн. Сергея Трубецкого, в этот день у царя был взволнованный вид студента, держащего экзамен. Но так ли он в действительности был взволнован, каким показался своим собеседникам? При всем том, что с виду он вроде бы разделял их взгляды, он думал только о том, как бы обвести их вокруг пальца. 21 июня он помечает в дневнике: «Принял на ферме сенатора Нарышкина, графа Бобринского, Киреева, Павла Шереметьева, других и несколько крестьян с заявлением от Союза русских людей (т. е. черносотенного Союза русского народа. – *Прим. пер*.) в противовес земским и городским деятелям». Больше даже он надеется на то, что реакция «здоровых элементов» нации даст ему основание отвергнуть претензии новаторов. 19 июля в Петергофе началось совещание правительственных сановников, обсуждавшее проект создания постоянного законосовещательного учреждения. «В 2 часа в Купеческом зале Б(ольшого) дворца был отслужен молебен, и затем в совещании под моим председательством началось рассмотрение проекта учреждения Государственной думы»,[121] – заносит в своей дневник царь. Выборы не планировались ни всеобщими, ни равными, ни прямыми: группы населения выбирали выборщиков, которые, в свою очередь, сходились для выбора депутатов. Ставка делалась на крестьянство, считавшееся самым лояльным империи сословием. Крестьянству отводилось 43 процента, землевладельцам – 34, а городской буржуазии – 23 процента представительства. Таким образом, Высочайший манифест от 6 августа 1905 года, известивший страну о создании «совещательной Думы», совершенно игнорировал рабочие массы, отдавая предпочтение сельским представителям. Более того, он запрещал под страхом

преследования публичное обсуждение политических проблем.

Эти робкие настроения не удовлетворили никого. Отнимая у либералов всякую надежду на соглашение с правительством, они определенно подталкивали их к бунту. Газеты развязали языки, подрывные листовки потоком хлынули на улицы, митинги собирали все более многочисленные толпы в самых разнообразных местах, земцы заседали без передышки.

Вдалеке от этого кипучего котла Витте прикладывал усилия к тому, чтобы спасти престиж России. Безупречною ловкостью и упорством он сумел завоевать симпатии президента Теодора Рузвельта, первоначально клонившегося на сторону Японии; ему также удались обольщение американских журналистов и контакты с крупными нью-йоркскими банкирами. В ходе трудных переговоров в Портсмуте удалось добиться отказа японцев от самых тяжелых для России условий заключения мира. Так, более не ставился вопрос о выплате Россией контрибуции; взамен этого согласно договору от 23 августа (5 сентября) 1905 года Россия признает японский протекторат над Кореей, уступает Японии южную часть Сахалина, уходит из Порт-Артура, Дальнего и вообще с Ляодунского полуострова. В общем, Витте удалось выговорить условия, наносящие не слишком большой ущерб целостности и достоинству страны. Тем не менее в Санкт-Петербурге Портсмутский мир вызвал всеобщее недовольство – сторонники войны считали, что Россия подписала его слишком рано и смогла бы со временем взять реванш, одержав верх над противником. Пацифисты, напротив, находили, что он подписан слишком поздно – когда за империалистический одиозный идеал были положены многие тысячи человеческих жизней. В душе Николая чувство облегчения смешивалось с чувством стыда. Он быстро почувствовал себя одураченным. Сама супруга поддерживала его в этой горестной мысли. Царь создает при дворе «партию реванша», объединенную вокруг Вел. кн. Николая Николаевича. Начиная с 17 августа государь записывает в свой дневник: «Ночью пришла телеграмма от Витте с известием, что переговоры о мире приведены к окончанию. Весь день ходил как в дурмане после этого». И далее: «Поехали в Красное Село на егерский праздник, который прошел прекрасно». 18 августа: «Сегодня только начал осваиваться с мыслью, что мир будет заключен и что это, вероятно, хорошо, потому что так должно быть. Получил несколько поздравительных телеграмм по этому поводу». И наконец 25 августа: «В 2 ½ во дворце начался выход к молебну по случаю заключения мира; должен сознаться, что радостного настроения не чувствовалось». Со своей стороны 22 августа Вел. кв. Константин Константинович заносит в свою

тетрадку следующие размышления – по его мнению, император, отправляя Витте в Америку, был абсолютно убежден, что российские условия будут сочтены неприемлемыми, и вообще не признавал возможным заключение мира – ведь, если удается усилить мощь страны, шанс на успех мог бы к нам еще вернуться… Теперь же и сам он, и его жена находятся в состоянии растерянности.

Все же, несмотря на жестокое разочарование, царь осыпал Витте милостями. «В то время никто не ожидал такого благоприятного для России результата, – вспоминал Витте, – и весь мир прокричал, что это первая русская победа после… сплошных наших поражений… Сам государь был нравственно приведен к необходимости дать мне совершенно исключительную награду, возведя меня в графское достоинство».[122] Новоиспеченный граф, упоенный своим возвышением, уже уверовал, что совершенно безоговорочно вернул себе Высочайшее расположение. Тем более ошарашило его известие, услышанное из уст Ламздорфа, что Николай, ни с кем не проконсультировавшись, подписал 11(24) июля 1905 года во время встреч с Вильгельмом II на борту яхты «Полярная звезда», стоявшей на рейде в Бьорке, секретный договор об альянсе с Германией. Поначалу предполагалось объединить Францию, Россию и Германию для совместного противостояния британской гегемонии на случай войны и на период войны. Вполне понятно, в глазах Николая такой договор мог иметь место не иначе как с одобрения французского правительства. Однако в Бьорке кайзер предложил царю новый проект, согласно которому речь шла уже не о предварительной консультации с Францией, а о предложении в адрес Франции впоследствии присоединить свою подпись к двум предшествующим. И хотя этот договор входил в очевидное противоречие с франко-русским договором, заключенным Александром III, Николай, упоенный теплыми словами Вильгельма II, который выступил его единственным другом в душераздирающей японской афере, в конце концов дал себя склонить к его подписанию. Счастливый тем, как ловко ему удалось околпачить своего кузена, Вильгельм написал ему, что этот документ знаменует собою «поворот в европейской политике», что дата его подписания «открывает новую страницу во всемирной истории».

Вернувшись в Россию, Николай быстро понял, как подвели его легковерность и некомпетентность. Едва подал он этот документ Ламздорфу, как этот последний, уязвленный тем, что все делалось за его спиной, стал возражать против этого ложного шага дипломатии. «Я не стал скрывать от Его Величества, –

рассказывал он, – что его побудили совершить небывалую по своей глупости вещь и что бьоркские соглашения находятся попросту в противоречии с теми, что заключил в отношении Франции его отец». Еще дальше пошел в своем негодовании Витте: он прямо заявил, что акт, бесчестящий Россию в глазах Франции, должен быть аннулирован любой ценой. Царь почувствовал, что потерял доверие министров, как нашаливший ребенок. Ему хотелось, чтобы и Вильгельм II был также осмеян. Отныне он косо смотрит на своего кузена. Тем более что, по справкам, полученным от российского посла в Париже Нелидова, французское правительство решительно отвергло союз с Германией посредством договора, определенно направленного против Англии. Несмотря на восторженные, почти что нежные письма от кайзера, Николай предпринимает попытку выпутаться из этого осиного гнезда. Ламздорфу было поручено подготовить этот неуклюжий договор к аннулированию. Российско-германскую границу пересекали все более едкие ноты. Россия подчеркивала, что франко-русский альянс первенствует и должен продолжать первенствовать над германо-русским. Из Германии отвечали: что подписано, то подписано. Отношения между двумя странами сделались прохладными. Вскоре Ламздорф смог заверить Витте – успокойтесь, бьоркского договора более не существует.

В то время, как высокопоставленные чиновники прилагали усилия к тому, чтобы уладить международные разногласия, волнения в России после некоторого затишья разгорелись с новой силой. Чтобы утихомирить мятущееся юношество, Трепов даровал 27 августа 1905 года широкую автономию высшим учебным заведениям. Результат не замедлил сказаться: едва начался учебный год, аудитории открылись для народных собраний. На скамейках вперемешку со студентами теснились рабочие, служащие, журналисты, офицеры и даже светские дамы. Вся эта разношерстная публика, затаив дыхание и развесив уши, слушала импровизированных ораторов, поднимавшихся на кафедру один за другим. Речи становились все более пламенными, призывы – все более революционными. Московские типографии объявили забастовку, наборщики выдвинули требование, чтобы при начислении жалованья учитывалось количество знаков, а знаки препинания засчитывались как буквы. Их примеру последовали «командиры свинцовых армий» в Санкт-Петербурге. Как следствие – не выходят газеты. К стачечному движению присоединились пекари, извозчики… Стали останавливаться заводы, в пустых цехах гулял ветер. По улицам помертвевших городов расхаживали манифестанты с красными флагами и пением «Интернационала».

Прекратилась подача воды, но затем каким-то чудом возобновилась. С перебоями стало подаваться электричество, погасло уличное освещение. Телефон то умолкал, то включался на несколько часов. Вершиною всего этого беспорядка стала объявленная в свой черед стачка железнодорожных служащих, решительно парализовавшая экономическую жизнь страны. Напрасно пыталось правительство задабривать их, обещая улучшение их материального положения. Они требовали созыва учредительного собрания, публичных свобод, права национальных меньшинств на самоопределение. Забастовка распространялась все шире, как масляное пятно на поверхности воды. Повсюду возникали исполнительные организации – комитеты, советы рабочих депутатов, важнейшим из которых явился Санкт-Петербургский, впервые собравшийся 13 октября. Это была не совещательная группа, но боевая организация, поставившая целью ликвидацию режима. К середине октября численность участников забастовочного движения в империи перевалила за миллион. Охваченными оказались все цеховые организации. Ввиду масштабов этого движения любые ответные действия правительства казались обреченными на провал. Гарнизоны были слабы и малонадежны, действующая армия еще не вернулась из Маньчжурии. Обезумевший Трепов жил ото дня ко дню, не имея точного плана действий. Что же касается царя, то 12 октября он делает следующую запись: «Забастовки на железных дорогах, начавшиеся вокруг Москвы, дошли до Петербурга, и сегодня забастовала Балтийская. Манухин (министр юстиции. – *Прим. А. Труайя*) и сопровождающие еле доехали до Петергофа. Для сообщения с Петербургом два раза в день начали ходить „Дозорный“ и „Разведчик“. Милые времена». Неделю спустя он пишет пространное письмо о положении в стране матушке – вдовствующей императрице Марии Федоровне (которая в это время находилась в Дании, где доживал последние недели ее августейший родитель Христиан IX):

«*Петергоф. 19 октября 1905 г.*

Мои милая, дорогая мама.

Я не знаю, как начать это письмо.

Мне кажется, что я тебе написал последний раз – год тому назад, столько мы пережили тяжелых и небывалых впечатлений. Ты, конечно, помнишь, январские дни, которые мы провели вместе в Царском – они были неприятны, не правда ли? Но они ничто в сравнении с теперешними днями!

Постараюсь вкратце объяснить тебе здешнюю

обстановку. Вчера было ровно месяц, как мы вернулись из Трапезунда. Первые две недели было сравнительно спокойно.

В это время, как ты помнишь, случилась история с Кириллом. В Москве были разные съезды, которые, неизвестно почему, были разрешены Дурново. Они там подготовляли все для забастовок железных дорог, которые и начались вокруг Москвы и затем сразу охватили всю Россию.

Петербург и Москва оказались отрезанными от внутренних губерний. Сегодня неделя, как Балтийская дорога не действует. Единственное сообщение с городом морем – как это удобно в такое время года! После железных дорог стачка перешла на фабрики и заводы, а потом даже в городские учреждения и в департамент железн[ых] дорог Мин. путей сообщения. Подумай, какой стыд! Бедный маленький Хилков в отчаянии, но он не может справиться со своими служащими.

В университетах происходило Бог знает что! С улицы приходил всякий люд, говорилась там всякая мерзость и – все это терпелось! Советы политехникумов и университетов, получившие *автономию*, не знали и не умели ею воспользоваться. Они даже не могли запереть входы от дерзкой толпы и, конечно, жаловались на полицию, что она им не помогает (а что они говорили в прежние годы – ты помнишь?).

Тошно стало читать агентские телеграммы, только и были сведения о забастовках в учебных заведениях, аптеках и пр., об убийствах городовых, казаков и солдат, о разных беспорядках, волнениях и возмущениях. А господа министры, как мокрые курицы, собирались и рассуждали о том, как сделать объединение всех министерств, вместо того чтобы действовать решительно.

Когда на „*митингах*“ (новое модное слово) было открыто решено начать вооруженное восстание и я об этом узнал, тотчас же Трепову были подчинены все войска петербург[ского] гарнизона, я ему предложил разделить город на участки с отдельным начальником в каждом участке. В случае нападения на войска было предписано действовать немедленно оружием. Только это остановило движение или революцию, потому что Трепов предупредил жителей объявлениями, что всякий беспорядок будет беспощадно подавлен, и, конечно, все

поверили этому».[123]

Наступили грозные тихие дни, именно тихие, потому что на улицах был полный порядок, а каждый знал, что готовится что-то – войска ждали сигнала, а те не начинали. Чувство было, как бывает летом перед сильной грозой! Нервы у всех были натянуты до невозможности, и, конечно, такое положение не могло продолжаться долго.

По общему единодушному мнению, единственным человеком, способным усмирить сотрясавшую Россию лихорадку, мог быть только тот, кто предсказал несчастья, которые обрушатся на страну, и которому удалось добиться в общем-то вполне почетного для России мира в Портсмуте. Скрепя сердце Николай решил вновь обратиться к своему преданному подданному, чьи идеи и даже обхождение он воспринимал с перекошенным лицом. Удостоившись 9 октября 1905 года аудиенции у государя, Витте указал ему, что из создавшегося положения, по его мнению, возможны два выхода: либо установление диктатуры, которая беспощадно раздавила бы мятежи, либо дарование важнейших гражданских свобод и созыв Учредительного собрания, желаемого большинством народа. Он утверждал, что первый вариант имеет мало шансов на успех, тогда как второй спасет Россию от кровавого хаоса. Такая уверенность произвела впечатление на Николая, но царь медлил с окончательным ответом, заявив, что ему нужно еще несколько дней на размышление. Без ведома Витте он проконсультировался с императрицей, с Победоносцевым, бывшим министром юстиции графом Паленом, генералом Рихтером, государственным секретарем Будбергом и другими. Он надеялся, что клан консерваторов сможет убедить его. Группа придворных и в самом деле мечтала бы о диктатуре, вот только никого не находилось на роль диктатора. В какой-то момент жизни государь уже собрался предложить Вел. кн. Николаю Николаевичу роль военного диктатора, но с каждым часом – в гуще забастовок, прокламаций и вспышек насилия – чаша весов склонялась в пользу конституции. В том же письме августейшей родительнице он пишет:

«В течение этих ужасных дней я виделся с Витте постоянно, наши разговоры начинались утром и кончались вечером при темноте. Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу; затем была бы передышка и снова пришлось бы через несколько месяцев действовать силою; но это стоило бы потоков крови и в конце концов привело бы неминуемо к

теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы показан, но результат оставался бы тот же самый и реформы вперед не могли осуществляться бы.

Другой путь – предоставление гражданских прав населению: свободы слова, печати, собраний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить всякий законопроект через Госуд. думу – это в сущности и есть конституция. Витте горячо отстаивал этот путь, говоря, что хотя он и рискованный, тем не менее единственный в настоящий момент. Почти все, к кому я ни обращался с вопросом, отвечали мне так же, как Витте, и находили, что другого выхода, кроме этого, нет. Он прямо объявил, что если я хочу *его* назначить председателем Совета министров, то надо согласиться с его программой и не мешать ему действовать. Манифест был составлен им и Алексеем Оболенским.[124] Мы обсуждали его два дня, и наконец, помолившись, я его подписал. Милая моя мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! Я не мог телеграммою объяснить тебе все обстоятельства, приведшие меня к этому страшному решению, которое тем не менее я принял совершенно сознательно. Со всей России только об этом и кричали, и писали, и просили. Вокруг меня от многих, очень многих, я слышал то же самое, ни на кого я не мог опереться, кроме честного Трепова, – исхода другого не оставалось, как перекреститься и дать то, что все просят. Единственное утешение – это надежда, что такова воля Божья, что это тяжелое решение выведет дорогую Россию из того невыносимого хаотического состояния, в каком она находится почти год.

Хотя теперь я получаю массу самых трогательных заявлений благодарности и чувств, положение все еще очень серьезное. Люди сделались совсем сумасшедшими, многие от радости, другие от недовольства. Власти на местах тоже не знают, как им применять новые правила, – ничего еще не выработано, все на честном слове. Витте на другой день увидел, какую задачу он взял на себя. Многие, к кому он обращался занять то или другое место, теперь отказываются.

Старик Победоносцев ушел, на его место будет назначен Алексей Оболенский; Глазов[125] тоже удалился, а преемника ему еще нет. Все министры уйдут, и надо будет их заменить другими, но это – дело Витте. При этом необходимо поддержать порядок в городах, где происходят двоякого рода демонстрации – сочувственные и враждебные, и между ними происходят кровавые столкновения. Мы находимся в полной революции при дезорганизации всего управления страною; в этом главная

опасность.

Но милосердный Бог нам поможет; я чувствую в себе Его поддержку и какую-то *силу*, которая меня подбадривает и не дает пасть духом! Уверяю тебя, что мы прожили здесь года, а не дни, столько было мучений, сомнений, борьбы!»

Между тем кризис достиг своего апогея. Зарубежные газеты кричали о том, что в России уже разразилась революция. Члены немецкой колонии в спешке возвращались на свою историческую родину, а Вильгельм II держал под парами два миноносца, готовых в любой момент взять курс на Петергоф и забрать оттуда царскую семью.

15 октября в Петергофе под председательством государя состоялось совещание, на котором присутствовали специально вызванный сюда с охоты Вел. кн. Николай Николаевич, министр двора барон Фредерикс, генерал-адмирал Рихтер и граф Витте, который представил царю проект манифеста, объявляющего о принципиальных конституционных реформах. Николай уже почти готов был уступить, но все же колебался. Он словно бы ходил по краю пропасти. Взгляд пустых глаз, устремленный на него из будущего, пугал и в то же время притягивал его. Не было принято никакого решения. Но два дня спустя, 17 октября, царь вновь вызывает Витте в Петергоф. На сей раз царь казался настроенным решительно. Напуганный стачкой железнодорожников, Вел. кн. Николай Николаевич – тот самый, которого государь прочил в диктаторы, – недвусмысленно заявил, что застрелится на глазах императора, если тот откажется подписать манифест, проект которого был представлен Витте. Эти энергичные слова, видимо, и были той последней каплей, побудившей Николая поставить подпись под документом, – ведь у него было ощущение, что, ставя свою подпись, он отрекается от вековой истории империи, предает память предков и, возможно, жертвует будущим династии. Но вместе с тем государю хотелось показать Витте, что тот убедил его.

Императорский манифест воззвал к здравому смыслу нации:

> *«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным – и печаль народная – Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы Нашей. Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для*

государства смуты. Повелев надлежащим властям принять меры по устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер признали необходимым объединить деятельность высшего Правительства.

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку, и

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей…

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: „НИКОЛАЙ“».

В этот же вечер изнуренный, отчаявшийся царь записывает в своем дневнике: «Подписал манифест в 5 час. После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, усмири Россию».

На следующий день, 18 октября 1905 года: «Сегодня состояние духа улучшилось, так как решение уже состоялось и пережито. Утро было солнечное и радостное – хорошее предзнаменование. Погуляли вдвоем». В этот же день мадам Богданович, настроенная не столь оптимистично, записывает: «Опубликован манифест. Весь день толпы народа стоят на улицах с красными флагами. Настроение толпы скверное… Ночью ожидают сильных беспорядков. Была уже стрельба».[126]

Глава восьмая
Первая дума

Обнародование манифеста 17 октября 1905 года было восторженно принято большинством народа. Люди обнимались на улицах. В окнах появились флаги – одни трехцветные, другие красные. Но в рядах сторонников реформ уже обозначилось расслоение. У каждого было свое представление о политическом будущем России. Более умеренные соглашались на совещательное собрание; другие требовали настоящего парламента; социалисты грезили о демократической республике и не видели другого пути ее достижения, кроме как вооруженное восстание. Тогда как «левые» спорили до хрипоты о будущем страны, самые непримиримые представители аристократических слоев организовывали защиту своих привилегий. Играя на националистических и антисемитских чувствах части народа, они способствовали развитию открыто монархической ассоциации – «Союза русского народа», которая рекрутировала своих членов среди средних слоев города и деревни: мелких торговцев, кустарей, привратников, низших служителей церкви… Видя, как группируются реакционные силы, царь вновь обретал уверенность. Он уже сожалел о том, что назначил Витте председателем Совета министров и министром внутренних дел. Зато генерал Трепов вызывал в нем доверия больше, чем прежде. После 17 октября он сделался, как пишет Витте, «в сущности самым интимным и сильным советчиком государя, так что я должен был нести всю ответственность, а он – управлять…»[127]

От глаз публики не укрылось, что действительная власть все более ускользает из рук Витте. Улицы открылись для всяческих шествий; толпы под красными флагами сталкивались носом к носу с горланящими «Боже, царя храни» и антисемитские лозунги приверженцами «Союза русского народа» в белых повязках, с царскими портретами, иконами и двуглавыми орлами, шествующими под охраной полиции.

Стычки выливались в погромы – в одну только неделю после 17 октября по стране разразилось до сотни погромов, в ходе которых было убито три тысячи человек и около десяти тысяч ранено. В Одессе беспорядки продолжались четыре дня; итог – почти 500 жертв, мужчин, женщин и детей. В Томске «патриоты» осадили театр, где укрылись демонстранты, ходившие под красными знаменами, а затем подожгли – в огне погибло около 200 человек. В Минске солдаты стреляли в манифестантов. В

Москве 18 октября полицейским агентом был убит член большевистской партии ветеринарный врач Н.Э. Бауман, под красным флагом возглавлявший массовую демонстрацию у Таганской тюрьмы. Его похороны 20 октября вылились в грандиозную манифестацию. За покрытым кумачом гробом, который не сопровождал ни один священник, шествовала толпа из сотен тысяч рабочих с красными знаменами и венками.

Уже после похорон, на обратном пути шествие натолкнулось на банду черносотенцев; вмешались казаки – в результате перестрелки было убито шесть человек и около сотни ранено. В Петербурге возобновились забастовки, но обошлось без особых беспорядков – генерал Трепов отдал войскам приказ: «Патронов не жалеть!»[128] В Кронштадте, Севастополе, Николаеве взбунтовались матросы, а в сельской местности участились крестьянские мятежи. Во всех индустриальных центрах создаются советы рабочих депутатов. Будучи не в силах совладать с ситуацией, Витте вздыхает: «Если бы при теперешних обстоятельствах во главе правительства стоял Христос, то и Ему не поверили бы!»[129] Освобожденная от всякого контроля пресса выдвигает новые требования: всеобщая амнистия, создание народной милиции, отмена смертной казни… Чтобы сдержать бунт, Витте обратился к решительному министру внутренних дел – Петру Дурново.

И тут же – новая череда ударов кулаком по столу: провозглашение осадного положения в Польше, кровавые репрессивные меры в Центральной и Восточной России, где мужики нападали на помещичьи хозяйства, энергичные действия полиции на Кавказе, посылка генерала Орлова на усмирение курляндских и эстляндских крестьян, восставших против балтийских баронов; посылка по всей трассе Великого Сибирского пути карательного отряда под командованием генерала Мёллер-Закомельского с целью укрощения анархической стихии в воинских отрядах, возвращавшихся из Маньчжурии домой. Бастовавшие железнодорожники пропускали составы с солдатами, но в пути подвергали революционной пропаганде. На двух станциях карателями были расстреляны стачечные комитеты, агитаторов на полном ходу выбрасывали из вагонов. Повсюду происходили аресты рабочих, землепашцев, дезертиров; всюду виселицы, плети и расстрелы. Но едва удавалось погасить пожар в одном месте, как он занимался в другом. В Санкт-Петербурге совет рабочих депутатов открыто вел подготовку вооруженного восстания. Власти отреагировали быстро, заключив под стражу 49 членов комитета под председательством Носсара. Тогда заявил о себе московский совет рабочих, организовавший

забастовку с участием свыше 100 тысяч трудящихся. К этому решению присоединились делегаты от 29 железных дорог, собравшиеся в Москве на конференцию. Среди участников распределяли старые ружья и револьверы. На «боевые батальоны», состоящие из большевиков, возлагалась задача вовлекать солдат в бой. Но Витте, осведомленный об этих приготовлениях, назначил московским генерал-губернатором адмирала Ф.В. Дубасова, известного своею твердою рукой, и послал ему войска из Санкт-Петербурга. 9 декабря войска окружили реальное училище Фидлера, занятое боевыми отрядами, и после безуспешных попыток склонить их к сдаче обстреляли из пушек. В ответ на это на улицах стали возводиться баррикады – из булыжников мостовых, выломанных ворот, вывесок, опрокинутых саней… Но защитники баррикад избегали прямых столкновений с войсками – баррикады предназначались для того, чтобы задерживать их продвижение. Ночью отряды защитников рассредоточивались и стреляли из окон и с крыш в городовых и казаков, пытавшихся разрушить баррикады. Дубасов опасался, как бы солдаты не стали брататься с мятежниками, и с нетерпением ожидал прибытия гвардейских полков из Санкт-Петербурга. Наконец 15 декабря Семеновский полк прибыл в Москву, и развернулась беспощадная резня. В кварталах центральной части города палила артиллерия. Но в рабочем квартале с названием Пресня, защищаемом едва тремястами рабочих, правительственные войска натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Наконец силою одиннадцати пехотных и пяти кавалерийских полков с мятежом было покончено. Тех, кого застигали с оружием в руках, расстреливали на месте. Итог операции – 18 тысяч убитых и свыше 30 тысяч раненых с обеих сторон. Торжествуя победу, «сухопутный адмирал» Дубасов рассчитывал на щедрые монаршии милости и был крайне раздосадован, что оказался обойденным: «В деле подавления московского мятежа я приложил весь свой разум, все умение и всю свою волю, причем усилия мои увенчались успехом. Между тем у меня есть основания думать, что действия мои не заслужили одобрения, так как они не вызвали желания поощрить меня хотя бы… производством в следующий чин или награждением очередным орденом».[130] Скорее всего, Николай опасался публично выказывать одобрение кровавым действиям Дубасова в период подавления московского вооруженного восстания и счел за благо откреститься от них: хватило с него 9 января…

Итак, восстание подавлено, Москва просыпается от кошмара. Те, кто помогал революционерам строить баррикады, отнюдь не

залились краской от стыда, когда узнали, что порядок и безопасность вернулись в город. 19 декабря Николай пометит в своем дневнике: «Мороз немного уменьшился… Гулял долго… В Москве, слава Богу, мятеж подавлен силою оружия. Главное участие в этом принимали: Семеновский и 16-й пехотный Ладожский полки». Куда словоохотливее он в письмах, которые регулярно направлял матери в Данию:

> *«Как ни тяжело и больно то, что происходит в Москве, но мне кажется, что это к лучшему. Нарыв долго увеличивался, причинял большие страдания и вот наконец лопнул. В первую ночь восстания из Москвы сообщали, что число убитых и раненых доходит до 10 000 чел.; теперь, после шести дней, оказывается, что потери не превышают 3 тыс. В войсках, слава Богу, немного убитых и раненых. Гренадеры ведут себя молодцами после глупейшего бунта в Ростовском полку, но начальство очень вяло, а главное, Малахов очень стар. Дубасов надеется, с прибытием двух свежих полков, быстро раздавить революцию. Дай Бог!»*

И далее:

> *«Милая, дорогая мама.*
>
> *Эта неделя рождественских праздников была много спокойнее прежних. Как и следовало ожидать, энергичный образ действий Дубасова и войск в Москве произвел в России самое ободряющее впечатление. Конечно, все скверные элементы упали духом и на Северном Кавказе и на юге России, также и в сибирских городах.*
>
> *… В прибалтийских губерниях восстание все продолжается. Орлов, Рихтер и другие действуют отлично; много банд уничтожено, дома их и имущество сжигаются. На террор нужно отвечать террором. Теперь сам Витте это понял».*

(Письма от 15 и 29 декабря 1905 г.)

Тем не менее, бодро подавляя беспорядки в городах и деревнях, Витте не терял из виду необходимость смягчения существующего режима, который более не отвечал чаяниям подавляющего большинства. Он распорядился восстановить конституцию Великого княжества Финляндского, издал временные положения, касающиеся свободы печати, ассоциаций, публичных собраний, разрешил создание рабочих профсоюзов, предпринял попытки ввода в действие первой системы

социального страхования и шаги к облегчению крестьянской нищеты, снизив выкупные платежи за землю, предоставленную в ходе крестьянской реформы эпохи Александра II.[131] Особое совещание под председательством царя готовило пересмотр избирательного закона, определяя статус двух законодательных собраний – Государственной думы и Государственного совета; этот последний, приобретая статус верхней палаты, получал предназначение «подрезать крылья» Думе и препятствовать ее либеральным устремлениям. Половина его членов назначалась царем, другая избиралась земствами, дворянством, богатейшим купечеством и промышленниками. Эта система гарантировала преданность членов Совета монархическому делу. Что же касается выборов в Думу, то здесь создавалось четыре курии: землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. Эта система опять-таки обеспечивала преимущество имущим классам. Из 7200 выборщиков 56 процентов приходилось на землевладельцев и буржуазию. Один голос помещика приравнивался к 3 голосам состоятельных горожан, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. В представлении Николая Дума и Государственный совет являлись организмами, которые докладывали бы царю о своих мнениях, но ни в коем случае не диктовали ему линию поведения. Принимая некоторое ограничение своих полномочий со стороны законодательной власти, он полагал себя единственным, кто волен сдерживать власть исполнительную. Косо смотря на министров, он охотно прислушивался к советчикам со стороны. Когда встал вопрос об отчуждении у императорской семьи принадлежавших ей земель, дотоле управлявшихся министром двора, вдовствующая императрица потребовала от него проявить непреклонность:

> «Теперь я хочу тебе поговорить об одном вопросе, который меня очень мучает и беспокоит. Это насчет *кабинетных и удельных* земель, которые *эти свиньи* хотят отобрать по программам разных партий…
>
> Нужно, чтобы все знали *уже теперь*, что до этого никто не смеет даже *думать коснуться*, так как это *личные и частные права* императора и его семьи. Было бы *величайшей* и непоправимой исторической ошибкой уступить здесь хоть одну копейку, это вопрос *принципа*, все *будущее* от этого зависит. Невежество публики в этом вопросе так велико, что никто не знает начала и происхождения этих земель и капиталов, которые составляют частное достояние императора и не могут быть *тронуты*, ни даже стать предметом обсуждения: это

никого не касается, но нужно, чтобы все были в этом убеждены». (*Письмо из Амалиенборга, 16 января 1906 г.*)

Но самой большой утешительницей Николая, как и всегда, выступала, конечно же, его благоверная. Своими пламенными речами она льстила его вкусу к абсолютизму. Он доверял ей больше, чем самому себе. С некоторых пор он также охотно прислушивался к советам генерала Трепова, который, уйдя с поста генерал-губернатора Санкт-Петербурга, заступил на должность дворцового коменданта. Теперь он непосредственно отвечал за личную безопасность Его Величества, и в этом качестве он постоянно находился за спиной своего государя и пользовался этим для того, чтобы дискредитировать Витте в глазах императорской семьи. В противоположность Витте Трепов с императрицей Александрой Федоровной внушали государю мысль, что манифестации, устраиваемые ультрамонархистами, выражают мнение большинства народа. Бесчинства черносотенцев казались государю предвестием возвращения здравого смысла в Россию. Вот что писал он своей матери в Данию:

«*Петергоф, 27 октября 1905 г.*

Милая, дорогая мама.

… Прежде всего спешу тебя успокоить тем, что в общем положение стало, конечно, лучше, чем оно было неделю тому назад!

Это бесспорно так! Также не может быть сомнения в том, что положение России еще очень трудное и серьезное.

В первые дни после манифеста нехорошие элементы сильно подняли головы, но затем наступила сильная реакция, и вся масса преданных людей воспряла.

Результат случился понятный и обыкновенный у нас: народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из них – жиды, то вся злость обрушилась на тех – отсюда еврейские погромы. Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией, как всегда – старая знакомая басня! Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам, инженерам, адвокатам и всяким другим скверным людям. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и Одессе ясно показали, до чего может дойти рассвирепевшая толпа, когда она

окружала дома, в которых заперлись революционеры, и поджигала их, убивая всякого, кто выходил.

Я получаю много телеграмм отовсюду, очень трогательного свойства, с благодарностью за дарование свободы, но с ясным указанием на то, что желают сохранения самодержавия. Зачем они молчали раньше – добрые люди? Всю эту неделю я прощался с министрами и предлагал новым занять их места. Об этих переменах Витте меня просил раньше, но у него не все кандидаты согласились пойти. Вообще он не ожидал, что ему будет так трудно на этом месте.

Странно, что такой умный человек ошибся в своих расчетах на скорое успокоение. Мне не нравится его манера разговаривать с разными людьми крайнего направления, причем на другой же день все эти беседы попадают в газеты и, конечно, навранными…»

… Чтобы не дать окончательно отравить себя политически ядом и окунуться в здоровую среду, Николай сблизился с традиционно преданной ему гвардией. Каждый день за редким исключением он бывал на разводе элитного гвардейского полка, а часто по вечерам ужинал за одним столом с офицерами. После трапезы слушали народные песнопения в исполнении солдатских хоров. Их сменяли хриплоголосые цыгане. Иногда перед публикой, одетой в униформу, выступали прославленные солисты – как, например, Шаляпин и Плевицкая. На одну из таких вечеринок был приглашен квартет Кедрова; этот последний рассыпался в дифирамбах простоте этого мощного и недоступного монарха, с которым тем не менее можно запросто разговаривать и петь без всякого стеснения. Военные рассаживались вокруг царя в кружок, курили, выпивали, произносили комические тосты, рассказывали фривольные анекдоты, и Николай хохотал от чистого сердца. Он соглашался осушить залпом бокал шампанского, который ему поднесли под раскаты хора, певшего в его честь «Чарочку». Больше даже – он охотно позволял себя «качать» по русскому обычаю, взлетая в воздух на руках офицеров под громкое «ура!», да так, что генералу Спиридовичу, оставившему свидетельство об этом факте, закралось в душу: а что может подумать публика при виде такого проявления энтузиазма? Не означает ли это принижения монарха в глазах простых смертных? И то сказать, пристрастие монарха к такого рода сборищам беспокоило иных высокопоставленных лиц, которые между собою корили государя за то, что он так теряет свой престиж в глазах армии. Но в адрес

государя из высших кругов раздавались и более серьезные упреки – говорили, будто он напивается на этих ночных пирушках… Но трезвость царя подчеркивалась многими свидетелями. Что притягивало его в офицерскую среду, так это возможность прямого контакта с молодыми людьми из хороших фамилий, честных и дисциплинированных, которые смогут, когда настанет час, встать на защиту его дела, а если понадобится, умрут за него.

С другой стороны, все более ища опору в организациях правого толка, он принимает во дворце делегации «патриотических» образований, среди которых «Союз русского народа» удостоился его августейшей симпатии. Эксплуатируя низменные инстинкты своих приверженцев, главари «Союза» толкали их к насилию, доносам, махровому антисемитизму. Они составляли ядро черносотенцев, устраивавших погромы при молчаливом согласии служб охраны порядка. «Все приемы у государя, – вспоминал генерал Мосолов, – по положению, проходили через церемониальную часть Министерства двора. Но в это время государь действительно принимал несколько раз, помимо церемониальной части, как бы в частном порядке… какие-то черносотенные депутации из провинции. Министр двора об этом узнал постфактум, просматривая камер-фурьерский журнал. Граф Фредерикс не раз указывал Его Величеству на нежелательность и опасность подобных секретных посещений. Государь отвечал: „Неужели я не могу интересоваться тем, что думают и говорят преданные мне лица о моем управлении государством?“ Эти тайные приемы продолжались около полугода».[132]

В январе 1906 года, принимая в очередной раз делегацию «Союза русского народа» во главе с доктором А. Дубровиным, царь выспренне заявил прибывшим: «Объединяйтесь, люди русские, я рассчитываю на вас». И соблаговолил принять из рук визитеров знаки членов черносотенных союзов – себе и царевичу. В ответ на призыв визитеров сохранять самодержавие в неприкосновенности, их радушный хозяин заявил следующее: «Хорошо, благодарю вас. Возложенное на меня в Кремле Московском бремя я буду нести сам и уверен, что русский народ поможет мне. Во власти я отдам отчет перед Богом. Поблагодарите всех русских людей, примкнувших к „Союзу русского народа“. Я верю, что с вашей помощью мне и русскому народу удастся победить врагов России. Скоро, скоро воссияет солнце правды над землей русской, и тогда все сомнения исчезнут. Благодарю вас за искренние чувства. Я верю русскому народу».[133] Правда, из осторожности государь не стал уточнять, что же он имел в виду под «солнцем правды» – Государственную

думу или военную диктатуру? Реакционная генеральша Богданович заносит 18 февраля 1906 года в свой дневник: «Прямо противно это теперешнее настроение якобы „положительных“, „уравновешенных“ патриотов, людей известного возраста. С ними творится что-то необычайное, они верят в „неограниченное“ самодержавие, о котором говорит безвольный, малодушный царь, радуются этим словам, как первой победе над либералами-конституционалистами и революционерами, не понимая, что эти слова приближают только час кровавой развязки».

Аудиенции, даваемые Николаем различным монархическим организациям, оказывали на него пагубное воздействие: они укрепляли его в своих авторитаристских чувствах и отдаляли от министров. 8 декабря он пишет родительнице в Данию:

> *«Милая, дорогая мама.*
>
> *Благодарю тебя от всего сердца за твое доброе горячее письмо, которое пришло как раз 6-го утром и меня ужасно обрадовало.*
>
> *Все, что ты пишешь о себе, меня волнует. Я понимаю, что тебе, вдали от России, все кажется еще серьезнее и хуже. Но не беспокойся о нас, милая мама.*
>
> *Конечно, мне нелегко, но Господь Бог дает силы трудиться и спокойствие духа, что самое главное.*
>
> *Именно это спокойствие душевное, к сожалению, отсутствует у многих русских людей, поэтому угрозы и запугивания кучки анархистов так сильно действуют на них.*
>
> *Без того у нас вообще мало людей с гражданским мужеством, как ты знаешь, ну а теперь его почти ни у кого не видно. Как я тебе писал последний раз, настроение совершенно переменилось. Все прежние легкомысленные либералы, всегда критиковавшие каждую меру правительства, теперь кричат, что надо действовать решительно. Когда на днях было арестовано около 250 главных руководителей комитета рабочих и других партий, все этому обрадовались. Затем 12 газет было запрещено, и издатели привлечены к суду за разные пакости, которые они писали, – опять все единодушно находили, что так нужно было давно поступить!*
>
> *Все это, конечно, дает Витте нравственную силу продолжать действовать как следует!*
>
> *У меня на этой неделе идут очень серьезные и утомительные совещания по вопросу о выборах в Гос. думу. Ее будущая судьба зависит от разрешения этого*

важнейшего вопроса. Ал. Оболенский с некоторыми лицами предлагал всеобщие выборы, т. е. suffrage universel, но я вчера это убежденно отклонил. Бог знает, как у этих господ разыгрывается фантазия!

Сидим мы в заседании по 7 часов – просто отчаяние.

6-го происходил великолепный парад Гвардейскому Экипажу, Стрелкам и другим частям в манеже.

Было чудное солнце, светло и радостно на душе. Я им передал твои поздравления, и матросы долго кричали „ура!“ в ответ.

Накануне все офицеры обедали у нас.

3-го был очередной смотр Преображенцам. Погода была теплая, и Аликс взяла с собой маленького, который смотрел на парад со ступенек подъезда перед дворцом. Полк был очень рад видеть его.

В память этого Николаша был зачислен в списки полка. Enthousiasme indescriptible!

Я так счастлив, что войска полюбили Николашу и верят ему! Недавно он принимал всех командиров частей, причем сказал им такую горячую речь о верности долгу и присяге, что все присутствовавшие плакали, и „ура!“ их было слышно на улице. Это я знаю от самих начальников частей.

Сегодня пришли кавалергарды, и у нас сейчас будет им обед. Завтра утром смотр, – конечно, в конном строю.

Мысли мои будут о тебе, милая мама.

… Христос с тобою!

Всем сердцем

твой Ники».

И еще – 12 января 1906 года по поводу подавления мятежников:

…«На юге России совсем тихо, кроме небольших беспорядков в Полтавской губернии. В Сибири тоже лучше, но еще не кончена чистка железной дороги от всей дряни.

Там на жел[езной] дор[оге] инженеры и их помощники-поляки и жиды, вся забастовка, а потом и революция была устроена ими при помощи сбитых с толку рабочих.

Витте после московских событий резко изменился: теперь он хочет всех вешать и расстреливать.

Я никогда не видал такого хамелеона или человека,

меняющего свои убеждения, как он. Благодаря этому свойству характера почти никто больше ему не верит, он окончательно потопил самого себя в глазах всех, может быть, исключая заграничных жидов».

Зато новый министр юстиции, М.Г. Акимов, удостаивается у него самой высокой похвалы:

«Мне очень нравится новый министр юстиции Акимов. Он был сенатором, помещик Саратовской губернии, ушел от службы потому, что не разделял взглядов Муравьева. Он, к сожалению, немолод, но замечательно бодрый и энергичный, с честными взглядами и начал сильно подтягивать свое поганое ведомство.

Дурново – внутрен[них] дел – действует прекрасно; я им тоже очень доволен. Остальные министры – люди sans importance!» (Не имеющие никакой важности. – *С.Л.*)

И в заключение – лишь пара строк о домашних делах:

«Дети все поправились – они простудились в одно время и на праздниках валялись в постелях вокруг елки».

Порицаемый своим государем, убежденный в необходимости выхода в отставку еще до конца года, Витте тем не менее отчаянно борется за спасение России от беспорядка и банкротства. Война с Японией опустошила казну. С целью ее пополнения Витте решает разместить на международном рынке 6 %-ный заем на сумму в 2 млрд. 250 млн. франков и устраивает по этому поводу переговоры с французским правительством и французскими банкирами. Франция ответила согласием – при условии, что Россия поддержит ее на Алжезирасской конференции по марокккскому вопросу. Дебаты тянулись долго, но в конце концов сделка была заключена 5(18) апреля 1906 года, как раз перед открытием Государственной думы – что ставило Витте в сильную позицию ввиду предстоящего мероприятия. Он также занялся выработкой окончательной редакции основных законов. Текст оных был предложен вниманию совещания 9 апреля с участием Вел. Князей Владимира Александровича, Николая Николаевича и Михаила Александровича, всех министров и нескольких членов Государственного совета. Вел совещание хозяин земли русской. «В то время крестьянство, а следовательно, и значительная часть Думы, поддерживали идею принудительного отчуждения земли в пользу крестьянства, – писал Витте. – … Между тем, по предложению Горемыкина, было решено ни в коем случае не допустить Государственную думу до

обсуждения вопроса о крестьянском земельном устройстве».[134] В противном случае правительство заранее решило такую Думу разогнать. Витте решительно выступал против такой «ампутации» законодательных прав Думы. Но был и более серьезный вопрос: 4-я статья проекта, где говорилось, что «Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. В прежнем тексте стояло также и слово „неограниченная“».

Государь высказался по этому поводу так: «Вот главнейший вопрос… Меня все время мучает чувство, имею ли я перед моими предками право изменить пределы власти, которую я от них получил… Это дело моей совести, и я решу его сам».

Заявление государя вызвало необычайное волнение в зале – сгорая от нетерпения, Витте воскликнул: «Этим вопросом разрешается все будущее России!..» Государь с этим согласился. «Если Ваше Величество считаете, что не можете отречься от неограниченной власти, – сказал Витте, – … тогда нельзя и переиздавать (т. е. править. – *С.Л.*) основные законы».

К удивлению царя, все присутствующие одобрили такое дерзновенное выступление. Граф Пален уважительно заявил:

> «Я не сочувствовал 17-му октября, но оно есть. Вам, государь, было угодно ограничить свою власть».

Министр внутренних дел Дурново добавил к сказанному:

> «После актов 17 октября и 20 февраля неограниченная монархия перестала существовать».

И даже сам Вел. кн. Николай Николаевич, которого никак не заподозришь в либерализме, высказался аналогично:

> «Манифестом 17 октября слово „неограниченная“ В(аше) И(мператорское) В(еличество) уже вычеркнули».

Сраженный Николай заявил: «Свое решение я скажу потом».[135] Обсуждение продолжилось 11 и 13 апреля. Когда оно закончилось, государь заявил: «Я решил остановиться на редакции Совета министров». Это означало следующее: царь остается самодержцем, но его власть более не является «неограниченной». Что же это за самодержец, если его воля подчинена избранной ассамблее? Никто во всей России точно сказать не мог.

Вот в этой двойственной атмосфере и велась подготовка к открытию Государственной думы. В противоположность ожиданиям правительства выборы дали левое большинство, из

524 депутатов оказалось 148 кадетов, 63 «автономиста» (поляки, литовцы и т. д.) и 111 крестьян-«трудовиков». Уже тогда ходили разговоры, что эта Дума сменится крестьянской. «Царь, – пишет мадам Богданович 1 апреля 1906 года, – … высказал на это удовольствие, что крестьяне-де его любят. На это ему сказали, что крестьяне потребуют земли. Ответ царя был: „Тогда им покажут шиш“. На это пришлось сказать: „Они взбунтуются“. Ответ царя: „Тогда войска их усмирят“. Не понимает царь своего положения, не понимает, что доживает царем теперь последние дни».

Едва избранные в Думу, многие депутаты выказали раздражение тем, что новые основные законы были опубликованы до начала ее работы. Поставленные перед свершившимся фактом, они почувствовали себя одураченными царем и его советниками.

Уставши от нападок, которые обрушивались на него как слева, так и справа, Витте счел, что, подавив революцию и разместив русский заем, он свою задачу выполнил. 14 апреля 1906 года он подал на высочайшее имя просьбу об отставке, указывая на неодобрение им политики министра внутренних дел, который своими репрессивными мерами «раздражил большинство населения и способствовал выборам крайних элементов в Думу как протест против политики правительства». Слагая с себя полномочия, он притворно вздыхает с облегчением: «Вошло как бы в сознание общества, что, несмотря на мои самые натянутые отношения к Его Величеству, или, вернее говоря, несмотря на мою полную „опалу“, как только положение делается критическим, сейчас начинают говорить обо мне… Но забывают одно – что всему есть конец…»[136] И решил отправиться на отдых за границу. Зато царь вздохнул с отнюдь не притворным облегчением, избавившись наконец-то от такого помощника. Приняв отставку Витте, он тут же, председательствуя на совещании, назначил на его место его закоренелого противника – Горемыкина, ретроградного и крайне ограниченного деятеля. «Это был бюрократ, – пишет о нем французский посол Морис Бомпар, – из самой заскорузлой породы…» И уточняет в письме в адрес Кэ д’Орсэ:[137]«На все проблемы, которые ныне являются в таком угрожающем фасоне, в памяти Горемыкина непременно отыщется статья или закон, в котором найдется удовлетворяющее его решение. И вот такой-то, кому быть только приемщиком в регистратуре, председательствует в революции!» Экстравагантный выбор Горемыкина объясняется тем, что сия персона пользовалась личною благосклонностью Александры Федоровны. Даже Извольский, столь благожелательно расположенный к императорской семье, признает, что это назначение нельзя объяснить не чем иным, как тем, что

Горемыкин умел доставить приятное царице, будучи членом различных благотворительных обществ, которые она возглавляла. Вступив в должность, Горемыкин окружил себя помощниками, известными своими реакционными взглядами, за исключением слывшего либералом Извольского, которому достался портфель министра иностранных дел, и нового министра внутренних дел Столыпина – человека с характером, которого уже прочили в спасители России от полного банкротства.

Торжественное открытие Государственной думы было назначено на 27 апреля (10 мая) 1906 года. Специально для заседаний был приспособлен Таврический дворец в Петербурге, бывшее жилище кн. Потемкина. Но царю хотелось обозначить дистанцию, отделяющую его венценосную особу от избранников нации. Вместо того чтобы самому нанести визит в их зал заседаний, он пригласил их к себе, в исторические помещения Зимнего дворца, рассчитывая подавить их пышностью и блеском декора рококо, убедив в собственной ничтожности перед венценосной персоной. В глубине огромного Георгиевского зала, на платформе высотою в несколько ступеней был воздвигнут трон под красным и золотым балдахином; на нем покоилась императорская горностаевая порфира. По бокам от трона разместились особые красные табуреты для государственных регалий. Вдоль стен были отведены места для членов законодательных палат – справа для Государственного совета, слева для Государственной думы, – разделенные широким проходом. На трибуне Государственного совета разместились также высшие сановники в шитых золотом и усыпанных орденами придворных и военных мундирах. На особой трибуне разместился в полном составе дипломатический корпус.

Парадные одеяния резко контрастировали с сумрачной массой думцев в угрюмом городском и сельском платье, в этой толпе порою мелькал фрак, надетый по торжественному случаю адвокатом или провинциальным врачом. Но преобладали все-таки крестьянские кафтаны и рабочие блузы. «Всего прискорбней, – расскажет потом Извольский, – было наблюдать за выражениями лиц тех, кто наблюдал, как меж двух рядов военных плотным строем проходили депутаты. Иной почтенный генерал, иной убеленный сединами чиновник с трудом скрывали ошеломление, даже раздражение, которое вызывало в нем нашествие в священные стены дворца этих чужаков, чьи взгляды сияли триумфом, а лица порою бывали перекошены ненавистью».

… В середине дня в Зимнем дворце началось торжественное действо. Высшие сановники внесли государственные регалии, привезенные из Москвы: Государственное знамя,

Государственный меч – символ правосудия, скипетр, украшенный самым крупным в мире – в 400 карат! – алмазом «Орлов»; державу и сверкающую бриллиантами Большую Императорскую корону. Государя сопровождали императрица-мать и царствующая императрица, обе в белых платьях и жемчужных кокошниках; пажи несли их длинные шлейфы. За ними шествовали Великие князья и княгини, придворные чины; шествие замыкали фрейлины в русских костюмах и военная свита государя.

Внесли аналой, и в зал медленно втек поток высших церковных служителей в тиарах и расшитых золотом ризах; после краткого молебна, который служили митрополиты Петербургский, Московский и Киевский, император неторопливо поднялся по ступеням и воссел на трон. Граф Фредерикс подал монарху на золотом подносе текст речи. Поднявшись с трона, царь зачитал ее ясным голосом, но бумага дрожала в его руках. «С пламенной верой в светлое будущее России, – изрек венценосец, – я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя… Я же буду охранять непоколебимые установления, мною дарованные, с твердой уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение отечеству для выяснения нужд столь близкого моему сердцу крестьянства, просвещение народа и развитие его благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода – необходим порядок на основе права».[138]

Однако депутаты от оппозиции почувствовали себя обведенными вокруг пальца, ибо монарх не сказал об амнистии ни слова, а между тем в их глазах было совершенно необходимо, чтобы по случаю открытия новой эры были освобождены все политические заключенные. Произнесение монархом речи сопровождалось ледяным молчанием. В какой-то момент один старый генерал возгласил: «Да здравствует император!» – и несколько консервативных депутатов подхватили клич; но было уже слишком поздно. Смущенный оттого, что его не так поняли, Николай направился к себе в покои. Александра Федоровна с трудом сдерживала слезы. Особенно тяжкое впечатление от этого, по ее собственным словам, «ужасного приема» осталось у вдовствующей императрицы: «толпа новых людей, впервые заполнивших дворцовые залы», внушала ей ужас. «Они смотрели на нас, как на своих врагов, и я не могла отвести глаз от некоторых типов – настолько их лица дышали какой-то непонятной мне ненавистью против нас всех».[139]

Что касается Мориса Бомпара, то он писал своему министру следующее: «Крестьяне были шокированы той роскошью, которая

столь вызывающе контрастировала с убогой нищетой, привычными свидетелями которой им довелось быть до сих пор. Они не очень-то приветствовали императора при его прохождении и молчаливо выслушали его речь, в которой не ставился вопрос ни об амнистии, ни о земле».

Таким образом, рассчитывая ослепить своих нижайших подданных блеском императорского двора, Николай только настроил их против себя. Четверть столетия назад они пали бы ниц при одном только его появлении; теперь они держат голову высоко. «По завершении церемонии, – пишет княгиня Катрин Радзивилл, – царя спросили, что произвело на него наибольшее впечатление. Он тут же ответил, что от его глаз не укрылось, что у некоторых депутатов из числа сельских жителей кафтаны были неновые – уж могли бы купить обновку по такому случаю!»

Но, выйдя из дворца, депутаты сразу же попали в окружение толпы. Внезапно наступившая популярность опьянила их. Когда пароход, везший их к Таврическому дворцу, проплывал по Неве мимо мрачного узилища с названием «Кресты», что на Выборгской стороне, арестанты махали им из зарешеченных окон всех камер платками, крича: «Амнистия!», «Амнистия!». Это же слово выкрикивали и толпы людей, сгрудившиеся на набережной и протянувшиеся от пристани до самого Таврического дворца. Депутаты поздравляли друг друга, ощущая свершившееся как свою первую победу над монархией.

Глава девятая
Царизм и парламентаризм

Согласно основным законам государства император назначает своих министров по своему усмотрению и совершенно не обязан увольнять их в случае вотума недоверия со стороны Думы. Точно так же, при том, что председатель этой ассамблеи уполномочен представлять личные рапорты царю для информирования Его Величества о настроениях депутатов, государь волен был не придавать им никакого значения. Кстати сказать, бюджеты армии, флота и двора ускользали из-под контроля народных избранников. Кроме того, правительство оставляло за собой право публикации документов законодательного характера в период думских каникул на условиях передачи их на ее рассмотрение в ходе следующей сессии.

С самого своего вступления в игру депутаты расценили подобное ограничение собственной власти как нетерпимое. Едва проглотив помпезное выступление царя в Зимнем дворце, они оказались в бурной атмосфере дворца Таврического. Ни один министр не соблаговолил пожаловать на первое рабочее заседание Думы. Впрочем, такое игнорирование вовсе не печалило их. Потому что, по их мыслям, задача народных представителей состоит в том, чтобы диктовать царю его линию поведения, а не выслушивать заявления тех или иных представителей правительства, которые всего-навсего слуги Его Величества. Дружное голосование вознесло профессора римского права С.А. Муромцева в кресло председателя ассамблеи. Заняв председательское место, Муромцев вне всякой очереди предоставил слово кадету левых взглядов И. Петрункевичу, патриарху русского неолиберализма. «Долг чести, долг совести, – изрек тот, – требует, чтобы первое свободное слово, сказанное с этой трибуны, было посвящено тем, кто свою жизнь и свободу пожертвовал делу завоевания русских политических свобод. Свободная Россия требует освобождения всех, кто пострадал за свободу».[140] Эта речь явилась дерзновенным камуфлетом[141] для монарха, в тронной речи которого не содержалось ни малейшего намека на амнистию. Но для либерального большинства Думы эта амнистия являлась вопросом первой срочности. Она фигурировала во главе всех требований, перечисленных депутатами в выработанном на месте адресе, направленном самодержцу. От этих немыслимых запросов мозги

у народных избранников раскалились добела. Каждый выступал со своим предложением. «Редакторы (адреса монарху) все взяли в свои руки, – писал Морис Бомпар своему министру Леону Буржуа в Париж. – Достаточно было какому-нибудь депутату сформулировать пожелание в либеральном духе, как его тут же включали в адрес». И далее: «Это явилось для меня уникальным спектаклем – 450 депутатов, заседая по восемь-десять часов в день, благоговейно выслушивают без отдыха все те же фразы, до пресыщения повторяемые с трибуны, встречая аплодисментами и всегда единодушным голосованием самые крайние предложения». Редкие прошедшие в Думу депутаты крайне правых взглядов тщетно пытались остудить реформаторский пыл своих коллег. Один из них, думая оскорбить депутата Караулова словом «каторжник», выслушал от него достойную отповедь: «Да, я был каторжником, с обритой головой и ногами в кандалах. Я прошел тот бесконечный путь, которым меня гнали в Сибирь. Мое преступление заключалось в следующем: я хотел дать вам возможность заседать на этих скамьях. Я пролил свою долю в море слез и крови, которое принесло вас сюда!» Когда оратор кончил, собрание встало с мест и устроило ему овацию.

Работа над редактированием адреса государю заняла 5 заседаний и закончилась почти единодушным голосованием – для полного единогласия не хватило всего шести голосов. Помимо всеобщей амнистии, принятая редакция содержала требования создания министерства, ответственного перед Думой, упразднения Государственного совета, расширения прав депутатов в законодательной и бюджетной областях, отмены закона о чрезвычайном положении, утверждения точной регламентации в вопросах, касающихся личной свободы, свободы совести, свободы слова и печати, свободы ассоциаций, собраний и забастовок, полного равенства всех граждан перед судом вне зависимости от классовой принадлежности, национальности, конфессии и пола, полной отмены смертной казни, экспроприации земель и признания справедливых требований инородцев. Программа получилась столь радикальной, что даже те, кто лихорадочно выработал ее, отдавали себе отчет в том, что она не имела ни малейшего шанса быть принятой царем.

А тот и впрямь был обескуражен, опечален таким к себе отношением народных представителей. Чем больше он стремился к примирению с ними, тем меньше они желали с ним считаться! Он думал, что обретет в их лице помощников, а встретил в них лишь врагов. Этот народец не умеет быть благодарным, он умеет только требовать! Кого они из себя воображают? Надо преподать им хороший урок! Для вручения адреса хозяину земли русской

Дума снарядила депутацию. Николай отказался ее принять, а 13 мая 1906 года Горемыкин в окружении представителей своего министерства явился в Таврический дворец, чтобы зачитать думцам правительственное заявление. Ошеломленные депутаты узнали, что все их предложения отвергнуты. По залу прокатился ропот возмущения. Ораторы от всех депутатских групп выходили на трибуну, требуя от кабинета министров роспуска. Повестка дня в спешном порядке перекраивалась – Дума объявила, что ввиду отказа от возможности удовлетворения требований народа, без выполнения которых ни усмирение страны, ни плодотворная деятельность по народному представительству не представляются возможными, она отказывает правительству в доверии. Решение было принято подавляющим большинством за вычетом одиннадцати голосов. При этом как бы не замечалось, что согласно основным законам министры не несут ответственности перед палатами. Игнорируя рамки, которые ей были поставлены с самого начала, Дума сразу же вообразила себя неким учредительным собранием, наделенным суверенными правами. Ввиду подобной неслыханной дерзости Горемыкину и его коллегам ничего не оставалось, как только пожать плечами.

Будучи в курсе споров, Николай, сдерживая свою злость – надо отдать ему должное! – решил следить за тем, что же будет дальше. А далее в ответ на словесное возбуждение в Думе усилились волнения и в городе, и на селе: покушения на представителей администрации, погром в Белостоке, мятеж в 1-м батальоне Преображенского полка… Каждое из этих событий отзывалось эхом в Таврическом дворце, где словесный поток не прекращал литься ни днем, ни ночью. На каждом заседании обсуждали в среднем по пяти запросов, и ни один министр не отвечал на них. Тех же, кто пытался это делать, освистывали, и он больше не отваживался. «Дума бурлит, – пишет Морис Бомпар Леону Буржуа, – скажу точнее, варится в собственном соку. Страсти мало-помалу обостряются, и самые неистовые с каждым днем усиливают свои позиции. Умеренные, составляющие подавляющее большинство, уклоняются; они все жалуются на слепоту правительства, но… опустив голову и с беспокойством в сердце, оставляют поле экстремистским партиям».

Вот так, с грехом пополам, заведомо зная, что не будут услышаны, депутаты продолжали работать. Так, они единодушно проголосовали за отмену смертной казни. Но более всего их волновала аграрная программа, ввиду того что крестьяне напутствовали их как можно скорее решить земельный вопрос. Кадеты выдвинули проект принудительного отчуждения лишь земель, сдаваемых в аренду, в то время как «трудовики»

предлагали отчуждение, и притом безвозмездное, всех частновладельческих земель.

Решив опередить Думу, 20 июня Горемыкин публикует в «Правительственном вестнике» официальное коммюнике, которое в принципе отвергает экспроприацию земель. В ответ на это Дума обращается непосредственно к населению с заявлением, что она «от принудительного отчуждения частновладельческих земель не отступит, отклоняя все предложения, с этим не согласованные». Это обращение было принято всего лишь 124 голосами кадетов (при 53 против и 101 воздержавшемся). Но, даже несмотря на столь скромный результат, показанный при голосовании, Дума дала самодержцу понять, что она неподконтрольна. Дерзкий вызов, брошенный депутатами, был с энтузиазмом встречен во Франции и в Англии. Находясь в непосредственной близости от эпицентра событий, Морис Бомпар дает трезвый анализ непоследовательности дебатов российских парламентариев. «Кадеты, – пишет он, – доктринеры, чтобы не сказать визионеры, которые грезят одним махом водворить в России конституционный режим, тогда как нам понадобился целый век и несколько революций, чтобы он прижился у нас. А между тем Россия менее подготовлена для этого, чем любая из западных наций, вступавших на этот путь… Кадеты игнорируют то обстоятельство, что политика есть искусство возможного. Вместо того, чтобы удовлетвориться на данном этапе либеральными реформами, реальными ценностями, дарованными в принципе октябрьским манифестом, они неколебимо придерживаются школьных теорий, от которых они ни за что не захотят отступиться и которые приведут их к потере всего».

Некоторые министры уже предлагали царю по-простому вчистую распустить Думу. Царь еще колебался. По его инициативе начались переговоры с самыми умеренными представителями кадетов. Возникла мысль о правительственной комбинации, объединяющей Муромцева и Милюкова. Но оба продемонстрировали такую непреклонность, что царь решился на крайний шаг. «Теперь у меня нет более никаких колебаний, – заявил он Коковцеву, – да их и не было на самом деле, потому что я не имею права отказываться от того, что мне завещано моими предками и что я должен передать в сохранности моему сыну». [142] Согласно его приказу правительство принимает решение о роспуске Думы. Поскольку Горемыкин никак не решался на этот рискованный шаг, экзекуция была поручена Столыпину, призванному председательствовать в Государственном совете. Этот последний предпринял военные меры предосторожности во всей империи. Дата роспуска держалась в строжайшем секрете; но

в городе ходили слухи об этом как о чем-то предрешенном. В момент откровенности Николай поведал Коковцеву: «Бог знает что произойдет, если не распустить этого очага призыва к бунту… Я не раз говорил Горемыкину, что вопрос идет просто об уничтожении монархии… Во всех возмутительных речах не упоминается моего имени, как будто власть – не моя… Ведь от этого только один шаг к тому, чтобы сказать, что я не нужен и меня нужно заменить кем-то другим… Я обязан перед моей совестью, перед Богом и перед родиной бороться и лучше погибнуть, чем без сопротивления сдать власть тем, кто протягивает к ней свои руки».[143]

… Явившись поутру к Таврическому дворцу 9 июля 1906 года, депутаты нашли двери закрытыми и под охраной часовых. Соседние улицы патрулировались войсками и полицейскими силами с целью предотвращения бунта. В тот же день газеты опубликовали коммюнике, возвещавшее о роспуске Думы без указания даты новых выборов. «Свершилось! – не скрывая радости, записал государь в свою тетрадку. – Дума сегодня закрыта. За завтраком после обедни заметны были у многих вытянувшиеся лица. Днем составлялся и переписывался манифест на завтра. Подписал его около 6 час. Погода была отличная… Катался на байдарке».

Между тем уже 9 июля многие члены Думы – кадеты, «трудовики», социал-демократы, – приведенные в отчаяние царским манифестом, выехали в Выборг (находившийся на территории Финляндии и потому вне пределов досягаемости русской полиции) для обсуждения вопросов, что же делать дальше. Поздно вечером в этот же день бывшие члены Думы собрались в гостинице «Бельведер» – приехало до 190 человек, на следующий день к ним присоединились вновь прибывшие, 10 июля было издано воззвание, призывавшее народ к пассивному сопротивлению:[144] ни копейки налогов в казну, ни одного рекрута в армию, не подписываться на займы, заключенные правительством в период конфликта! Такого рода акция думцев не имела под собою легальной почвы, тогда как роспуск Думы явился актом вполне законным. Говоря об этом отчаянном шаге депутатов, Столыпин бросил: «Это буффонада!» Он запретил публикацию и распространение выборгского манифеста, но это не остановило подписавшихся. Несколько позже участвовавшие в составлении воззвания были привлечены к суду, который состоялся почти через полтора года – 12–18 декабря, 1907 г. Он поступил с ослушниками круто.[145] В стране же отчаянный клич «выборжцев», как их стали называть, не произвел никакого отзыва, возмущались только политики. Такая осечка противников

режима побудила Столыпина к решительным и брутальным действиям, чтобы закрепить свой успех. Выходец из благонамеренной дворянской семьи, крупный помещик, в прошлом саратовский губернатор, он был, несомненно, консерватором в душе, но не мыслил монархию вне лояльного сотрудничества с народными представителями. Он еще верил в возможность этого старого, патриархального союза царя с народом – если, конечно, выкорчевать с корнем ностальгическую тоску по хаосу. Чтобы водворить спокойствие в умы, он закрыл два десятка прогрессивных газет, запретил публичные собрания, распустил подозрительные ассоциации. Со своей стороны, революционные партии, которые притихли в период работы Государственной думы, вновь перешли к вооруженной борьбе. Военные мятежи вспыхивали в Полтаве, Брест-Литовске, Кронштадте, Свеаборге, на нескольких кораблях и во многих полках. По всей территории империи множились нападения на государственные кассы и частные банки – на языке авторов подобных акций этот род разбоя именовался «экспроприацией». [146] А уж убийства полицейских, губернаторов, тайных агентов и вовсе не поддавались учету. Среди наиболее высокопоставленных царских слуг, павших жертвой этой широкомасштабной охоты, фигурировали главный военный прокурор Павлов, петербургский градоначальник фон дер Лауниц, генерал Г.А. Мин, командовавший Семеновским полком, подавившим московское восстание, граф А.П. Игнатьев (которого одно время прочили в преемники Витте), самарский губернатор Блок, варшавский генерал-губернатор Вонлярлярский, симбирский губернатор Старынкевич… «Теперь кто едет из Петербурга, – записал 30 мая 1907 года в своем дневнике А.С. Суворин, – берет револьвер, а потом билет. Ходить с револьвером – ведь это значит жить на войне».

И в самом деле, наиболее видные официальные лица уже не отваживались показать носу из дому. Досталось и Столыпину: 12 августа 1906 года трое террористов, двое из которых были переодеты офицерами жандармерии, проникли в приемную его дачи на Аптекарском острове. У каждого из них был портфель, начиненный взрывчаткой. В момент разоблачения агентом они взмахнули своими портфелями и с криком «Да здравствует свобода! Да здравствует анархия!» швырнули их перед собою; мощный взрыв сотряс стены, полетели стекла. Часть дома была разрушена, 27 человек (в том числе и сами террористы) погибли на месте, 32 ранены (шестеро умерли от ран на следующий день). Рухнул балкон, на котором находились 14-летняя дочь Столыпина и его трехлетний сын – они были тяжко покалечены осколками

камней. Сам Столыпин в этот раз остался невредим. Вот что писала по этому поводу вдовствующая герцогиня (оригинал по-французски):

«Сердце страдает от всех ужасов, которые происходят; единственное утешение – быть вместе и иметь возможность поговорить, но и оно отнято невыносимым карантином. Не могу тебе выразить, как много я думаю всегда о тебе, о том, как ты должен страдать, мой бедный Ники. Сколько печали и несчастий, каждый день новое испытание, новое горе. Право, чувствуешь утомление от страданий…

Когда же окончатся все эти ужасы преступлений и возмутительных убийств? Мы никогда не будем иметь отдыха и покоя в России, пока не будут истреблены все эти чудовища. Благодарение Богу, что бедным маленьким Столыпиным стало лучше, и какое чудо, что Столыпин уцелел! Но *какое* страдание для несчастных родителей видеть подобные мучения своих собственных детей, – и это и множество других невинных жертв! Это до такой степени чудовищно и *возмутительно*, что у меня нет слов выразить все, что я чувствую.

Я собираюсь уйти во вторник на „Полярной звезде“, чтобы приехать в Копенгаген одновременно с тетей Аликс, и все же *очень* хочу, чтобы Мима сопровождал меня, так как *мне так грустно ехать совсем одной*. „Полярная звезда“ должна все равно через несколько дней вернуться, и, следовательно, он сможет возвратиться на ней».

(*16 августа 1906 г.*)

В тот же вечер, когда на него было совершено покушение, исполненный самообладания Столыпин созвал в Зимнем дворце Совет министров и объявил, что, несмотря на события, его программа останется неизменной: революции – беспощадный отпор, стране – разумные реформы. Наиболее неотложные проблемы урегулируются посредством декретов.

Для начала Столыпин учреждает во всех регионах военно-полевые суды, заменяющие обычные трибуналы, где разбирательство тянулось слишком медленно. Согласно статье 179 Военного кодекса предание суду происходило в пределах суток после убийства или грабежа, и приговор приводился в исполнение в течение 24 часов. Выведенный из себя непониманием либералов и наглостью террористов, Николай без колебаний принял репрессивную политику Столыпина. Как знать, вдруг эти бомбометатели посягнут и на его покойное убежище в Петергофе?! 27 августа он пишет председателю Государственного совета (который сам еще не оправился от шока):

«На последнем докладе вы мне сказали, что к воскресенью, т. е. к сегодняшнему дню, будут арестованы те лица в Петергофе, которые готовят террористические акты.

Между тем я узнал от Трепова, что еще ничего не сделано.

Считаю свое невольное заключение в „Александрии“ не только обидным, но прямо позорным.

30 августа будет парад в моем присутствии, и к этому дню Петергоф должен быть обезврежен.

Невозможно дольше ждать с ликвидацией здешней „облавы“ – иначе или случится новое покушение, или анархисты улизнут. И то и другое будет вящим скандалом перед всем миром. [147]

Николай».

Несколько дней спустя – а именно в вышеозначенный день, 30 августа 1906 года, он пишет матери:

«… Ты понимаешь мои чувства, милая мама, не иметь возможности ни ездить верхом, ни выезжать за ворота куда бы то ни было. И это у себя дома, в спокойном всегда Петергофе!!

Я краснею писать тебе об этом и от стыда за нашу родину и от негодования, что такая вещь могла случиться у самого Петербурга!

Поэтому мы с такою радостью уходим завтра на „Штандарте“ в море, хоть на несколько дней прочь от всего этого позора».

Впрочем, первые результаты «чисток» среди революционеров показались ему воодушевляющими. Вернувшись из круиза на «Штандарте», он пишет вдовствующей императрице:

«Со времени нашего приезда я уже видел Столыпина, который раз приезжал в Биорке. Слава Богу, его впечатления вообще хорошие; мои тоже. Замечается отрезвление, реакция в сторону порядка и порицание всем желающим смуты.

Конечно, будут повторяться отдельные случаи нападений анархистов, но это было и раньше, да оно и ничего не достигает.

Полевые суды и строгие наказания за грабежи, разбои и убийства, конечно, принесут свою пользу. Это тяжело, но необходимо и уже производит нужный эффект.

Лишь бы все власти исполняли свой долг честно и не страшась ничего. В этом условии главный залог успеха.

Какой срам производят в Гельсингфорсе все наши Долгорукие, Шаховские и компания! Все над ними смеются в России!

И из Англии лезет какая-то шутовская депутация с адресом

Муромцеву и им всем.

Дядя Берти[148] и английское правительство дали нам знать, что они очень сожалеют, что ничего не могут сделать, чтобы помешать им приехать. Знаменитая свобода!

Как они были бы недовольны, если бы от нас поехала депутация к ирландцам и пожелала тем успеха в борьбе против правительства!»

Чем большую энергию выказывал Столыпин, тем большее доверие оказывал ему царь. Рост масштабов применения высшей меры наказания казался обоим гарантией от беспорядка. Анализируя ситуацию, Николай пишет родительнице:

«Как приятно знать, что на местах люди ожили, потому что почувствовали честную и крепкую власть, которая старается оградить их от мерзавцев и анархистов!

Ты, наверное, читаешь в газетах многочисленные телеграммы Столыпину со всех сторон России. Они все дышат доверием к нему и крепкою верою в светлое будущее!

А в этой уверенности, с помощью Божией, залог приближающегося успокоения России и начало правильного улучшения жизни внутри государства.

Но при всем том необходимо быть готовым ко всяким случайностям и неприятностям, сразу после бури большое море не может успокоиться!

Вполне возможны еще пакостные покушения на разных лиц. Я все еще боюсь за доброго Столыпина. Вследствие этого он живет с семейством в Зимнем и приходит с докладами в Петергоф на пароходе.

Я тебе не могу сказать, как я его полюбил и уважаю».

(*Письмо от 11 окт. 1906 г.*)

Всецело приветствуя усилия, прилагаемые председателем Совета для санации атмосферы в стране, Николай тем не менее норовил остаться в стороне от практического применения уголовных наказаний. Для успокоения совести он требовал, чтобы судьи военно-полевых судов делали свое дело, не апеллируя к верховной монаршей власти. По всей очевидности, он чувствовал – мягкая у него душенька, еще даст слабину при рассмотрении тех или иных частных случаев! Когда московский генерал-губернатор адмирал Дубасов, слегка раненный юным террористом, ходатайствовал о помиловании покушавшегося – ведь он же совсем еще дитя, сбитое с толку! – Николай так ответил ему 4 декабря 1906 года: «Полевой суд действует помимо вас и помимо меня; пусть он действует по всей строгости закона. С озверевшими людьми другого способа борьбы нет и быть не может. Вы меня знаете, я незлобив: пишу Вам совершенно

убежденный в правоте моего мнения. Это больно и тяжко, но верно, что, к горю и сраму нашему, лишь казнь немногих предотвратит моря крови и уже предотвратила».[149] Специальным указом Николай запретил впредь подавать ему прошения о помиловании: их надлежало подавать на рассмотрение командующих военными округами. Вернувшийся из путешествия во Францию и Бельгию Витте вознегодовал: «Мужчин, женщин и юных мальчиков казнят по обвинению в политическом убийстве за кражу пяти рублей из водочной лавочки», – писал он, несколько преувеличивая. И сразу же занял враждебную позицию репрессивной политике правительства. Его возвращение вызвало раздражение Николая, и тот поведал о том своей матери в письме от 2 ноября 1906 г.:

«Сюда вернулся на днях, к сожалению, гр. Витте. Гораздо умнее и удобнее было бы ему жить за границею, потому что сейчас около него делается атмосфера всяких слухов, сплетен и инсинуаций. Уже скверные газеты начинают проповедывать, что он вернется к власти и что он только один может спасти Россию. Очевидно, жидовская клика опять начнет работать, чтобы сеять смуту, которую с таким трудом мне и Столыпину удалось ослабить. Нет, никогда, *пока я жив*, не поручу я этому человеку самого маленького дела!

Довольно прошлогоднего опыта, о котором я вспоминаю, как о кошмаре».

К этой самой «жидовской клике» царь относился с такой подозрительностью, что отказался подписать столыпинский проект об отмене ограничений, налагаемых на еврейское население. «Петр Аркадьевич, – писал царь Столыпину 10 декабря 1906 г. – Возвращаю вам журнал по еврейскому вопросу неутвержденным. Задолго до представления его мне, могу сказать, и денно и нощно я мыслил и раздумывал о нем. Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям… Мне жалко только одного: вы и ваши сотрудники поработали так долго над делом, решение которого я отклонил».[150]

Вполне естественно, министры согласились. Евреи остались в своих гетто. Вместе с тем сам Столыпин усердно открещивался от звания «поборника нетерпимости». Ведь как называли виселицу иные депутаты левого крыла? «Столыпинским галстуком!» А ведь, преследуя революционеров, он не хотел иного, как улучшить судьбу трудящихся и лояльных масс! Строгость по отношению к

зачинщикам беспорядков и поиск согласия со здоровыми слоями нации – вот его девиз! Эта личность, приближавшаяся едва к середине пятого десятка, импозантного роста, с обрамленным густой черной бородой лицом, умением говорить легко и убедительно, создавала у своего окружения впечатление солидности, ясности ума и бравуры. Владелец обширных поместий, он прекрасно знал les moujiks и проницательно анализировал причины их нищеты. Воспользовавшись восьмимесячным интервалом, отведенным для созыва 2-й Думы, он подготавливает большую аграрную реформу. Помощником на этом поприще ему служит А.В. Кривошеин – с 1908 года главноуправляющий земледелием и землеустройством (выражаясь современной терминологией, министр сельского хозяйства), человек энергичный, изобретательный и компетентный. Идея Столыпина заключалась прежде всего в том, чтобы *преобразовать мир*– стародавнюю коллективную собственность крестьянства – в индивидуальную. Указом от 9 ноября 1906 г. всякий глава крестьянской семьи с одобрения 2/3 жителей его деревни получал право выделиться из массы общинных земель и обрести в собственность клочки земли, которые доселе находились у него лишь в пользовании. Более того, он мог потребовать, чтобы община обменяла ему эти клочки, часто разбросанные, на единый о́труб той же площади.

Этот смелый замысел должен был, по мысли его инициаторов, создать класс новых владельцев – своего рода земледельческое Tiers Etat,[151] призванное обогащаться путем праведных трудов и предпочитающее порядок мятежам и волнениям. Идя навстречу чаяниям этих мелких буржуа от земли, Столыпин расширил операции Крестьянского банка. Благодаря системе выгодных ссуд им удавалось покупать все больше и больше пахотных земель у помещиков. Двумя дополнительными декретами выпускались в продажу 10 миллионов десятин казенных земель и «удельных», входивших в личную собственность членов императорской семьи. В какие-нибудь 8 лет три миллиона хлебопашцев – глав крестьянских семейств – вышли из общины, чтобы стать индивидуальными собственниками, а площадь земель, находившихся в их собственности, возрастала с удивительной быстротой. Иные из них обосновались на собственных участках за пределами деревни, отдельно от односельчан. Конфигурация русской деревни претерпевала изменения. С самого начала этой метаморфозы становилось очевидным, что в выигрыше оказались самые сильные, самые предприимчивые, самые алчные до наживы мужики. Такие получали прозвище «кулаки». Другие продолжали

жить общиной – в бедности и лени, кое-как вспахивая землю и надеясь на чудо. У половины из них не было даже сколько-нибудь приличного плуга. Эта масштабная реформа, стремившаяся дать преимущество одной части крестьянства при разорении другой, не может удовлетворить социалистов. Будучи врагами привилегий, они должны были согласно своей доктрине выступить против всякой дискриминации народных масс. По мере приближения даты выборов во 2-ю Думу их пропаганда становилась все настойчивее. Несмотря на принятые правительством предосторожности, результаты выборов оказались удручающими: 63 % мест достались оппозиции («трудовики», народные социалисты, социалисты-революционеры, социал-демократы). Среди них было мало выдающихся фигур. Исчезли великие ораторы 1-й Думы – вместо них в этой политической пестроте появилось много «полуинтеллигенции»[152] и вовсе неграмотных.

Насколько торжественным было открытие 1-й Думы, настолько будничным явилось открытие 2-й (20 февраля 1907 г.). В тот же день вновь избранный председатель, представитель партии кадетов Головин, нанес визит императору, который отвел ему всего несколько минут и обменялся с ним парой малосущественных предложений. Зато 6 марта выступил с декларацией П.А. Столыпин и развернул обширный план реформ. По окончании прений – говорило свыше 20 ораторов – с кратким и энергичным заявлением выступил Столыпин. «Правительству желательно было бы найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен… Таким языком не может быть язык ненависти и злобы; я им пользоваться не буду… Правительство задалось одной целью – сохранить те заветы, те устои, те начала, которые были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во вторую Думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было услышано далеко за стенами этого собрания, что тут волею монарха нет ни судей, ни обвиняемых и что эти скамьи не скамьи подсудимых – это место правительства. *(Аплодисменты)*. Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, но иначе оно должно отнестись к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти паралич и мысли и воли, все они сводятся к двум словам – „руки вверх“. На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: „не запугаете“».

[153]

В подтверждение своих слов о поиске языка, который был бы всем одинаково понятен, Столыпин обратился к своим недавним противникам – кадетам – в надежде, что они помогут посредством разумных уступок гарантировать общество от революционных потрясений. Но кадеты отказались следовать за ним по пятам. Постоянно колеблясь между правыми и левыми, они боялись, с одной стороны, потерять свою популярность в случае отхода от оппозиции, а с другой – спровоцировать роспуск Думы, если сблизятся с экстремистами. С самого начала дискуссии по аграрным вопросам они объединились с социалистами в требовании экспроприации земель. Столыпин такого принять не мог. Равным образом он отказался упразднить военно-полевые суды. «Невозможно удержаться от выражения тягостного чувства, констатируя посредственность избранников русского народа», – писал Морис Бомпар своему новому министру иностранных дел Стефану Пишону. И далее: «От этой жалкой ассамблеи не дождешься законодательного творчества; она совершенно не способна к парламентской работе».

Раздраженный дерзкой фразеологией, Николай призвал к себе председателя Думы Головина и сделал ему выволочку за «терпимость» к ораторам-экстремистам. Кроме того, монарх созвал Совет министров по вопросу о роспуске 2-й Думы. Нужно принять необходимые меры, пока не поздно, сказал он. При любых обстоятельствах нам не избежать объяснений. Нам нужно следовать не за теми, кто говорит о нелегальных методах и готовы к ним прибегнуть, а за теми, кто на мгновение примолкли в удивлении, что и правительство, и Его Величество никак не реагируют.

5 мая 1907 года полиция произвела обыск в помещении, занятом социалистами, и изъяла листовки с призывом к вооруженному восстанию. Впрочем, по утверждениям некоторых, имел место самый настоящий подлог: листовки были сфабрикованы охранкой. Ряд депутатов, обвиненных в заговоре, были задержаны. Первого июня Столыпин предъявил Государственной думе требование о снятии депутатской неприкосновенности со всех членов думской фракции социал-демократов за устройство военного заговора. Этим маневром Столыпин припер кадетов к стенке: если они проголосуют за снятие депутатской неприкосновенности, разрыв с кадетами можно считать свершившимся; если откажутся, то предрешат этим роспуск Думы и окажутся ответственными за это в глазах общественного мнения. Поставленные этой дилеммой в затруднительное положение, кадеты передали дело в

специальную комиссию, которая работала два дня и не пришла ни к каким выводам. Между тем Столыпин долее не хотел ждать. При любых обстоятельствах, сказал он нескольким либеральным депутатам, имеется вопрос, по которому мы никогда не сможем договориться: по аграрной проблеме. Так зачем же тянуть кота за хвост? Передав царю декрет о роспуске Думы, он выслушал его поздравления. Утром 3 июня 1907 года газеты опубликовали Высочайший манифест. В нем говорилось, что неудачный опыт существования первых двух Дум следует приписать новизне учреждения и несовершенству избирательного закона, по причине чего в законодательное учреждение попадают те, кто не выражает народные нужды и чаяния. С целью исправления этой осечки государь выдвинул своею властью новый избирательный закон. «Только власти, даровавшей первый избирательный закон, – говорилось в манифесте, – исторической власти русского Царя, предоставлено право отменить оный и заменить его новым».

«Роспуск Государственной думы прошел совершенно равнодушно, – отметил в этот день Суворин. – Само общество, к сожалению, сонно и недеятельно, а оппозиционный элемент многочислен и деятелен». И в самом деле при том, что несколько политиков возмутились этим «coup d'Etat»,[154] большинством народа это было принято философски. Предусматривалось, что 3-я Дума соберется 1 ноября 1907 года. Она будет избрана со всеми гарантиями для правительства. На первой стадии один выборщик приходился соответственно на 230 помещиков, 1000 богатых купцов, 15 000 горожан среднего достатка, 60 000 крестьян или 125 000 рабочих. Кроме того, было сокращено представительство национальных окраин. На этот раз народное представительство должно было вполне удовлетворить хозяина земли Русской. На 457 депутатов приходилось 146 «правых» и 154 «октябриста» (умеренные либералы).[155] Объединившись для защиты привилегий, они обладали солидным большинством – им противостояли 108 кадетов, «прогрессистов», «автономистов», 14 «трудовиков» и 19 социал-демократов. Эта Дума была «господской». Никто не сомневался в том, что она будет послушной.

Первое выступление Столыпина перед вновь избранными депутатами было встречено громом аплодисментов. Несколько дней спустя он объявил им, что его политика будет состоять в том, чтобы дать народу больше инициативы, ввести в действие местные учреждения и создать мощный земледельческий класс. Развитие новой системы парламентаризма, дарованной народу государем, должно привести верховную власть к новому могуществу.

При виде радости на лицах депутатов большинства председатель уже торжествовал по поводу решительно выигранной партии. И впрямь законодательная работа тут же пошла по своему нормальному курсу.

Но вот уже несколько депутатов-«октябристов», принадлежавших к правительственному блоку, украдкой косились влево. И Столыпин понял, что в ближайшие годы его роль будет состоять в борьбе не только против социалистов, которые, не признавая никаких половинчатых реформ, будут выступать за решительный переворот, но и против слепых консерваторов, требующих, чтобы в России ничего не менялось. Пессимист по привычке, Алексей Суворин заносит в свой дневник: «Когда все либералы достигнут согласия, мы вступим в первую фазу революции».

Глава десятая
Человече божий по имени Григорий

Чем больше распространялось вширь и вглубь политическое брожение, тем больше желания было у Николая и его супруги затвориться в своих пригородных резиденциях – Царском Селе и Петергофе. С одной стороны, боязнь покушений, с другой – омерзение, вызываемое светом, побуждали их жить затворниками, подальше от своего народа и подальше от двора. Обладая от природы дикою и пугливою натурой, Александра Федоровна долее и слышать не хотела ни о балах, ни о приемах. У нее сердце и так никогда не лежало к развлечениям, а в настоящее время обязанность выходить на люди в шикарном туалете, улыбаться по команде и поддерживать непринужденную беседу с опротивевшими лицами и вовсе сделалась свыше ее сил. Даже в интимном кругу она сохраняла каменное лицо. Ей не терпелось остаться с глазу на глаз с супругом и детьми. Приблизившись к середине четвертого десятка, она по-прежнему была очень красива, но суровое и высокомерное выражение лица обескураживало любые симпатии. В самом деле, она постоянно выглядела настороженной и боялась сплоховать в свете. При малейшей эмоции лицо ее покрывалось красными пятнами, а внезапная слабость подкашивала ноги. Тогда, не обращая внимания на собравшихся, она опиралась на руки своего супруга и бормотала: «Nicky, now it is time to go!»[156]

Слабое здоровье царицы было отягощено неотступною мыслью о болезни царевича. Гемофилия, давшая о себе знать почти с момента рождения, не давала родителям несчастного мальчика ни мгновения покоя. Ребенку был всего лишь месяц от роду, когда Николай записал в своем дневнике: «8-го сентября. Среда… Аликс и я были очень обеспокоены кровотечением у маленького Алексея, которое продолжалось до вечера из пуповины! Пришлось выписать Коровина и хирурга Федорова; около 7 час. они наложили повязку. Как тяжело переживать такие минуты беспокойства». И далее: «День простоял великолепный». Венценосные родители очень быстро поняли, с чем им придется иметь дело. Наследственный недуг, которым страдал Алексей, заключается в частых кровотечениях, случайных или самопроизвольных. Поскольку медицина бессильна против этого недуга, существование, которое приходилось нести Алексею, можно было сравнить разве что с хождением по тонкому льду: любой неосторожный шаг, ничтожная царапина, кровотечение из

носа могли привести к болезненным гематомам, жару, головным болям. «Почему я не могу играть с другими мальчиками?» – жаловался Алеша. Поверхностные ранения были еще не таким великим злом: для остановки кровотечения достаточно было наложить повязку. Куда опаснее были кровотечения изо рта или из носа. Но не приведи Господь ему было натолкнуться на что-то или упасть! Вытекшая из сосудов кровь, накопившись в суставе, производила невыносимые боли; несчастный мальчик плакал и стонал, обвиняя весь мир в своем несчастье. Его мог успокоить морфий, но врачи опасались, как бы он не привык к этому наркотику. Порою от боли он падал в обморок. Тогда его пользовали горячими грязевыми ваннами и укладывали в постель. Сознавая свою уязвимость, наследник рос капризным, раздражительным ребенком, любившим при случае показать свой характер. Однажды, войдя в вестибюль рабочего кабинета своего родителя, он увидел там министра Извольского, ожидавшего высочайшей аудиенции. Поскольку Извольский по-прежнему сидел, погруженный в чтение своих бумаг, Алексей сухим тоном сделал ему выволочку: «Господин Извольский, когда входит наследник престола, полагается вставать!»

Но бывало, что он, напротив, удивлял свое окружение мягкостью и искренностью. Эта неровность характера, вкупе с физической хрупкостью мальчика, усиливала материнские страхи. Тем более что, когда он бывал свободен от курсов лечения, то в нем кипела жизнь. Более всего его привлекали игры, которые ему запрещали. «Мама, можно мне покататься на велосипеде?», «Мама, можно мне поиграть в теннис?» – спрашивал он, и удрученная царица отвечала: «Милый мой, ты же знаешь, что нельзя!» Огорченный мальчишка бунтовал, бился в рыданиях; она же пыталась его успокоить, развлечь, а сама тоже не могла сдержать слез. У нее на глазах умерли от гемофилии младший брат, принц Фридрих-Вильгельм Гессенский, и два маленьких сына ее сестры Ирены. Она знала, что больные этим недугом редко доживают до двадцати. Когда она смотрела на своего ребенка – такого живого, красивого, веселого, – у нее в голове не укладывалось, что, возможно, и он обречен покинуть мир во цвете лет. Она мечтала дать роду Романовых славное продолжение и теперь чувствовала себя ответственной за то, что наградила династию этим злополучным недугом. Собственная плоть вселяла в нее ужас. Что сможет спасти ее, думала царица, так это душа – и Аликс молилась с удвоенным рвением. Но увы, мистические порывы оборачивались все более тяжким ухудшением состояния ее организма. Озабоченный ее таким удрученным видом, генерал Спиридович спросил знаменитого

русского профессора, который, не колеблясь, проанализировал состояние императрицы: «Доказательством истерической природы нервных проявлений императрицы служит та легкость, с которой она поддается позитивным внушениям одних и негативным внушениям других. Неврастенические проявления выступали у нее в форме большой слабости (астении) организма в целом и сердечной мышцы в частности, с болевыми ощущениями в области предсердия. К этому недугу следует присоединить отечность ног – следствие плохого кровообращения. Расстройства нейрососудистой системы, о которых я веду речь, проявляются равным образом в периодических изменениях окраски кожи (дермографизм) и в появлении на лице более или менее обширных красных пятен. Что же касается психических расстройств (потеря психической уравновешенности), то они проявляются главным образом в форме сильной депрессии, глубокого безразличия ко всему, что ее окружает, и тенденции к религиозной мечтательности. Именно эта хворь, истерия-неврастения, – заключает Александр Спиридович, – и явилась причиной преувеличенных симпатий и антипатий императрицы, причудливого характера ее образа мыслей и действий, религиозной экзальтации и веры в чудеса в целом».

Эта «вера в чудеса» стала проявляться у царицы буквально на следующий день после обращения в православную веру. Она испытывала трепетное почтение к о. Иоанну Кронштадтскому. Этот ясновидящий старец с лучащимися синими глазами, слывший обладателем дара целительства, участвовал в церемонии бракосочетания и миропомазания императорской четы. Но со временем о. Иоанн утратил свое влияние на Александру Федоровну и вообще перестал появляться во дворце. В последующие годы воображением царицы овладели всякого рода «люди Божьи» (коих на Руси именовали юродивыми), тайно наносившие ей визиты и завораживавшие ее своими косноязычными прорицаниями. Среди них называют эпилептика Пашу, босоногого Василия, пророчицу Дарью Осиповну, безумного странника Антония, слабоумного заику Митю Колябу. Скрестивши руки на груди, царица взирала на их корчи, гримасы, пытаясь понять смысл их бессвязных речей. Они уходили от нее, наделенные высочайшими подарками. В какой-то момент жизни в светских кругах Санкт-Петербурга возник неподдельный интерес к некоему спириту по прозвищу Папюс, франкмасону-диссиденту, пожаловавшему из Франции, – говорили, будто он заправский магнетизер, эксперт в хиромантии и черной магии. Но, несмотря на все свои усилия, он так и не смог добиться аудиенции у Их Величеств.[157] Затем настал черед другого французского мага –

гипнотизера Филиппа Анкосса, – считалось, что он способен исцелять все хвори и предсказывать будущее. В Лионе у него был специальный *киоск*, где он целительствовал и пророчествовал; от клиентуры не было отбою. Рецепты подписывал польский гомеопат, благодаря чему Филипп избегал судебных преследований. Дочери черногорского короля, Великие княгини Милица и Анастасия, у которых в мужьях были соответственно Вел. кн. Петр Николаевич и князь Романовский – герцог Лейхтенбергский,[158] нанесли ему визит и представили августейшей чете во время ее пребывания в 1901 году в Компьене. Впечатленные самоуверенностью мага, император и императрица пригласили его в Россию. Он не преминул воспользоваться случаем – и вот он уже в Царском Селе, у своих поклонниц – черногорских Великих княгинь, следующим рубежом для него стал, конечно же, императорский дворец. Он стал там желанным гостем, к нему внимательно прислушивались, Филипп на полном серьезе проводил сеансы гипноза, спиритизма, вращал столы напряжением воли и вызвал дух Александра III. Когда царица решила, что беременна, он предсказал ей рождение сына. При виде радости, которую вызвала эта новость у венценосных покровителей, он потребовал у императора пожаловать ему диплом доктора медицины, который упрочил бы его авторитет в глазах французских властей. Несмотря на настояния Николая, министр народного просвещения отказался пойти на столь вопиющее нарушение и потребовал, чтобы кандидат сдал экзамены, полагающиеся для получения медицинской степени. Коль скоро об этом не могло вестись и речи, маг-чернокнижник обратился к военному министру, который оказался более податливым и наградил Филиппа дипломом Российской академии военной медицины, не соизволивши подвергнуть его знания проверке.

* * *

Новоиспеченный дипломированный специалист уже примерял форму военного медика, как вдруг – ах, какой удар! Беременность императрицы оказалась ложной. То, что принималось за состояние ожидания потомства, оказалось всего лишь следствием нервных расстройств. О, какой конфуз для всех горячих приверженцев кудесника при дворе! Между тем некий парижский агент русской охранки по фамилии Рачковский составил государю рапорт на основе запросов в французскую полицию. Оказывается, этот Филипп – шарлатан, биржевый игрок

и спекулянт, да еще и мартинист![159] Развенчанному в глазах венценосной четы Филиппу ничего не оставалось, как ретироваться обратно во Францию, где он вскоре и умрет с горьким сожалением о полетевшей под откос карьере…

Тем не менее экзальтация Александры Федоровны на этом ничуть не поутихла. Постоянно ища себе кумира для поклонения, она прониклась чисто платоническим чувством к генералу Орлову, командиру гвардейского полка в петергофском гарнизоне. Этот красавец с благородною душой, вдовец прославился отвагой при подавлении мятежей в балтийских губерниях. Она видела в нем своего верного рыцаря, он был для нее как член семьи – и когда он умер, так неподдельно горевала, что все ее окружение сгорало от смущения.

Но вот уже новая утешительница пригрета на груди императрицы. Новая фрейлина Анна Танеева, дочь статс-секретаря Александра Сергеевича Танеева,[160] показалась ей невинным ангелом, который спасет ее от меланхолии. В августе 1905 года Анна отправилась вместе с Их Величествами в круиз по Финским водам и с первых же дней путешествия засвидетельствовала фанатичное обожание царицы, которая со своей стороны почувствовала непреодолимую тягу к этой молоденькой девушке 23 лет – здоровой, толстенькой, с ясным взглядом и пухлыми улыбчивыми губками. Новенькая быстро сделалась почти что членом августейшей семьи – для детей она стала отличной подругой по играм, а Александра Федоровна поверяла ей самое сокровенное. Она заменила ей в ее сердце княжну Орбелиани – парализованную бедняжку, к которой она некогда была привязана.[161] По столице уже начали бродить слухи о «мистериозной связи»,[162] соединявшей государыню и ее фаворитку. В действительности же идеей фикс царицы было то, что единственное предназначение женщины состоит в супружестве и материнстве. Выдав Анну замуж за лейтенанта Алексея Вырубова, она поселила молодую чету в Царском Селе, в маленьком белом домике на улице Церковной, в трех минутах ходьбы от дворца. Между двумя жилищами была протянута специальная телефонная линия. Но разговоры на расстоянии не могли удовлетворить императрицу. Каждый – или почти каждый – день она наносила визит своей юной приятельнице и проводила часы напролет в этом скромном жилище; две подруги болтали о том о сем, забывая о времени, музицировали, рисовали, мечтали. С самого начала императрица почувствовала, что семейная жизнь у Анны не ладится. Алексей Вырубов оказался личностью неуравновешенной, большим любителем приложиться к бутылке, а главное, не дарил жене ласк, которые она имела бы право

получать от нормального, здорового мужа – сказать короче, страдал импотенцией. После года супружеской жизни брак был аннулирован; тем не менее Анна продолжала жить в Царском Селе – неудача в супружестве еще более сблизила ее с венценосной покровительницей. Благодаря своему исключительному темпераменту императрица оказалась буквально опьянена тем, как Анна Вырубова принесла ей в дар всю свою душу без остатка. Она не видела в этом ничего неосмотрительного и всячески поощряла проявления этой неистовой верности. Обе словно бы причащались туманным мистицизмом. По словам нового наставника царских детей швейцарца Пьера Жильяра, Анна Вырубова «сохранила склад души ребенка; ее неудачные опыты жизни чрезмерно повысили ее чувствительность, не сделав ее суждения более зрелыми. Лишенная ума и способности разбираться в людях и обстоятельствах, она поддавалась своим импульсам, ее суждения о людях и событиях были не продуманы, но в той же мере не допускали возражений… Она тотчас распределяла людей по произведенному ими впечатлению на „добрых“ и „дурных“, иными словами, на „друзей“ и „врагов“».[163] Зато юные Великие княжны прямо-таки очаровывают Жильяра: «Старшая из Великих княжон, Ольга, девочка 10 лет, очень белокурая, с глазками, полными лукавого огонька, с приподнятым слегка носиком, рассматривала меня с выражением, в котором, казалось, было желание с первой же минуты отыскать слабое место – но от этого ребенка веяло чистотой и правдивостью, которые сразу привлекали к нему симпатию.

Вторая, Татьяна, восьми с половиною лет, с каштановыми волосами, была красивее своей сестры, но производила впечатление менее открытой, искренней и непосредственной натуры».[164]«Мария Николаевна была красавицей, крупной для своего возраста. Она блистала яркими красками и здоровьем; у нее были большие чудные серые глаза. Вкусы ее были очень скромны; она была воплощенной сердечностью и добротой… Анастасия Николаевна была, наоборот, большая шалунья и не без лукавства. Она во всем быстро схватывала смешные стороны; против ее выпадов трудно было бороться. Очень ленивая, как это бывает иногда с очень способными детьми, она обладала прекрасным произношением французского языка и разыгрывала маленькие театральные сцены с настоящим талантом. Она… умела разогнать морщинки у всякого, кто был не в духе»,[165] в общем, главное, что чаровало в этих четырех сестричках, – это их безыскусственная простота, природная доброта и свежесть. Но, пожалуй, с самой большой симпатией пишет он о царевиче: «Я

уже готовился кончить свой урок с Ольгой Николаевной, – вспоминает он, – когда вошла императрица с Великим князем Наследником на руках. Она шла к нам с очевидным намерением показать мне сына, которого я еще не знал. На лице ее сияла радость матери, которая увидела наконец осуществление самой заветной своей мечты. Чувствовалось, что она горда и суетлива красотой своего ребенка. И на самом деле, цесаревич был в то время самым дивным ребенком, о каком можно только мечтать, со своими чудными белокурыми кудрями и большими серо-голубыми глазами, оттененными длинными загнутыми ресницами. У него был свежий и розовый цвет лица здорового ребенка, и когда он улыбался, на его круглых щеках вырисовывались две ямочки. Когда я подошел к нему, он посмотрел на меня серьезно и застенчиво и лишь с большим трудом решился протянуть мне свою маленькую ручку».[166] И далее: «По мере того, как ребенок становился откровеннее со мной, я лучше отдавал себе отчет в богатстве его натуры и убеждался в том, что при наличии таких счастливых дарований было бы несправедливо бросить надежду (на чудесное исцеление) … Он вполне наслаждался жизнью, когда мог, как резвый и жизнерадостный мальчик… Он совсем не кичился тем, что был Наследником Престола, об этом он менее всего помышлял…» Опытный наставник не мог не замечать, что мелочная опека над царевичем могла привести к плачевным результатам: «Было невозможно все предусмотреть, и чем надзор становился строже, тем более он казался стеснительным и унизительным ребенку и рисковал развить в нем искусство его избегать…»[167] А между тем несчастные случаи, несмотря на все меры предосторожности, продолжали повторяться.

И сегодня невозможно без замирания сердца читать душераздирающие строки о страданиях Алексея: «Цесаревич, лежа в кроватке, жалобно стонал, прижавшись головой к руке матери, и его тонкое бескровное личико было неузнаваемо. Изредка он прерывал свои стоны, чтобы прошептать только одно слово „мама“, в котором он выражал все свое страдание, все свое отчаяние. И мать целовала его волосы, лоб, глаза, как будто этой лаской она могла облегчить его страдания… Как передать пытку этой матери, беспомощно присутствующей при мучениях своего ребенка, которая знала, что **она причина** этих страданий, что **она** передала ему ужасную болезнь, против которой бессильна наука».[168] (Выделено П. Жильяром. – *С.Л.*)

В этой постоянной тревоге за существование царевича государыня, презирая эскулапов, хирургов и беспомощных

профессоров, искала обладающего сверхъестественной силой посредника, который сблизил бы ее с Богом. Точно так же, как монархию мог бы спасти только союз царя с народом, так и царевича, в котором воплотились ожидания всего народа, мог бы спасти только человек, вдохновленный Небом. Так думала она. Но это внезапное вмешательство со стороны простого, но наделенного сверхсилой человека нужно заслужить. Вдохновленная Анной Вырубовой императрица ударилась в религию с удвоенною пылкостью. Ее жизнь свелась теперь к череде коленопреклонений и молитв. Она ожидала чудотворца с тою же пылкостью, с какою девица на выданье ожидает суженого. Наконец, 1 ноября 1905 года Николай заносит в свой дневник: «Познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии». Этим «человеком Божиим» был не кто иной, как Распутин. Он принадлежал к той породе убогих бородатых странников в лохмотьях и с горящими глазами, которые странствовали по Руси с котомкой за спиной от монастыря к монастырю, от храма к храму в поисках правды и существовали на то, что подадут добрые души. Ночевали в пути где случится: то в крестьянской избенке, а то и в усадьбе какого-нибудь богатого помещика, у которого миллион предрассудков. В благодарность за оказанное им гостеприимство они повествовали о своих странствиях, паломничествах к святым местам, рассказывали о чудесах, шептали молитвы собственного сочинения, которые так же прекрасно исцеляли тело, как и душу. Эти люди не были ни монахами, ни попами и потому не подчинялись никакой дисциплине. Их называли странниками, а тех из них, кто стяжал большую известность, величали старцами. Вообще-то старцем называли в первую очередь аскета, затворившегося в обители, но равным образом этот термин мог применяться и к одному из тех бродяг-ясновидцев, к помощи которых прибегают в моменты невзгод и страданий. Как раз таковым был и случай с Распутиным, в котором врожденный ум слился с глубокой, почти женской интуицией. «Неким чутьем он немедленно угадывал не только характер собеседницы, но и некоторые элементы ее интимной жизни», – писал один из журналистов, который часто посещал его.

Охочий до женских исповедей, Распутин был еще более падок и на женскую плоть. В этом простом мужике с жестокими нравами и острым умом соединились крайняя степень звериной страсти и возвышенный грозный смысл, милосердие и сладострастье, бескорыстие и страсть к интриге. Его образ жизни являл собою череду порывов и падений. Это был человек Божий, в коего вселился дьявол. Его слова околдовывали, его взгляд

пронизывал самые сокровенные тайны, а пагубная сила, источаемая всею его личностью, завладевала доверием тех, чья наивная душа позволяла воспринимать ее.

Григорий Ефимович родился около 1870 года в семье крестьянина среднего достатка в слободе Покровской Тюменского уезда Тобольской губернии, что на границах Западной Сибири. По мнению некоторых, фамилия Распутин происходит непосредственно от «распутник»; так могли наречь его папашу за пристрастие к водке. Другие считают, что эту фамилию дали непосредственно Григорию[169] – опять-таки за отнюдь не образцовое поведение: еще в юные годы он обвинялся в том, что крал коней, портил девок и пил, как бочка. 19 лет от роду Григорий женился на тихой девушке Прасковье старше себя на четыре года, которая родила ему двух дочерей – Марию (она же Матрена) и Варвару – и сына Дмитрия. Впрочем, и связав себя узами законного брака, он не спешил расставаться со своими дурными инстинктами. Григорию грозил суд; он укрылся в монастыре близ Перми, и там его постигло внезапное озарение; он решил начисто отказаться от алкоголя, мяса и табака. Научившись читать книги Священного писания, он пустился в странствия от деревни к деревне, призывая крестьян к молитве и толкуя о жизни пророков, на путях своих странствий он примкнул к секте хлыстов.[170] Согласно обычаям, принятым в этом братстве, приверженцы секты – мужчины и женщины с соседних хуторов – собирались ночами, одетые в длинные белые рубахи, распевали песнопения, окропляли друг друга святою водой и, всласть похлестав друг друга, творили «чистую христианскую любовь», отдаваясь плотской страсти прямо на траве до самого рассвета. Обладавший несказанной сексуальной мощью Григорий был героем этих мистических оргий. Изнуривши себя очередным подвигом по женской линии, он чувствовал облегчение, одобрение Божие.

Возвратившись в Покровское, Григорий продолжил свои евангельские проповеди, которые день ото дня завоевывали все больше приверженцев. Самыми чуткими и отзывчивыми к этим наставлениям оказались женщины. Они обожали его как за пламенные речи, так и за физическую стать: среднего роста, сухой, нервный, с бледной, легкого оливкового оттенка кожей, внушительным носом, гладкими черными волосами, всклокоченной неухоженной бородой, грубый и нечистоплотный, он выглядел как истинный «мужик». Но из-под могучих щетинистых бровей на собеседника смотрели пронзающим взглядом серые, стального цвета глаза; от этого взгляда собеседнику делалось не по себе, и он готов был совершенно

покориться воле обладателя этих стальных глаз. «Гипнотическая власть Распутина была огромна, – вспоминал Феликс Юсупов. – Я чувствовал, как неведомая сила проникает в меня и разливает тепло по всему телу. В то же время наступило оцепенение. Я одеревенел… Потихоньку погрузился в забытье, словно выпил сонного зелья. Только и видел перед собой горящий распутинский взгляд. Два фосфоресцирующих луча слились в огненное пятно, и пятно то близилось, то отдалялось. Я слышал голос „старца“, но не мог разобрать слов… И усилием воли я пытался гипнозу сопротивляться. Сила его, однако, росла, как бы окружая меня плотной оболочкой… Все же, понял я, до конца он меня не сломил».[171]

«Когда я встречался с ним, – скажет министр внутренних дел Хлыстов, – я испытал полную подавленность. Распутин угнетал меня; он был, бесспорно, наделен большой гипнотической силой». А вот впечатление от встречи со старцем французского посла в России Мориса Палеолога. «Среда, 24 февраля 1910 г. Сегодня днем, когда я наконец наношу визит г-же О., которая деятельно занимается благотворительными делами, внезапно с шумом открывается дверь гостиной… Это – Распутин… Все выражение лица сосредоточивается в глазах, голубых, как лен (sic! – *С.Л.*), глазах со странным блеском, с глубиною, с притягательностью. Взгляд в одно и то же время пронзительный и ласковый, открытый и хитрый, прямой и далекий. Когда его речь оживляется, можно подумать, что его зрачки излучают магнетическую силу. Он повсюду влачил за собою тяжелый животный запах, подобный козлиному».[172] Впечатление властвования над собеседником, порока и нечистоплотности разделяет Столыпин: «Я начал чувствовать невыразимое отвращение к этому дурно пахнущему зверю, который сидел лицом к лицу со мною, но в то же время я отдавал себе отчет в том, что этот персонаж был наделен бесспорною магнетическою силой и производил на мою нервическую организацию достаточно сильное впечатление». Сменивший Столыпина на посту премьера Владимир Коковцев был поражен его «рысьими глазами» – ему потребовалось сделать над собою усилие, чтобы избежать вызывающего тошноту колдовства, которое так и жаждало взять над ним верх. «Когда Распутин вошел ко мне в кабинет и сел на кресло, меня поразило отвратительное выражение его глаз, – писал Коковцев. – Глубоко сидящие в орбите, близко посаженные друг к другу, маленькие, серо-стального цвета, они были пристально направлены на меня, и Распутин долго не сводил их с меня, точно он думал произвести на меня какое-то гипнотическое воздействие…»[173] Другие

внушили себе, что Распутин обладает пророческим даром – полицейский агент Селецкий, которому впоследствии будет поручен надзор за ним, и тот станет утверждать, что Распутин обладал «проницательностью и тонкостью психологии, граничившими с даром двойного зрения».

В избе Распутина со множеством икон все более густой толпой теснились посетители, но особенно – посетительницы. Иные из этих женщин предлагали себя без всякого стеснения, убежденные в том, что сближение с Богом заключается в утолении плотской страсти. Кстати, и сам Распутин был убежден, что, удовлетворяя свои низменные аппетиты, он повинуется Господней воле, и в его мыслях судьба индивидуума решается не в битве добра со злом, а в благополучном сочетании сих двух тенденций, которые экзальтируются, противостоя друг другу до пароксизма наслаждения. Утоления плотской страсти чередовались с покаяниями. Говорил короткими, словно обрубленными, фразами, с жаром цитируя Священное писание и писания святых отцов, теребя бороду и жестикулируя своими благословляющими ручищами. Репутация святости и ясновидения привлекла к нему внимание нескольких казанских богословов, которые посоветовали ему податься в Санкт-Петербург. И он отправился в столицу, снабженный рекомендательным письмом к знаменитому епископу Феофану, профессору богословской академии. Этот высоконравственный ученый и аскет оказался покорен своим посетителем. Наивный при всей своей учености, он признал за Распутиным «добрую душу и удивительную духовность» и предрек ему «великую судьбу». В этом порыве доверия к сибирскому гостю с епископом Феофаном слились ректор Духовной академии епископ Сергий, епископ Гермоген и даже сам отец Иоанн Кронштадтский. Однажды, когда Распутин присутствовал на торжественной службе, отправляемой Иоанном Кронштадтским, последний внезапно сошел с амвона и медленным шагом направился к нему сквозь толпу верующих. Показав на Распутина пальцем, о. Иоанн произнес: «Ты будешь творить чудеса!» Затем о. Иоанн благословил раба Божьего Григория и, в свою очередь, испросил у него благословения.

Вскоре вокруг Распутина собралось немало экзальтированных служителей церкви, их тяга к безграмотному мужику с сомнительными нравами объясняется желанием вызвать новый порыв благочестия в высших слоях общества. Им казалось, что этот человек, одаренный неоспоримым даром обворожения, мог вывести из апатии завсегдатаев пышных салонов, которые вот уже четверть века как отвернулись от духовных проблем. О том, чтобы выразить ему неодобрение, не могло быть и речи. Так Распутина

вводили в круг избранных, а епископ Феофан представил его ко двору. Вскоре после этого, 13 октября 1906 года, Николай пригласил его пожаловать в Царское Село. Чтобы избежать пересудов, его провели через вход для прислуги. На госте был длинный кафтан, какие носят в праздничные дни зажиточные мужики, и грубые сапоги. Нисколько не смущенный перед венценосной особой, он поднес царю образ св. Симеона Верхотурского, написанный на доске. Поблагодарив Григория, царь пригласил его откушать чаю с императрицей. Представленный Вел. княжнам и царевичу, старец роздал им святые иконки и просфоры. Как отметил царь в своем дневнике, гость задержался во дворце до семи с четвертью вечера. Распутин произнес перед августейшими хозяевами – глаза в глаза – свою обычную проповедь глухим, замогильным голосом. Он говорил о необходимости молиться с прилежанием, как молятся дети, и сближения с народом, который не умеет врать. Эти слова настолько глубоко отозвались в чуткой душе Александры Федоровны, которая уже видела в визитере подлинного представителя своих нижайших подданных и утешителя ее сердца, которого она тщетно искала столько лет.

Покуда царица все еще колебалась, взять ли Распутина в свои духовные поводыри, санкт-петербургские дамы домогались его, перебивая друг у друга, – одни приходили к нему, стремясь возвыситься душою, других влекло нездоровое любопытство, а третьим хотелось удостовериться, насколько заслуженна его чисто мужская репутация, о которой носилось столько слухов, – лучше познать на собственном опыте, чем сто раз услышать! Распутин разъяснял своим гостьям, что счастье состоит из трех стадий. Первою из оных является грех, засим следует искупление, увенчиваемое заслуженною наградой – наслаждением. Таким образом, чтобы заслужить прощенье свыше, необходимо погрузиться во греховное утоление плоти. Пока влюбленные в него дамочки, рассевшись вокруг, попивали чаек, он рассказывал им скабрезные анекдотцы, слегка вгонявшие их в краску. Затем, не переставая вещать, переходил к делу: ласкал у той волосы, у другой – руки… Созрев для подвига, он уволакивал избранницу к себе в опочивальню со словами: «Ты думаешь, я тебя порочу? Ошибаешься: я тебя очищаю!» Другие посетительницы в молчании оставались сидеть за столом и, потрясенные, завидовали избраннице, которая в это время находилась на пути к спасению. Они были убеждены, что в этих примитивных, чтобы не сказать грубых, манерах кроется некое обновление веры. Этот путь, соединяя в себе духовность и чувственность, открывает всем желающим того женщинам царственную дорогу к расцвету.

Привычные к холодным, искусственным политесам, они оказывались перед ним в совершенно непривычной обстановке. Они шли одновременно к народу и к Богу, к наслаждению и к освящению. Как тут воспротивишься такому притягательному приключению?

Отнюдь не собираясь расставаться со своими мужицкими привычками, Распутин тем не менее приучился следить за своей манерой одеваться.

Он ходил в синей русской шелковой рубахе, перевязанной поясом, шикарных черных штанах и высоких сапогах. Его часто видели в городе; он нередко захаживал в модные рестораны, он был нарасхват в пышных салонах и гостиных. Неуравновешенные дамочки из петербургского общества говорили только о нем, думали только о нем! Они научили его не только чистоплотно одеваться, но и стричься, мыться и разным прочим подобным штукам. Кое-кто из мужчин уже стал подлизываться к нему ради успешного разрешения закрученных ими интриг… Тем не менее Распутин еще отнюдь не расстался с простотою, не брезгуя и трехрублевыми ассигнациями, которые ему совали без лишних церемоний и которые он с благодарностью принимал. Но в нем уже замечались некоторые перемены: он казался все более убежденным в своем предназначении сотворить что-то великое для государя и для России. Он заявил нескольким своим приверженцам, что монарх окружен ложью и неправдою, что приближенные к нему дворяне обманывают его и что только искренне преданный, бескорыстный и простой человек сможет с пользой служить государю и его народу.

Сам Столыпин после дерзостного покушения 12 августа 1907 года пригласил Распутина прийти помолиться у изголовья своей раненой дочери. Но главный этап на пути вознесения Распутина наступил в 1908 году, когда ему случилось очаровать Анну Вырубову.[174] Фаворитка императрицы искала у него утешения в отчаянии, когда потерпел крушение ее брак. А знакомство Анны с Распутиным состоялось за месяц до ее свадьбы у Великой княгини-черногорки Милицы Николаевны в ее дворце на Английской набережной. «Я очень волновалась, когда доложили о приходе Распутина, – вспоминает Анна… Вошел Григорий Ефимович, худой, с бледным изможденным лицом, в черной сибирке; глаза его, необыкновенно проницательные, сразу меня поразили и напомнили глаза о. Иоанна Кронштадтского… Я попросила его помолиться, чтобы всю жизнь могла положить на служение Их Величествам. „Так и будет“, – ответил он… Через месяц я написала Великой княгине, прося ее спросить Распутина о моей свадьбе. Она ответила мне, что Распутин сказал, что я

выйду замуж, но счастья в моей жизни не будет».

С этого момента Анна Вырубова почувствовала себя словно околдованной. Малообразованная, набожная до экстаза, она совершенно подпала под влияние чернокнижника. После смерти о. Иоанна Кронштадтского «отец» Григорий сделался для нее идеальным заступником перед Силами Небесными. В ее глазах это был человек правый, добрый, который ни к чему не стремится и не сомневается в своем гении. Вскоре он сделался желанным гостем у Анны. Она принимала его в окружении светских дам, которые считали его своим апостолом. Войдя в роль, он молился вместе с ними и комментировал им жития святых. Впрочем, иных из них интересовали другие, более материальные откровения, на которые их благодарность этому сатиру, вдохновленному Богом, только увеличивалась. Но Анна Вырубова оставалась чистой. Распутин даже не осмеливался предложить ей то, чего не удавалось ее благоверно-му в законной супружеской постели. Он удовлетворился тем, что властвовал над ее душою. Она видела в нем своего «Христа», своего «Спасителя», считала себя его духовной дочерью. Злые языки при дворе прозвали ее «безумной гусыней», а царские дети за глаза называли «коровой». Но чем больше насмешек она слышала в гостиных, тем больше к ней привязывалась царица. Отныне в разговорах, которые вели шепотом две подруги в маленьком белом домике Анны на Церковной улице, имя Распутина упоминалось все чаще. Каждый день фаворитка рассказывала своей венценосной покровительнице что-нибудь о добродетели «человека Божия» и убежденно приводила примеры его милосердия, скромности, дара ясновидения и чудесного исцеления больных. Взволнованная царица готова была верить всему, что вещала ей ее дородная наперсница с бычьим взглядом и грудью, дрожащей при ее прерывистом дыхании, как в лихорадке. Когда же нянюшка цесаревича Вишнякова показала царице номер «Петербургского листка» с явно нелестной характеристикой Распутина, то получила за это строгий выговор с угрозой увольнения. «Она продолжает злиться на тех, кто ей в глаза говорит, что он мошенник и проч., – записала мадам Богданович 3 июня 1910 года. – Поэтому Тютчеву[175] и старшую нянюшку Вишнякову отпустили на два месяца в отпуск.

Обе они восставали против Распутина; чтобы он не показывался в комнатах детей. На место Тютчевой теперь временно назначена Вырубова. Бедные дети!»

Охваченная трепетным благоговением, Анна Вырубова дважды по поручению царицы ездила в Сибирь посмотреть, как он живет у себя на родине. «Поехала я со старой г. Орловой, моей

горничной и еще двумя дамами… Из Тюмени до Покровского ехали 80 верст на тарантасе. Григорий Ефимович встретил нас и сам правил сильными лошадками, которые катили нас по пыльной дороге через необъятную ширь сибирских полей. Подъехали к деревянному домику в два этажа, как все дома в селах, и меня поразило, как зажиточно живут сибирские крестьяне»,[176] – вспоминала Анна о своем первом путешествии.

Некоторое время спустя, в дни пребывания императорской семьи в любимых охотничьих угодьях Николая в Спале, на территории нынешней Литвы, с царевичем опять случился приступ гемофилии, вызванный тряской прогулкой в коляске. Опухоль, уже существовавшая в паху, значительно выросла в размерах; ребенок ужасно страдал, и его крики разносились по всему дому. Отчаявшаяся императрица не отходила от его изголовья. Врачи, на которых она обрушилась со скандалом, не знали, что же предпринять. Хирург Федоров не решился вскрыть опухоль: он заявил, что вскрытие может вызвать смертельное кровотечение. Дело грозило принять фатальный оборот, министру двора было дано позволение опубликовать бюллетень о состоянии здоровья царевича. Маленького больного уже причастили… Но когда уже казалось, что все кончено, императрица получила телеграмму от Распутина, который сообщал, что болезнь не кажется ему опасной, пусть врачи не утруждаются. В другой телеграмме старец обещал быстрое исцеление. В два часа пополудни пристыженные медицинские светила объявили, что кровотечение остановилось само собою. По их словам, такое бывает в одном случае из ста. Императрица ликовала. В ее глазах это было чудом. Она увидела в Распутине спасителя династии. Отныне она, как и Анна Вырубова, становится жрицей культа Распутина.

Хотя чудо произвело колоссальное впечатление и на Николая, он тем не менее сохранял хладнокровие. Всецело признавая за старцем дар магнетизера, он все же отказывался от консультаций с ним по делам текущей политики, как ему советовала супруга. Это не мешало ему видеть в этом странном, примитивном и таинственном существе воплощение народной мудрости. Когда он оказывался с ним с глазу на глаз, у него было ощущение, что он входит в контакт с глубинной Россией. Одетый в крестьянский костюм, говорящий на простонародном наречии и обладавший неторопливым образом мышления, Распутин помогал ему утвердиться в мысли, что гарантом защиты родины выступит нерушимый союз царя со своим народом. Отношения венценосной четы с чародеем удивляли своей патриархальной простотой. Обращаясь к нему, Их Величества называли его просто

«Григорий», а он величал их соответственно «папа» и «мама». «Принимали его обыкновенно вечером, потому что это было единственное время, когда Государь был свободен, – вспоминала Анна Вырубова. – … Все они по русскому обычаю троекратно целовались и потом садились беседовать. Он им рассказывал про Сибирь и нужды крестьян, о своих странствованиях. Их Величества всегда говорили о здоровье Наследника и о заботах, которые в ту минуту их беспокоили. Когда после часовой беседы с семьей он уходил, он всегда оставлял Их Величества веселыми, с радостными упованиями и надеждами в душе».[177]

Вскоре Распутин получил доступ в личные комнаты царских детей. Для Алексея его присутствие – залог доброго здравия. Случись какая царапина, Распутин сумеет остановить кровь наложением рук, взглядом и молитвою. Да и царские дочери не видели ничего дурного в том, чтобы принимать старца, переодевшись в длинные ночные платья. Они склоняли вместе с ним колени пред иконами и слушали его проповеди столь проникновенно, что их гувернантка мадемуазель Тютчева испытала самый настоящий шок. Набравшись смелости, она потребовала от императрицы закрыть Распутину доступ в покои своих дочерей. А то, «чего доброго, станет беспокоить их своими нескромными предложениями и непристойным поведением!». И что же? Александра Федоровна не только не была обеспокоена этим, но, напротив, сама эта мысль привела ее в бешенство! Да разве можно сомневаться в добродетельности отца Григория?! Она категорически отвергла требования несчастной, которая считала, что делает добро!

Головокружительный взлет Распутина совпал с возвращением в монаршую милость князя Владимира Мещерского, издателя ультрареакционной газеты «Гражданин», которая получила новые богатые субсидии. После встречи со старцем Мещерский почувствовал себя полным здравомыслия и на гребне подъема. Перед ним был именно тот type de moujik, каким он хотел его видеть: набожным и лояльным. Эта похвала Распутину из уст Мещерского пришлась по вкусу императору, который сказал князю: «Я очень рад, что ты лично познакомился с Григорием и что твое мнение согласуется с моим». Теперь в глазах Николая истинную Россию воплощали Распутин, Мещерский и его газета, и, наконец, патриотическая организация «Союза русского народа» со своими 3500 секциями, разбросанными по всей империи. Либералы же были в его глазах, мягко говоря, чем-то вроде чужеземцев. Теперь им овладела жажда физического ощущения пыла любви народных масс. В 1909 году, по случаю 200-летия Полтавской битвы, он вышел к крестьянам, явившимся к нему с

депутацией из всех соседних деревень, и беседовал с ними с пяти до восьми часов вечера. «Он расспрашивал их о том, как дела в деревне, о земле, о личной жизни, – писал свидетель этой встречи генерал Александр Спиридович. – Царь умел разговаривать с простым людом. Его взгляд, полный доброты, его чарующая улыбка побуждали людей к откровенности, и они отвечали ему с простотою, легкостью и искренностью. Царю можно было сказать все, как на исповеди».

Два года спустя Александр Спиридович стал свидетелем другой сцены императорского триумфа – на сей раз в Санкт-Петербурге, на представлении «Бориса Годунова» в Мариинском театре 6 января 1911 года. По окончании первого акта[178] Их Величества подали знак аплодировать; в этот момент занавес медленно взвился, открыв живописную картину из русской истории: царь Борис, бояре, стрельцы, народ – все, повернувшись к императорской ложе, грянули «Боже, царя храни» под звуки оркестра, а затем разом опустились на колени – это стародавняя Русь воздавала почести современной России. Зрители, стоя, со слезами на глазах, подхватили; когда гимн отзвучал, по залу прокатилось громоподобное «ура!». Люди плакали, махали веерами и платками, кричали «бис!», «бис!». Их Величества, не ожидавшие такой овации, были зримо потрясены. Румяные от радости Великие княжны растерянно оглядывались, не зная, как и держать себя перед таким неожиданным проявлением чувств. «Это были мгновения редкой красоты!» – заключал Спиридович. Правда, царю открылась одна деталь, грозившая смазать впечатление от эйфории: оказывается, труппа специально разыграла весь этот «спектакль», чтобы добиться лично от Его Величества удовлетворения требований хора, о чем дирекция и слышать не хотела… Ну что ж! Даже если артистами двигал чистый расчет, все равно публика в зале искренне продемонстрировала любовь к своему Государю!

Врожденный фатализм Николая II подпитывался всеми этими свидетельствами, видевшимися ему благоприятными. Но и перед лицом опасности он сохранял спокойствие, в глубине души тая уверенность, что все начертано на Небесах. Вот что сказал он своему министру Извольскому, который удивился его хладнокровию перед лицом Кронштадтского мятежа: «Если вы видите меня таким спокойным, так это потому, что я обладаю твердой, абсолютной уверенностью, что судьба России, моя собственная и судьба моей семьи в руках Господа, который поместил меня туда, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склонюсь перед Его волею, сознавая, что у меня никогда не было иных мыслей, как служить стране, которую он мне вверил».

Именно эту концепцию разделял и Распутин. В его глазах Бог прямо заинтересован в удачах царя. Авторитет старца среди его императорской паствы вскоре стал столь очевидным, что это взволновало общественное мнение. Из уст в уста передавали слухи об оргиях с его участием в городе и о его скандальной близости с Их Величествами. 21 ноября 1908 года генеральша А.В. Богданович записывает в свой дневник: «… Царь очень нервен, причиной этому царица, ее ненормальные вкусы, ее непонятная любовь к Вырубовой… Она (царица) порывистая – то увлекалась музыкой, запоем играла и пела, то было время спиритизма – музыка была забыта, и всё только спириты и спириты ее занимали». И несколько месяцев спустя, 6 февраля 1909 года: «У молодой царицы сильная неврастения, которая может кончиться помешательством. Все это приписывают ее аномальной дружбе с Вырубовой. Что-то неладное творится в Царском Селе». В записи от 20 марта 1910 года тон делается еще более тревожным: «Сегодня много интересного, но грустного, даже возмутительного слышала о Григории Ефимовиче Распутине, этом пресловутом „старце“, который проник в „непроникновенные“ места. Газеты разоблачают этого „старца“, но на высоких его покровителей эти разоблачения не производят впечатления, они им не верят, и двери их открыты этому проходимцу… В Царском Селе все служащие во дворце возмущены против „Ефимова“, его нахальством, поведением, но сильную поддержку он имеет в самой царице. Этого дрянного человека допускают во всякое время во дворец… Когда слуга хозяина (т. е. царя) стал ему говорить, что это – распутный мужик, что горько думать, что хозяин с ним говорит и проч., он получил ответ, что хозяину очень тяжело слышать, что он неверующий, что кощунствует и проч… Несмотря на всю блажь хозяйки, хозяин ее все-таки любит, и она на него влияет».

Отныне в гостиных, в редакциях газет, в кулуарах Думы только и говорили, что о зловещей троице, которая довлеет над государем: супружница, Вырубова и Распутин. Вот запись мадам Богданович в дневнике от 8 декабря 1910 года: «Она (царица) холодная, неприступная, но, когда захочет обворожить, – умеет это сделать. Более чем когда-либо она близка с Вырубовой, которой все говорит, что ей говорит царь, царь же царице все постоянно высказывает. Вырубову во дворце все презирают, но никто против нее идти не решается – она бывает постоянно у царицы: утром от 11 до часу, затем от двух часов до пяти и каждый вечер до 11 ½ часов. В это время, т. е. в 10 час. до 11 ½ часов, царь приходит к царице. Прежде бывало, что во время прихода царя Вырубова сокращалась, а теперь сидит все время. В

11 ½ царь идет заниматься, а Вырубова с царицей идут в спальню. Печальная, постыдная картина!» И далее: «… царица совсем не так уж больна, как представляет себя больной. Она психически больная, но здраво умеет рассуждать. Лежит, например, еле жива, вдруг соскочит с постели, как ни в чем не бывало, а затем опять завалится на постель. У Вырубовой с этим развратным Распутным продолжается очень усердная переписка, денег она у царицы для него выманивает много».

Информированный своими агентами о подозрительных похождениях Распутина, Столыпин счел своим долгом предупредить об этом императора. Тот выслушал своего министра с холодком на лице, не соблаговолил прочесть его доклад и попросил его перейти к текущим вопросам. Полиция получила приказ приостановить надзор за «святым старцем». Получив от царя нахлобучку за аферу с Распутиным, Столыпин также почувствовал, что от него отвернулись большая часть депутатов – и от большинства, и от оппозиции. «Левые» ставили ему в упрек беспощадную борьбу с любыми поползновениями революции, «правые» – его «диктаторские» претензии и дерзновенность его реформ. Когда он предпринял попытку ввести систему земств в западных губерниях, Государственный совет, состоящий из кондовых монархистов, отверг этот проект. Задетый за живое, Столыпин подал царю прошение об отставке.[179] Проконсультировавшись со своей матушкой и Вел. князьями Николаем Михайловичем и Александром Михайловичем, государь не принял ее. Тогда Столыпин потребовал, ставя это условием своего пребывания на посту, наделения его полномочиями для временного роспуска Думы и возможностью воспользоваться этим перерывом в ее работе для обнародования закона, отвергнутого Государственным советом. Кроме того, Столыпин, резко охарактеризовав действия Дурново и Тренева, которые особенно противились принятию его проекта, «усердно просил» государя не только осудить эти действия, но и «подвергнуть взысканию, которое устранило бы возможность и для других становиться на ту же дорогу». Столыпин сказал, что «этим лицам» следовало бы уехать из Петербурга и на некоторое время прервать свою работу в Государственном совете. Скрепя сердце государь подписывает указ о перерыве сессии, а также повелевает Дурново и Треневу выехать из столицы и до конца года не посещать заседаний Государственного совета. В душе порицая своего премьера за то, что тот слишком много берет на себя, самодержец тем не менее не видел возможности для немедленного отрешения его от должности. Но Столыпин понимал, что его отставка недалека. И в самом деле все «правые»

вплоть до «октябристов» осудили «антиконституционный маневр» Столыпина.[180] Получалось так, что, санкционировав действия премьера своею высочайшей подписью, Николай сам подорвал уважение к себе со стороны своих самых преданных сторонников. Он никогда не простит этому замечательному государственному мужу того, в какое неловкое положение попал по его вине. Столыпин понимал, что отставка его становится все более вероятной. «Положение мое пошатнулось, – говорил он товарищу министра внутренних дел П. Курлову, – и после отпуска, который я испросил себе до 1 октября, едва ли вернусь в Петербург председателем Совета министров».[181]

В конце августа в Киеве должно было состояться открытие памятника императору Александру II Освободителю в присутствии Николая II и высших представителей правительства. Столыпин прибыл в Киев 25 августа, за четыре дня до прибытия царской семьи. Тысячи признаков указывали на то, что опала его неминуема: придворные более не искали его общества, в его распоряжение не предоставили особого экипажа…

Древний город кишел полицией. Стиль работы охранных служб предусматривал использование двойных агентов для донесений о деятельности революционеров. Один из этих двойных агентов по фамилии Богров заверил власти, что в город просочились террористы, готовые к решительным действиям. Для того чтобы бравый агент мог наблюдать за ними и по возможности разоблачить, власти выдали ему билет в городской театр на торжественный спектакль 1 сентября 1911 года, где ожидалось высочайшее присутствие царя с дочерьми, двора и всех министров. «Пригласительные билеты в театр – именные, и никому передаваемы быть не могут… Форма одежды: для дам – белые или светло-серые вырезные туалеты, без шляп. Для кавалеров – белый форменный сюртук при орденах или фрак», – значилось в приглашении. Спектакль уже близился к концу, когда во время второго антракта, в 11 часов 30 минут вечера, к Столыпину, стоявшему перед первым рядом кресел, подошел одетый во фрак молодой человек и всадил в премьера две пули почти в упор. Столыпин пошатнулся; но, прежде чем опустился в кресло, повернулся к императорской ложе и осенил ее широким крестным знамением уцелевшей левой рукой – правая была прострелена. По свидетельству присутствовавшего при сем генерала Спиридовича, в возникшей суматохе покушавшийся попытался было смешаться с толпою и скрыться, но отважный генерал настиг его, нанес удар саблей – и был поражен, узнав в покушавшемся Богрова: он понял, что под маской тайного агента действовал предатель. Пока полицейские уводили Богрова, отбив

от толпы, готовой растерзать его в клочья, оркестр, чтобы остановить панику, заиграл гимн. Бледный как полотно государь подошел к барьеру императорской ложи и стал у всех на виду, как бы показывая, что он – на месте, на своем посту. Публика возгласила: «Ура!»; приветствовав ее, он покинул театр, когда смолкли звуки оркестра. При виде такого спокойствия венценосца многие подумали: а сознавал ли он до конца, что произошло? Понимал ли он, какого блистательного советника лишился, осознавал ли, что и сам, может быть, чудом избежал гибели? В действительности же он более, чем прежде, положился на Бога. В виду страшных событий Николай мог бы остановить торжества. Но ему казалось, что он не имеет права изменять протокол: точно так же, как за пятнадцать лет до того он, несмотря на омрачившую его коронацию ходынскую катастрофу, отправился на бал к французскому послу, хотя по всей Москве стояли стон да слезы, он не придал должного значения убийству своего премьер-министра в переполненном театре. Гибель на его глазах Столыпина от рук злодея не показалась ему событием достаточно весомым, чтобы внести поправки в программу торжеств. И то сказать, он уже давно не находил общего языка с этим непримиримым государственным мужем. Скажем так: исчезновение его с политической сцены – оно, пожалуй, и к лучшему. На следующий день царь выехал из Киева для присутствия на больших военных маневрах в Чернигове.[182] В его отсутствие болящая царица пригласила Распутина, чтобы он пособил ей своими святыми словами. Вот что сказала она своим домочадцам: «Никакой страже не удалось уберечь Столыпина – и никакой страже не удастся уберечь императора. Только молитвами отца Григория, возносящимися ко престолу Всевышнего, можно ждать исцеления».

Появление Распутина не осталось незамеченным – и снова придворный мирок пустился в пересуды. 13 сентября Ея Превосходительство мадам Богданович записывает в своем дневнике: «Мельком слышала рассказ, что Распутин был у царицы в Киеве, был ею вызван из Петербурга. Боже! Это что-то умопомрачительное! Это поистине кошмарно, что творится вокруг бедного царя. Царь едет в Чернигов, в это время царица принимает Распутина и, того гляди, вызывала этого мужика для совета, как заместить Столыпина, убитого не кем иным, как охранкой. Разве это не кошмар? Прямо страшно! Вырубова – это большая сила… Утеривается престиж русской семьи, которая должна бы служить образцом добродетели для всех нас. Никогда у нас родство и кумовство не играли такой роли, как теперь».

Пятого сентября, после четырех дней отчаянной борьбы за

жизнь, Столыпин скончался от полученных им тяжких ран. Весть о смерти премьера вызвала бурю негодования в городе, тем более что Богров был хоть и крещеным, но евреем.[183] Националистические круги кипели – по улицам шествовали орды манифестантов под лозунгами: «Жиды убили Столыпина! Бей жидов!» Стоило больших трудов удержать их от погрома. Вернувшись 6 сентября из Чернигова, государь долго молился у смертного одра своего верного слуги. Преемником Столыпина царь назначил В. Коковцева – самого яростного противника Столыпина. Этот последний за несколько дней до своей трагической кончины сказал самодержцу с горькой иронией: «Если Ваше Величество желает твердой власти, которая не исключает последующих реформ, я – ваш человек. Если вы желаете остановки в деле реформ или даже движения назад, обратитесь к Дурново. Но если Ваше Величество желает топтания на месте, обратитесь к Коковцеву».

По правде сказать, после сосуществования в течение долгих лет бок о бок с такими ярко выраженными личностями, как Витте и Столыпин, государю хотелось обрести опору в лице более сговорчивого премьер-министра. Сочтя нецелесообразным почтить своим присутствием похороны Столыпина, он отбыл с семьей и со свитой в Крым накануне траурного акта. Что до Богрова, то он тут же был судим военно-полевым судом, на котором заявил, что убил Столыпина с целью мести правительству, побуждавшему его к предательству друзей, принадлежавших к партии социалистов-революционеров.[184] Вот почему он в течение стольких месяцев играл в двойную игру. Приговоренный к смертной казни, он был повешен в тот же день.

Но этой казни было явно недостаточно, чтобы изменить ход событий. После убийства Столыпина царица не могла отделаться от чувства, что опасность не отступила, нависая и над ее супругом, и над ее детьми, и над нею самою. В этом холодном страхе перед завтрашним днем она не находила иного спасения, кроме как в благословении старца. Упоенный собственной силой, Распутин теперь уже выказывал политические амбиции. В квартире его дома № 64 по улице Гороховой[185] толпились просители, точно в вестибюле приемной важного царского министра. Порою даже генералы, одетые в парадные мундиры, топтались в нетерпении на лестнице в ожидании чести быть принятыми. В иные дни число посетителей исчислялось несколькими сотнями. По царскому велению убежище кудесника охранялось полицейскими в штатском. Те, кто обращался к нему с просьбами замолвить слово перед Их Величествами, конечно же, осыпали его подношениями, но, лишенный такого качества, как

стяжательство, он охотно раздавал деньги бедным.

Между тем за его спиною сплачивались те, кому торжество старца было явно не по душе. Недовольные положением вещей мужи самого разного покроя входили – более или менее сознательно – в заговор национального негодования. Предметом оного негодования был не только сам Распутин, но и окружавшая его клика поклонниц и авантюристов. В «свиту» «отца» Григория входили, помимо Анны Вырубовой и ряда великосветских дам, подозрительные интриганы – темные личности вроде его секретаря Арона Симановича, ставшего ювелиром императрицы, богатейшие биржевики вроде Рубинштейна, полушики-полумошенники типа Манасевича-Мануйлова, попы, чиновники, высшие офицеры, жаждущие повышения… В окружении всех этих адептов, движимых более или менее благовидными побуждениями, он чувствовал себя, как в убежище, которое, как он думал, укроет его от самых сильных бурь. И все-таки непредвиденный удар пришел оттуда, откуда Распутин менее всего ожидал его: два духовных лица с берегов Волги, когда-то протежировавшие Распутину, развернули против него беспощадную кампанию: обвиняли в разврате, в принадлежности к секте хлыстов, в том, что он обманом втерся в доверие царской семье и что россказни о его похождениях наносят ущерб авторитету царской семьи. Они продемонстрировали копии писем, написанных царицей своему духовному наставнику, в которых она заверяла его в своем полном подчинении ему и желании отдохнуть на его плече и целовать ему руки.

«Мне кажется, что моя голова склоняется, слушая тебя, и я чувствую прикосновение к тебе своей руки», – писала царица своему наставнику. В своем безудержном гневе против сего исчадья ада, бесчестящего монархию, они дошли даже до попытки оскопить его.[186] Заманив Распутина в ловушку, они бросились было на него с ножом, но тому невесть как удалось от них вырваться.

Между тем скандалы следовали один за другим, полицейские доклады становились все более удручающими. И тогда царь пошел на примирительный жест, повелев Распутину покинуть Санкт-Петербург, и тот, к явному огорчению своих приверженцев, отправился в паломничество на гору Афон и в Иерусалим. Оттуда он посылал им назидательные письма: «Окончил путешествие, прибыл в град святой Иерусалим переднею дорогою… Впечатление радости я не могу здесь описать, чернила бессильны – невозможно, да и слезы у всякого поклонника с радостью потекут.

С одной стороны, всегда „да воскреснет Бог“ поет душа

радостно, а с другой стороны, великие скорби Господни вспоминает. Господь здесь страдал. О, как видишь Матерь Божию у Креста. Все это живо себе представляешь, и как за нас так пришлось Ему в Аттике поскорбеть… Что реку[187] о такой минуте, когда подходил ко Гробу Христа!

Так я чувствовал, что Гроб – гроб любви, и такое чувство в себе имел, что всех готов обласкать, и такая любовь к людям, что все люди кажутся святыми, потому что любовь не видит за людьми никаких недостатков. Тут у гроба видишь духовным сердцем всех людей своих любящих и они дома чувствуют себя отрадно.

… О, какое впечатление производит Голгофа! Тут же в храме Воскресения, где Царица Небесная стояла, на том месте сделана круглая чаша, и с этого места Матерь Божия смотрела на высоту Голгофы и плакала, когда Господа распинали на кресте. Как взглянешь на то место, где Матерь Божия стояла, поневоле слезы потекут и видишь перед собой, как все это было.

… Боже, не будем более грешить, спаси нас Своим страданием!»[188] И ранее: «А всякий грех все равно что пушечный выстрел – все узнают…»[189] Читая и перечитывая письма чудотворца, его поклонницы сокрушались все горше, что волею судьбы они в разлуке с ним. Они видели в этих бессвязных проповедях ответ тем, кто честил его шарлатаном и развратником. Так отлучка Распутина послужила творению легенды о нем.

Кстати сказать, опала его продлилась недолго. Анна Вырубова без труда добилась для изгнанника прощения. Едва вернувшись в столицу, он возобновил свое воздействие на царицу. Тем временем его противники не дремали: из уст в уста передавались сальные анекдоты о том, как Вырубова и императрица делят ложе с Распутиным. Уверяли, что, прежде чем идти навстречу любовным томлениям царицы, отвратительный moujik шел к царю, чтобы тот мыл ему ноги; что этот грубый мужлан успел изнасильничать всех четырех Великих княжон… Все это было, понятное дело, чушью несусветною, но кампания по шельмованию «старца» забавляла общественное мнение и мало-помалу, с каждым днем все более очерняла императорскую семью. Как и все приближенные к царствующей чете, вдовствующая императрица знала, что решением щекотливой проблемы было бы изгнание Распутина раз и навсегда; но она понимала и то, что ни сын, ни сноха на это не пойдут. Пригласив к себе Коковцева, она поведала ему о своей растерянности и сказала обо всем, что наболело: «„Несчастная моя невестка не понимает, что она губит и династию, и себя. Она искренне верит

в святость какого-то проходимца, и все мы бессильны отвратить несчастье“. Ее слова оказались пророческими»,[190] – писал Коковцев.

Газеты вовсю публиковали статьи о Распутине и его высокопоставленных покровителях. Больше всего шуму наделала оскорбительная для «старца» и его приверженцев брошюра, написанная неким церковным деятелем, «специалистом по делам сектантства» Михаилом Новоселовым; ее содержание перепечатывает газета московских промышленников и негоциантов «Голос Москвы», которой заправляет А.И. Гучков. И брошюра, и номер газеты тут же изымаются властями, которые этим только раздули интерес к публикации: ее перепечатывают нелегально – естественно, за хорошие деньги. По инициативе Гучкова в Думу был внесен запрос, в тексте которого повторялась статья, вызвавшая изъятие «Голоса Москвы»; 9 марта, когда в Думе обсуждался вопрос о смете для Священного Синода, Гучков воспользовался этим и произнес обличительную речь. «Хочется говорить, хочется кричать, что церковь в опасности и в опасности государство… Вы все знаете, какую тяжелую драму переживает Россия… В центре этой драмы – загадочная трагикомическая фигура, точно выходец с того света или пережиток темноты веков, странная фигура в освещении XX столетия… Какими путями этот человек достиг центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти?» Далее Гучков говорил про «антрепренеров»[191] старца, «суфлирующих ему то, что он шепчет дальше».[192] В кулуарах Думы показывали фотографии старца в окружении почитательниц, среди коих иные даже якобы узнавали старших дочерей государя, чего уж точно не могло быть в действительности; и тем не менее отныне имя царицы в разговорах оказалось напрочь приклеенным к имени Распутина; ее насмешливо называли «хлыстовка»; ну и громче всего голоса осуждения раздавались в салоне мадам Богданович.

«18 февраля. С печальным, подавленным чувством сажусь писать. Более позорного времени не приходилось переживать. Управляет теперь Россией не царь, а проходимец Распутин, который громогласно заявляет, что не царица в нем нуждается, а больше он, Николай. Это ли не ужас! И тут же показывает письмо к нему, Распутину, царицы, в котором она пишет, что только тогда успокаивается, когда приклонится к его плечу. Это ли не позор! Эти подробности сегодня рассказал Шелькинг, который провел целый вечер с Распутиным у m-me Головиной, дочери m-me Карпович, где было много разных лиц, кроме Шелькинга, и

где женщины все с подобострастием глядели на Гришку. Когда вошел Шелькинг, Гришка пошел ему навстречу, сказав, что больше любит мужчин, чем женщин. Произвел он на Шелькинга такое впечатление, что он искуснейший комедиант. Жаловался, что пресса на него нападает, что он готов уехать, но нужен здесь „своим“. Под словом „свои“ он подразумевает царскую семью.

В данное время всякое уважение к царю пропало. А тут царица заверяет, что только молитвами Распутина здоровы и живы царь и наследник, а сам Распутин решается громогласно говорить, что он нужен больше Николаю (т. е. царю), чем царице. Эта фраза может свести с ума. Какое нахальство! Очень возмущался рассказами Шелькинга кн. Оболенский, брат фрейлины царицы, который все повторял: „И это в XX веке!“ Когда Шелькинг назвал бар. Икскуль, которой Распутин сказал, что она „бегун“, Оболенский назвал ее не Икскуль, а Вельяминова, так как она с ним давно в дружбе. Грустно и печально и позорно все, что теперь творится».

И далее, 22 февраля. Весь Петербург так взбудоражен тем, что творил в Царском Селе этот Распутин. Думский запрос о Распутине является как бы успокоением: из него видно, что изыскивают все средства обезвредить этого мерзавца. У царицы – увы! – этот человек может все. Такие рассказывают ужасы про царицу и Распутина, что совестно писать. Эта женщина не любит ни царя, ни Россию, ни семью и всех губит.

Со своей стороны, фанатик Гелиодор высказал пророческим тоном: «Если Гришка немедленно не будет удален и выдворен, императорский трон опрокинется, и Россия погибнет!» Не многие из царского окружения решительно заняли позицию силы. После очередной попытки открыть глаза царице, которая упорно не желала понять, до какой степени кавалерские замашки «святого черта» компрометируют юных Великих княжон, мадемуазель Тютчева оказалась отстраненной от своих обязанностей, о чем, понятно, горько сожалела. Епископ Феофан – тот самый, который представил Распутина двору и затем стал исповедником императорской четы, с ужасом осознал, что это на нем лежит ответственность за беспрецедентный в истории России скандал. Терзаясь угрызениями совести, он явился к Николаю и признался, сколь заблуждался насчет истинной сущности «старца», который в действительности не кто иной, как опасный авантюрист. И снова царь остался неколебим. При всей слабости своего характера он не мог терпеть, чтобы кто-то пытался диктовать ему, как себя вести. Чтобы поставить на место о. Феофана, который слишком много стал на себя брать, он взял вместо него другого исповедника – о. Александра Васильева, приверженца Распутина.

В свою очередь, министр двора и интимный друг императорской семьи Фредерикс и тот дерзнул предупредить Их Величества о той опасности, которой они себя подвергают, игнорируя общественное мнение. Барону В.Б. Фредериксу государь ответил так: «Сегодня требуют выезда Распутина, а завтра не понравится кто-либо другой, и потребуют, чтобы и он уехал», а на возмущение дворцового коменданта В.Н. Воейкова сказал без обиняков: «Мы можем принимать кого хотим».[193] Новый председатель Государственного совета Коковцев также считал своим долгом просветить монарха насчет неблагоприятного впечатления, которое осталось у него от встречи с чернокнижником: «По-моему, Распутин – типичный сибирский варнак, бродяга, умный и выдрессировавший себя на известный лад простеца и юродивого и играющий свою роль по заученному рецепту. По внешности ему недоставало только арестантского армяка и бубнового туза на спине. По замашкам это человек, способный на все. В свое кривляние он, конечно, не верит, но выработал себе твердо заученные приемы, которыми обманывает как тех, кто искренне верит всему его чудачеству, так и тех, кто надувает его самого… имея на самом деле в виду только достигнуть через него тех выгод, которые не даются иным путем».[194] Все это Коковцев и поведал государю, который слушал его с отстраненным видом, устремив взор куда-то вдаль. Николай явно был раздражен тем, что его министр с такой настойчивостью чернит перед ним человека, в которого он сам и его благоверная раз и навсегда вложили все свое доверие. Запершись в своей гордыне, государь решил, что не стоит обращать внимания на этих злопыхателей: по его мнению, Распутин – всего лишь предлог, изобретенный противниками монархии для очернения самодержца. Они привлекли на свою сторону нескольких представителей высокой администрации, которые сочли, что своими великими заблуждениями сослужат службу престолу, хотя в действительности играют на руку врагу. Что же до императрицы, то чем больше обрушивалось нападок на старца, тем дороже ей он становился. Нечувствительная к психологическим нюансам, она делила мир на два клана: поклонники кудесника, которые были для нее точно лучи света, и его хулители, которые все скопом выходцы из геенны огненной.

Вскоре, утомленные атмосферой интриг и ложных слухов, царь с царицею решили удалиться из столицы в Крым. И вот 15 марта настал день отъезда, а 18-го венценосная семья уже обосновалась в Ливадии. Три дня спустя местная газета «Русская Ривьера» опубликовала сообщение о том, что «вчера Григорий Распутин прибыл на автомобиле в два часа пополудни и

остановился в гостинице „Россия“». Эта информация, вызвавшая любопытство толп, донельзя раздражила царя, который пугался еще большего ожесточения злых языков. Но царица сияла: ее бородатый, стучащий сапожищами ангел-хранитель снова был рядом с нею. А если так, то ей не грозит никакая беда!

Глава одиннадцатая
Тучи сгущаются…

Несмотря на все вспыхивавшие в высшем обществе скандалы, вызываемые то убийством Столыпина, то растущим влиянием Распутина, то дерзостными запросами в Думу, государственная машина продолжала работать как часы. Дискредитируемая в салонах и гостиных императорская семья по традиции продолжала пользоваться доверием в народных массах: не читающим газет мужикам невдомек были волнения в интеллектуальных кругах, а рабочие после столыпинских репрессий разом присмирели. Это относительное умирение трудящегося люда имело следствием значительный рост экономической деятельности. Богатства России были таковы, что даже при отсутствии твердого лидера ее национальный доход увеличивался и уровень жизни повышался. Правление Николая II не то что не знаменовало собою упадок, но, напротив, постоянный рост: ко времени его восшествия на престол в России насчитывалось 125 миллионов жителей, двадцать лет спустя уже 175 миллионов; что означало прирост населения на два с половиной миллиона в год. С 1897 по 1913 год рост поступлений в казну составил два миллиарда рублей – и это без увеличения налогов, которые оставались самыми низкими в Европе на душу населения. За тот же период сбережения в сберегательных кассах возросли с 360 млн. до 2 млрд. 200 млн. рублей. С 1909 по 1913 год производство железной руды возросло со 175 до 283 миллионов пудов, стали – со 163 до 300 млн. пудов, угля – с 16 до 22 млн.; производство хлопка и сахара возросло более чем вдвое, а нефти – на 65 процентов. Число фабрично-заводских рабочих возросло до 3 миллионов. Их профсоюзные права обрели силу закона в 1906 году. В 1912 году по их инициативе была создана первая система социального страхования. Со всех сторон в страну текли капиталы, пересекая границы. Иностранные инвестиции вскоре превысили 2 миллиарда рублей. Объем внешней торговли за десять лет возрос вдвое. И агрикультура отнюдь не плелась в хвосте этого триумфального шествия: в 1913 году производство в России основных видов злаков на треть превышало суммарное производство Аргентины, Канады и США. Россия обладала более чем половиной мирового поголовья лошадей. Она поставляла до 50 процентов яиц, экспортируемых для мирового рынка. Казалось, что на этой щедрой земле любое предприятие обречено на процветание. Переселение крестьян в

Сибирь – примерно по 300 тысяч в год – давало возможность вздохнуть свободнее тем, кто оставался на месте. Приобретение земельных наделов в полную собственность, ставшее возможным благодаря новому аграрному закону, способствовало обуржуазиванию деревни. Параллельно с этим ростом материального благосостояния преодоление неграмотности населения побило все рекорды: в начале 1913 года суммарный бюджет Министерства народного просвещения достиг полумиллиарда рублей – цифра по тем временам колоссальная. Начальное образование было бесплатным, а с 1908 года решением правительства сделалось обязательным. Начиная с этой даты, число школ стало возрастать на 10 тысяч в год. Если в 1900 году число неграмотных среди рекрутов составляло 51 %, то в 1914-м – всего лишь 27 %. «России нужно тридцать лет покоя и мира, чтобы стать самой богатой и процветающей в мире страной», – заявил в 1912 году Главноуправляющий земледелием и землеустройством (как назывался в ту пору министр сельского хозяйства) А.В. Кривошеин. Ему вторил в 1914 году французский экономист Эдмонд Тери: «Если дела у великих европейских наций в 1912–1918 гг. будут идти так, как они шли в 1900–1912 гг., то к середине века Россия будет доминировать в Европе как с политической точки зрения, так и с точки зрения экономико-финансовой».

Дружно высмеивая правительство, имущие классы тем не менее пользовались плодами этой эволюции навстречу процветанию: производили, покупали, играли на бирже и развлекались от души. Людьми владело непонятное чувство, что в этой взбалмошной атмосфере им предоставлялся уникальный шанс. Критиковали – и в то же время обогащались, злопыхательствовали – и при этом процветали. Театры заполнялись под завязку. За билеты на спектакли, в которых пели Шаляпин или Собинов, танцевали Анна Павлова, Тамара Карсавина или Матильда Кшесинская, барышникам (таким деликатным словом величали тогда спекулянтов-перекупщиков театральных билетов) платили золотом. В Москве был на гребне успеха Художественный театр Станиславского – публика ломилась на спектакль А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» – трагедию о благородном, но слабом властителе, в котором публика узнавала своего царствующего монарха. Не меньшим успехом пользовалась пьеса «На дне» Горького о жизни низов общества, сражающая своей силой «Власть тьмы» Льва Толстого и куда более утонченная драматургия Чехова. После кончины автора «Чайки» в 1904 году резко возрастает его реноме, влияние на умы людей. Шесть лет спустя, в 1910 году, оставив дом и

семью, на богом забытой станции Астапово окончил земной путь Лев Толстой. Его уход потряс всю Россию.

Тяга к чтению, дотоле бывшая привилегией одной лишь элиты, проникла и в средние, и даже народные слои общества. Ослабление цензурных тисков побуждало издателей к выпуску все новых книг; политические проблемы открыто обсуждались на полосах газет всех тенденций. Защитники старого порядка вещей вынуждены были смириться с тем, что нравы смягчились. Перед разведенными женщинами уже не закрывались двери салонов. Внедрение европейской моды мало-помалу привносило изменения в русское наследие. Жизнь в оных заведениях бурлила ключом, под томные убаюкивающие мелодии диких цыганских напевов шампанское лилось рекою. На паркете бальных зал разучивались па новомодного танца – танго; в шикарных гостиных флиртовали, обменивались сплетнями о жизни двора, судачили по поводу того или иного министра, высказывали мнения о необходимости тех или других перемен, в глубине души надеясь, что таковые не слишком уж нарушат вполне приятное в целом существование.

А за пределами этого пустого нервозного общества левые экстремисты продолжали плести свой тайный заговор. Но быстрая ошеломительная победа уже не стояла темой их дискуссий. Несмотря на все усилия, социалисты-революционеры не могли завоевать для своего дела крестьянский класс, который в большинстве своем голосовал за «трудовиков» и кадетов. Разоблачение в 1906 роду члена ЦК партии эсеров Азефа как провокатора и платного агента полиции ошеломило его «товарищей по партии» и парализовало их деятельность. ЦК партии эсеров принял решение о роспуске боевой организации. Тактика террора была временно оставлена.

Со своей стороны социал-демократы оказались перед фактом уменьшения числа своих приверженцев из года в год. В результате полицейских репрессий их ряды существенно поредели. На Лондонском съезде в 1907-м и Парижской конференции в 1908 году усилилось расхождение между более умеренным крылом – меньшевиков и более решительным – большевиков. В конечном счете этим последним удалось настоять на своей позиции, заключавшейся в том, чтобы использовать Думу в качестве трибуны для пропаганды. Точнее говоря, дискредитировать парламентаризм путем участия в нем – такова была принятая формула. Что касается работы в массах, то она возобновилась только с 1911 года, с новой серией манифестаций. Весной 1912 года всю Россию взволновали трагические события на Ленских золотых приисках. Когда в ходе забастовки

отношения между рабочими и хозяевами обострились до предела, был вызван карательный отряд. В результате около 270 рабочих были убиты и около 250 ранены. В Думе были приняты резкие запросы. На заседании 11 апреля министр внутренних дел Макаров заявил: «Когда, потерявши рассудок, под влиянием злостной агитации, толпа набрасывается на войска, тогда войску не остается ничего делать, как стрелять. Так было и так будет впредь». Эти последние слова были тут же подхвачены прессой, возбуждение в обществе резко усилилось; по всей России на заводах и фабриках вспыхнули забастовки протеста, на улицы вышли манифестанты под красными флагами. В том же году на новом партийном съезде, объединившем революционеров-эмигрантов и их товарищей по оружию, прибывших из России, Ленин становится председателем ЦК. В Санкт-Петербурге легально выходит его газета «Правда». Реорганизовавшись, большевистская фракция преобразуется в партию, отдельную от меньшевиков. Эта большевистская партия заявляет о том, что абстрагируется от террористических методов социалистов-революционеров, заимствованных у «народников», а также от ревизионизма, столь дорогого некоторым социал-демократам из эмигрантов. Их программа остается неизменной: ликвидация царизма, разрушение капитализма, утверждение диктатуры пролетариата. Но, по их оценкам, ситуация еще недостаточно созрела для всеобщего восстания.

И то сказать, несмотря на все сотрясения воздуха в Таврическом дворце, 3-я Дума – «господская» – ни в чем не стесняла реакционную политику правительства. Напротив, она служила некоторым министрам конституционным алиби. Николай не больно-то принимал ее в расчет: он откровенно поведал германскому военному атташе капитану фон Гинце все, что он о ней на самом деле думает. «Трехлетний опыт показал мне, что Дума может быть полезна как предохранительный клапан, ибо там каждый может высказать все, что накипело у него на сердце. Но она не должна располагать решающим голосом. Решать – мое дело. Толпам нужно, чтобы их вел сильный и твердый человек. Я здесь хозяин».[195]

А так ли это было на деле? Конечно же, он презирал Думу и часто выказывал невосприимчивость к советам своих министров – но лишь для того, чтобы внимательнее прислушиваться к окружающим его интимнейшим друзьям: своей благоверной, нескольким Великим князьям и с недавнего времени – Распутину. Вышеупомянутый, как нам известно, последовал за царской семьей в Крым и поселился там в лучшем отеле в Ялте, где принял пожаловавших с визитом Анну Вырубову и

многочисленных дамочек, наслаждавшихся курортной жизнью на Черноморском побережье. Его фотографии продавались в магазинах как любопытные курьезы. Царь с царицею обитали неподалеку, в своем дворце в Ливадии. А тут новая беда: у царевича в результате падения снова открылось подкожное кровотечение, и снова императрица зовет Распутина на выручку. И снова магнетические пассы и молитвы «старца» исцеляют ребенка. Когда свершилось это чудо, Александра Федоровна с еще большей яростью накинулась на тех, кто осмеливался поносить старца. Поскольку в прессе развернулась новая кампания против «святого человека», она сделала выволочку министру внутренних дел Макарову за то, что тот не сумел обуздать пишущую братию, и добилась у своего благоверного снятия его с должности как не справившегося со своими обязанностями. Одновременно с этим она затаила язвительную злобу на Коковцева, который не побоялся представить Его Величеству неприглядный доклад о ее духовном наставнике. Со своей стороны, Распутин обвинял министра в «спаивании народа» путем расширения продажи водки,[196] которая оставалась государственной монополией еще со времен Витте. Подстрекаемый своей дражайшей Аликс и Распутиным, Николай принял решение дать отставку этому совестливому и целостному служителю престола. «С тяжелым чувством вошел я в приемную государя и после минутного ожидания в ней – в его кабинет», – вспоминал Коковцев о своей последней аудиенции у самодержца. Здесь опальный сановник как никогда осознал «трудное положение государя среди всевозможных влияний безответственных людей, зависимость подчас крупных событий от случайных явлений. Когда я вошел в кабинет, государь… быстро подошел ко мне навстречу, подал мне руку и, не выпуская ее из своей руки, стоял молча, смотря мне прямо в глаза… вынул левой рукой платок из кармана, и из его глаз просто полились слезы».[197]

Замену отставленному министру Николай подобрал опять-таки по совету супруги и ее духовного наставника. Пост председателя Совета министров занял 74-летний Иван Горемыкин (который уже успел провалиться с треском в 1906 году и сам себя сравнивал со «старой шубой, вынутой из нафталина»); ну а Министерство финансов возглавил Петр Барк, причем в высочайшем рескрипте на его имя было указано: «Нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от разорения духовных и хозяйственных сил множества Моих верноподданных», которое государь относил прежде всего на счет пьянства.

Новые назначения дали новые козыри консерваторам и знаменовали собою ужесточение реакции. Между тем 4-я Дума,

созванная еще при премьерстве Коковцева (15 ноября 1912 года), дала большинство правым националистам при условии, что те объединятся с «октябристами». Тем не менее, несмотря на то что избирательный закон был благоприятным для властей, в думском зале насчитывалось 128 кадетов, прогрессистов и «автономистов», 10 «трудовиков» и 14 социал-демократов, в том числе 6 большевиков. Эта ассамблея, как и предыдущая, сотрясала воздух речами и дискуссиями и затем ратифицировала принимаемые акты. Конечно, дебаты народных представителей заполняли столбцы газет; да только ведь мало кто прочитывал их целиком и до конца. Дума, которая прежде приковывала к себе внимание потрясенной публики, теперь стала всем поперек горла своими бесконечными словесными перепалками. Разочарованное парламентаризмом высшее общество отдавало предпочтение монархии в том виде, в каком она воплощалась в Николае II.

При всем этом русскому народу в такой степени присуща потребность верить, почитать, восхищаться, что это не могло не вызвать бурю энтузиазма в феврале 1913 года, когда с особой пышностью праздновалось 300-летие Дома Романовых. Многие, веря в магическую силу круглых дат, ожидали возрождения славы России. Но во время торжественного благодарственного молебна, который служил в Казанском соборе в Санкт-Петербурге патриарх Антиохийский, присутствующие более всего жаждали знать, находится ли в толпе верующих Распутин. «Каждый стремился увидеть, заметить старца, – пишет генерал Александр Спиридович, – и тут же принимались обмениваться пересудами и сплетнями». Во все продолжение церемонии императрица с тиарой на голове – «настоящая статуя из ледяного презрения», как охарактеризовала ее княгиня Катрин Радзивилл, не спускала глаз со своего сынишки – такого тщедушного, такого бледного; он воплощал в себе будущее династии, за его хрупкое здоровье она тряслась постоянно, каждое мгновение… Через два дня после службы в Казанском соборе в Колонном зале Дворянского собрании состоялся блистательный бал, на котором присутствовала императрица, в короне и в бриллиантах. «Она блистала красотою, – писала Катрин Радзивилл, – но эта красота мало того что не привлекала присутствующих, так они еще чувствовали себя отторгнутыми ее холодными и антипатичными манерами». Те же гости собрались на гала-представлении в Мариинском театре. Давали «Жизнь за царя» Глинки. Роль молодого царя исполнял Собинов; на роль Сусанина приглашали Федора Шаляпина, но тот сказался больным, чтобы уклониться от участия. В знаменитой мазурке второго акта государь аплодировал Анне Павловой и своей бывшей возлюбленной

Матильде Кшесинской, которая от спектакля к спектаклю становилась все воздушнее, все грациознее… Торжества не ограничились столицами – с наступлением весны государь со своей семьей, несмотря на недомогание царицы и наследника, предпринял поездку по средней России. 15 мая венценосная семья отбыла из Царского Села и проехала через Москву во Владимир, оттуда на автомобиле в Суздаль; далее следовал высочайший круиз на пароходе из Нижнего Новгорода по Волге в Кострому и Ярославль. Ожидалось, что по случаю столь памятного юбилея государь объявит всеобщую амнистию политическим заключенным; но на свободу вышли лишь немногие преступившие общее право. Даже приверженцы монархии сочли такую строгость чрезмерной. «С первых же дней эти торжества принесли разочарование», – признался даже такой до мозга костей преданный монарху солдафон, как генерал Спиридович.

Если в вопросах внутренней политики Николай предпочитал полагаться на собственный инстинкт и на советы своих близких, то в области внешней политики он продолжал хранить доверие к Александру Извольскому – выдающемуся и рассудительному государственному мужу, в котором врожденный национализм уравновешивался четким пониманием нужд европейцев. После заключения соглашения, а затем договора об альянсе с недавним врагом – Японией, министр подписывает 31 августа 1907 года конвенцию с Англией, которая разграничивала зоны влияния обеих империй в Азии. Встреча Николая со своим «дядюшкой Берти» – королем Эдуардом VII – на рейде в Ревеле (ныне Таллин) в июне 1903 года продемонстрировала всему миру забвение прежних размолвок и начало нового союза. Поднимая бокалы, два венценосца провозгласили, что, действуя таким образом, они утверждают в согласии с Францией укрепление всеобщего мира. Но образовавшийся союз трех держав укрепил и еще кое-что, а именно – преследовавшую Германию навязчивую идею, что страна находится во враждебном окружении. Германская пресса язвительно комментировала эту «безумную авантюру». «России никогда не приходилось относиться к Германии иначе, как восторженно, – писала газета „Нойе фрайе прессе“, – тогда как Англия, которой Россия обязана катастрофой в Маньчжурии, всегда была и всегда будет в союзе с врагами России, кем бы таковые ни были».

Эти протесты ничуть не поколебали решимости Извольского. Он рассчитывал, что дружба с Англией и Францией даст ему большую свободу действий на Ближнем Востоке. Своею целью он ставил добиться открытия проливов, чтобы русский флот мог

свободно проходить из Черного моря в Средиземное и обратно. Лелея эту надежду, он обратился в правительственный кабинет Вены и встретился в Бухлау со своим австрийским коллегой Эренталем. Последний настоял, чтобы в обмен за то, чтобы Австрия поддержала позицию России в этом вопросе, Россия, в свою очередь, поддержала Австрию в вопросе аннексии Боснии-Герцеговины. Три недели спустя, хотя ничего еще формально не было решено, Франц-Иосиф подписывает декрет об аннексии (5 октября 1908 г.). В тот же день князь Фердинанд Болгарский принимает титул царя и провозглашает независимость своей страны, что явилось успехом австро-венгерской дипломатии, близость которой с новым болгарским владыкой была очевидна. В Сербии и в России аннексия Австрией Боснии-Герцеговины вызвала волну возмущения: сербы восприняли это как акцию запугивания в их адрес. В Думе и в независимой русской прессе с настойчивостью раздавались требования защитить братьев-сербов от австро-венгерской угрозы. Но эти призывы не нашли отклика по ту сторону российских границ. Ни Франция, ни Англия не хотели впутываться в эту историю. Что же касается Германии, то она отбросила напрочь любую мысль о международном соглашении и подстрекала Австро-Венгрию предъявить ультиматум Сербии. Этой последней было предъявлено требование признать аннексию Австрией Боснии-Герцеговины и в три дня демобилизовать свою армию. Извольский предпринял попытку вмешаться, чтобы остудить страсти; но теперь уже Германия бросила свой меч на весы. Она в ультимативном тоне предписала России безусловно повиноваться требованиям Австро-Венгрии под угрозой вооруженного вторжения.

Дезориентированное таким развитием театральных страстей, российское общественное мнение оказалось совершенно сбитым с толку. Неужели война? Россия не готова к ней. Но как проглотить такой афронт? «Впечатление таково, что избегают встречи с немцами, – отмечает мадам Богданович 15 марта 1909 года. – Гр(аф) Бобринский[198] не пошел в германское посольство, куда был зван, чтобы не видеть немцев, так как чувствует Россию униженной». После консультации с военным министром, министрами морского флота, иностранных дел и начальником Главного штаба Николай с тошнотворной покорностью признал, что Россия не в состоянии прийти на помощь Сербии. Сразу же после этого Извольскому было предписано отступить по всей линии. Брошенная Россией на произвол судьбы, Сербия приняла условия австро-венгерского ультиматума. «… Настроение у царя удрученное, – пишет Ея Превосходительство Богданович. – У него с каждым днем все более тяжелое чувство, что так быстро уступил

настоянию Германии… не может переварить, что согласился на эту аннексию… Царь не может не слышать, что весь военный мир, вся Россия признает, что согласие на аннексию хуже Цусимы». (Запись от 29 марта 1909 г.)

Вынужденный склониться перед Вильгельмом II, Николай никогда не простит ему, что тот обошел его в сербских делах. На смену сердечным отношениям, связывавшим царя с Вильгельмом в юные годы, пришло глухое физическое отвращение Николая к своему фанфаронистому и нахрапистому родичу. Злоба, затаенная им на кайзера, была такова, что он не стал срывать зло на Извольском за поражение на дипломатическом фронте от австрияков и немцев. По-прежнему пользующийся доверием императора, Извольский худо-бедно заштопал ткань международных отношений, разорванную кризисом. Подготовленные его заботами визиты государя в Шербург 31 июля 1909 г. и в Коувс 2 августа того же года утвердили в глазах остального мира прочность тройственного союза. Встреча Николая с Виктором-Эммануилом III в Роккониджи 22 октября 1909 г. явилась знаком сближения России с Италией. И все-таки, опасаясь, как бы Извольский не превысил данных ему полномочий, царь все-таки снял его с поста министра иностранных дел в сентябре 1910 г. и назначил послом во Францию.

Сменивший Извольского Сергей Сазонов был человеком горячим, пылким и притом неосторожным и малоопытным. Шестилетнее пребывание в Лондоне в начале карьеры решительно сделало его англоманом. Сторонник тесного сотрудничества с Англией, он был не меньше убежден в том, что священный долг России на Балканах – защищать все маленькие славянские народы, исповедующие православие. С его подачи Сербия и Болгария, примирившись, подписали в 1912 году договор, который вскоре дополнил соглашение с Грецией и Черногорией. Сформированная таким образом Балканская лига развязала войну с Турцией, которая закончилась победой союзников. Но в момент заключения мирного договора македонский вопрос снова восстановил сербов против болгар. И снова Германия пригрозила силовым вмешательством. Месяц за месяцем потекли в страшном напряжении; наконец собравшаяся в Лондоне международная конференция зафиксировала границы.

Да гладко было на бумаге, которая все стерпит! Осадок-то остался! Австрия, соизмерив уменьшение своего влияния на Балканах и опасаясь распада своей империи под воздействием националистических сил, усилила свои военные приготовления. Германия направила в конце 1913 года в Константинополь

военную миссию и назначила генерала Лимана фон Зандерса командующим 1-м корпусом турецкой армии в столичном гарнизоне. Вскоре фон Зандерс стал генеральным инспектором всей оттоманской армии. Россия консолидировала свою стратегическую сеть на восточном фронте, ассигновала 110 млн. рублей на усиление Черноморского флота, отозвала свои авуары из германских банков…

В эти судьбоносные часы Николай испытывал некое головокружение, наподобие того, которое возникает у человека, нагнувшегося над бездной, чтобы глазом измерить ее глубину. Он наотрез отказывался верить, что войны не избежать; при этом ему казалось невозможным проглотить новые обиды. Что же придавало ему твердость? Во-первых, он полагался на то, что в случае конфликта Англия и особенно Франция поддержат его, а во-вторых, что ярый защитник монархических принципов Вильгельм II ни за что не решится напасть на своего кузена – русского царя. Разве они, несмотря на все недоразумения, не встречались в ноябре 1910 года в Потсдаме, что позволило согласовать в Персии интересы двух держав? Конечно, удастся достичь согласия и в этот раз. Тем более что кайзеру ведома боевая мощь русского оружия, и, каким бы он ни был забиякой, он выберет осторожность. Но надо бы помнить, что не забыли о своих интересах ни Франция, которая не оставила надежду когда-нибудь отвоевать Эльзас и Лотарингию, ни Англия, которая чувствовала для себя угрозу в развитии германской морской торговли, ни Австрия, которая боится, как бы не рассыпалась ее гегемония над всеми многочисленными народами, ни Германия, которая спит и видит, как бы утвердить свой закон над всем континентом… Но, несмотря на все эти исторические, географические и экономические очевидности, Николай цеплялся за свои иллюзии. «Я не могу поверить, чтобы император Вильгельм желал войны, – заявит он новому послу Франции в Петербурге Морису Палеологу. – Если бы вы знали его, как я. Если бы вы знали, сколько шарлатанства в его позах!.. Германия не осмелится напасть на объединенную Россию, Францию и Англию, иначе как если совершенно потеряет рассудок».[199] Этот разговор происходит вскоре после убийства 15(28) июня 1914 года боснийским студентом Принципом на улице в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда. Новость дошла до государя, когда он с семьей совершал круиз по Балтике на яхте «Штандарт». Но в тот момент его куда больше волновало другое: садясь на яхту, царевич повредил лодыжку. И снова – мучительное внутреннее кровоизлияние в ноге, дитя ревело от боли, а родительница и

доктор Боткин пытались его успокоить. После нескольких часов размышлений Николай все-таки решил выходить в море. И в самом деле резкие боли у ребенка утихли. Что же касается сараевского убийства, то царь и не думал о том, что оно может иметь тяжкие последствия: внутренние войны, заговоры, политические убийства были на Балканах в порядке вещей. За несколько дней все рассосется, размышлял он, об этом и думать перестанут.

6 июля пассажиры «Штандарта» сошли на берег в Петергофе, и Николай тут же приступил к подготовке к приему президента Французской Республики Раймона Пуанкаре. Встреча с этим персонажем, о чьей представительности и сноровке он был столько наслышан, представлялась Николаю более важным делом, чем то, что, вопреки его расчетам, сараевское убийство спровоцировало в правительственном кабинете Вены воинствующий гнев против Сербии. Кстати, эта последняя связана договором с Россией, а сама Россия связана договорами с Англией и Францией. Лишь бы только не вспыхнул пожар во всей Европе!

Итак, яхта «Александрия»,[200] на борту которой – император Николай и посол Морис Палеолог, выходит в море навстречу французской эскадре. «Император заставляет меня подняться с ним на мостик, – вспоминает Морис Палеолог. – Зрелище величественное. В дрожащем серебристом свете на бирюзовых и изумрудных волнах „Франция“ медленно подвигается вперед, оставляя длинную струю за кормой… Грозный броненосец, который привозит главу французского правительства, красноречиво оправдывает свое название: это действительно Франция идет к России… В продолжение нескольких минут рейд оглашается громким шумом: выстрелы из пушек эскадры и сухопутных батарей, „ура!“ судовых команд, „Марсельеза“ в ответ на русский гимн, восклицания тысяч зрителей, приехавших из Петербурга на яхтах и лодках… Президент республики подплывает наконец к „Александрии“, император встречает его у трапа…».[201] В этот же вечер государь дает в петергофском дворце парадный обед в честь французских гостей. «В течение обеда я наблюдал за Александрой Федоровной, против которой я сидел, – пишет М. Палеолог. – Хотя длинные церемонии являются для нее очень тяжелым испытанием, она захотела быть здесь в тот вечер, чтобы оказать честь президенту союзной Республики. Ее голова, сияющая бриллиантами, ее фигура в декольтированном платье из белой парчи выглядят еще довольно красиво. Несмотря на свои года, она еще приятна лицом и очертаниями. С первой перемены кушаний она старается завязать разговор с Пуанкаре,

который сидит справа от нее. Но вскоре ее улыбка становится судорожной, ее щеки покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает губы. И ее лихорадочное дыхание заставляет переливаться огнями бриллиантовую сетку, покрывающую ее грудь. До конца обеда, который продолжается долго, бедная женщина, видимо, борется с истерическим припадком. Ее черты внезапно разглаживаются, когда император встает, чтобы произнести тост». [202] Тосты, как и полагается, провозглашались за нерушимый союз двух держав. Назавтра Пуанкаре в сопровождении Мориса Палеолога отправился в Зимний дворец, где должно было состояться дипломатическое собрание. Дошла очередь и до разговора французского президента с послом Австро-Венгрии графом Сапати. «Мы не можем терпеть, господин президент, – сухо заявил он, – чтобы иностранное правительство допускало на своей территории подготовку покушения против представителей нашей верховной власти». В ответ на это заявление Пуанкаре старается доказать графу самым примирительным тоном, что при нынешнем состоянии умов в Европе всем правительствам лучше бы соблюдать осторожность: «При некотором желании это сербское дело легко может быть покончено. Но так же легко оно может разрастись. У Сербии есть очень горячие друзья среди русского народа. И у России – союзница – Франция. Скольких осложнений следует бояться!» Сапари выслушал все это с мраморным лицом, не произнеся в ответ ни слова. Когда он удалился, Раймон Пуанкаре поведал Морису Палеологу: «Я вынес дурное впечатление из этого разговора. Посол явно получил предписание молчать. Австрия подготовляет неожиданное выступление. (в оригинале: coup de theatre. – *Прим. пер.*)». [203]

Два дня спустя Раймон Пуанкаре присутствовал на масштабном смотре войск в Красном Селе. На трибунах, где теснились сливки петербурского общества, расцвел целый цветник из вееров и зонтов. Медленно въезжает императорский кортеж. В коляске, запряженной цугом, слева от Пуанкаре едет императрица, склонивши голову под большою шляпой; лицом к ней – две старшие дочурки. Справа от экипажа гарцует император, за ним – Великие князья и адъютанты, также верхом. Наконец начинается парад. Восседая в седле, император с гордостью созерцает этих 60 тысяч человек, которые маневрируют, точно отлаженные механизмы. Да, размышляет он, Россия решительно непобедима! «Солнце опускается к горизонту, на пурпурном и золотом небе, на небе для апофеоза. По знаку императора пушечный залп дает сигнал к вечерней молитве. Музыка исполняет религиозный гимн. Все обнажают головы. Унтер-офицер читает громким голосом „Отче наш“: тысячи и

тысячи людей молятся за императора и за Святую Русь. Безмолвие и сосредоточенность этой толпы, громадность пространства, поэзия минуты, дух союза, который парит над всем, сообщают обряду волнующую величественность».[204]

Отъезд французских гостей был намечен на 10(23) июля. После торжественного обеда в честь императорской четы на броненосце «Франция» состоялся разговор Николая с послом Франции. На замечание последнего, что по ряду признаков «Германия и Австрия готовят нам взрыв», Николай ответил, словно пытался сам себя убедить в том, что говорит: «Нет, нет… несмотря на всю видимость, император Вильгельм слишком осторожен, чтобы кинуть свою страну в безумную авантюру… А император Франц-Иосиф хочет умереть спокойно».[205]

На следующее утро, едва пробудившись ото сна, Николай с изумлением узнает, что в ту же ночь, как Пуанкаре со свитою отбыл во Францию, правительственный кабинет Вены, повторив свой маневр 1909 года, предъявил ультиматум Сербии. В этом документе содержалось требование, чтобы Сербия приняла на своей территории австро-венгерских чиновников для подавления «подрывных элементов»; на ответ было дано 48 часов. Вполне естественно, Германия поддержала претензии австрийцев. Напрасно дипломаты прилагали усилия к тому, чтобы смягчить последствия этого требования. Сазонов даже обратился к сербскому правительству с советом принять любые требования Австро-Венгрии за исключением тех, что посягают на суверенитет страны. Напрасный труд! 15(28) июля 1914 года Австро-Венгрия объявляет Сербии войну.

Эта новость повергла царицу в отчаяние, тем более что Распутина, который мог бы наставить царя на путь истинный, рядом не было: находясь у себя на родине в Покровском, он подвергся нападению полусумасшедшей крестьянки Хеонии Гусевой, которая всадила ему нож в живот, крича, что она убила Антихриста.[206] То же самое она скажет и на следствии: «Я считаю Григория Ефимовича Распутина лжепророком и даже Антихристом». Естественно, за этот случай ухватилась вся пресса, чтобы еще раз заклеймить пороки и развратный образ жизни «старца». Между тем в течение нескольких дней жизнь Григория Ефимовича оставалась под угрозой, и царица, переживая кризис болезненной тоски, заказывала молебен за молебном в дворцовой церкви об исцелении своего духовного наставника. Наконец, когда Распутину стало лучше, он послал из Тюмени, где находился на излечении, телеграмму, в которой убеждал царя «не затевать войну, что с войной будет конец России и им самим и что положат до последняго человека». «Государя телеграмма

раздражила, – пишет Анна Вырубова, – и он не обратил на нее внимания», ибо в отличие от царицы он больше доверял своим министрам, чем полуграмотному мужику. «Эти дни я часто заставала государя у телефона (который он ненавидел и никогда не употреблял сам): он вызывал министров и приближенных, говоря по телефону внизу из дежурной комнаты камердинера». [207]

В атмосфере холодной паники он благосклонно выслушивал любые предложения своих традиционных советников, желая уладить конфликт мирными средствами. После того, как Австро-Венгрия объявила войну своей куда более слабой соседке, он направил депешу Вильгельму, в которой предложил свою дружескую помощь в разрешении ситуации. На следующий день, по запросу Николая, Англия выступила с предложением созвать конференцию четырех заинтересованных держав. В тот же день он дает кайзеру телеграмму с предложением вынести австро-сербский конфликт на рассмотрение Гаагского трибунала. «Полагаюсь на твою мудрость и твою дружбу», – телеграфировал он. По его сообщению, Россия была бы готова даже к прямому диалогу с Австрией. В доказательство своей доброй воли Николай не сразу согласился на всеобщую мобилизацию, поначалу ограничившись лишь частичной.

Однако 17(30) июля в час пополуночи государь получил ответ от кайзера, в котором последний возлагал на Россию всю ответственность за неизбежную войну. Кстати, нападению австро-венгерской армии на Сербию предшествовал обстрел Белграда, невзирая на белые флаги, вывешенные на крышах домов сербской столицы. Начальник Генерального штаба Н.Н. Янушкевич и другие военные авторитеты настаивали на объявлении всеобщей мобилизации. Николай еще колебался. Он знал, что единственным средством избежать войны было бы склониться перед Вильгельмом, пойдя на предательство Сербии и Франции. Подобные volte-face'ы[208] были не в его характере. Разве он всего несколько дней назад не заверил Раймона Пуанкаре в нерушимости уз, связывающих обе державы? Теперь настало время держать слово! Принимая Сазонова, император долго размышлял, прежде чем заявить о своем согласии на объявление всеобщей мобилизации. При этом он добавил со вздохом: «Это означает послать на смерть сотни тысяч русских людей». И после паузы: «Вы меня убедили, но это будет самый тягостный день в моей жизни».

Приказ о всеобщей мобилизации был издан 16(31) июля 1914 года. Тем не менее Николай все еще продолжал телеграфный диалог с Вильгельмом: «Технически невозможно остановить наши

военные приготовления, ставшие неизбежными ввиду мобилизации Австрии. Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут военных действий. Я торжественно даю тебе в этом мое слово». Кайзер же с подобными обещаниями не спешил: тот факт, что Россия первой объявила всеобщую мобилизацию, давал Вильгельму удобный предлог, чтобы представить в глазах немцев объявление войны как вынужденный акт самозащиты. В ответной телеграмме Вильгельм заявил: мир в Европе еще можно будет спасти лишь в том случае, если Россия остановит военные приготовления, которые угрожают Австро-Венгрии. В полночь с 18 на 19 июля германский посол Пурталес явился к С.Д. Сазонову и предъявил ультимативное требование – немедленно приостановить мобилизацию. Это было решительно невозможно – ни по соображениям достоинства страны, ни по чисто техническим причинам. И тогда 19 июля (1 августа) в 7 часов 10 минут вечера Пурталес вручил Сазонову официальное объявление войны.

На следующий день улицы столицы заполнили огромные толпы; не смолкали возгласы «ура!» и пение царского гимна. Но такой патриотический угар охватил далеко не всех. В спешке вернувшаяся из Парижа поэтесса Зинаида Гиппиус, жена писателя Мережковского, записала в свой дневник:

«Что писать? Можно ли? Ничего нет, кроме одного – война! Не японская, не турецкая, а мировая. Страшно писать о ней мне, здесь. Она принадлежит всем, истории… Да и я, как всякий современник, не могу ни в чем разобраться, ничего не понимаю, ошеломленная… Кажется, что все разыгралось в несколько дней. Но, конечно, нет. Мы не верили потому, что не хотели верить. Но если бы не закрывали глаз…»[209]

Глава двенадцатая
Николай в ставке с Распутиным за спиною

Итак, 19 июля (1 августа) 1914 года, когда царская семья завершала трапезу в столовой Петергофского дворца, министр двора попросил у императора аудиенции. Николай вышел из-за стола и несколько минут спустя вернулся бледный, с перекошенным лицом. «Свершилось! – сказал он. – Германия объявила нам войну!» От такого потрясения взгляды у всех застыли. Царица небывалыми усилиями пыталась сдерживать рыдания. У Великой княжны Ольги Николаевны глаза были полны слез.

На следующее утро Их Величества чуть свет поднялись на борт яхты «Александрия», которая взяла курс на Петербург. Толпа, собравшаяся у причала, горячо приветствовала их. В огромном Георгиевском зале Зимнего дворца собрался весь двор в парадных мундирах, все высшие сановники, Святейший Синод, высшие церковные чины в пышных облачениях, офицеры петербургского гарнизона в полевой форме, столпившиеся в тревожном и почтительном молчании. В центре зала был помещен алтарь с чудотворной иконой Казанской Божьей матери, на время принесенной из Казанского собора, что на Невском проспекте. «В благоговейной тишине императорский кортеж проходит через зал и становится слева от алтаря, – вспоминает Морис Палеолог. – … Божественная служба начинается тотчас же… Николай II молится с горячим усердием, которое придает его бледному лицу поразительное выражение глубокой набожности. Императрица Александра Федоровна стоит рядом с ним неподвижно, с чопорным бюстом,[210] с высоко поднятой головой, с лиловыми губами, с остановившимся взглядом стеклообразных зрачков; время от времени она закрывает глаза и ее багровое лицо напоминает мертвую маску».

По окончании службы дворцовый священник зачитывает Императорский манифест. Затем сам государь, приблизившись к престолу, поднимает правую руку над Библией, которую ему подносят, и изрекает с твердостью в голосе.

«Я здесь торжественно заявляю, – сказал он, – что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли Нашей».[211] Эти слова, вдохновленные клятвой, принесенной Александром I в 1812 году, были встречены

громовым «ура!». Вел. кн. Николай Николаевич наклоняется к малорослому Морису Палеологу и заключает его в объятия, едва не раздавив, – на это раздаются крики:

– Vive la France!.. Vive la France!..

Офицеры бросают в воздух фуражки. Звучит многоголосье «Боже, царя храни», сотрясающее стены Георгиевского зала. Нарушая протокол, мужчины и дамы бросились на колени перед государем и государыней, целуя им руки. Одетая в белое платье императрица была испугана таким порывом; глаза ее увлажнились, щеки стали похожими на искусственный мрамор от красных пятен; ей хотелось удрать из этой суматохи, словно она оказалась не в дружественном, а, напротив, во враждебном окружении. Но ей еще нужно было выйти на балкон вместе с венценосным супругом, чтобы приветствовать толпу, собравшуюся перед Зимним дворцом. А на площади собрались десятки тысяч людей с национальными флагами и царскими портретами. При виде монаршей четы головы мигом обнажились, толпа преклонила колени, знамена склонились к земле. От этого океана человеческих лиц вознеслись к небу царский гимн и молитва «Спаси, Господи, люди твоя…». Взволнованный Николай наконец-то почувствовал, как он любим всею Святою Русью. О да, отнюдь не было похоже, чтобы шествие было организовано полицией, и среди толпы, явившейся на площадь, были отнюдь не только члены «Союза русского народа», официально преданного монархии. О нет! Среди толпы было множество рабочих, которые еще недавно бастовали и дефилировали по улицам Санкт-Петербурга под красными флагами и лозунгами отнюдь не ура-патриотическими. В течение двадцати лет правления Николай тщетно мечтал о таком патриотическом порыве – и вот он ширится перед его государевыми очами! В одно мгновение ока преобразились все народные чувства – никаких помыслов о баррикадах, стачках, уличных шествиях под революционными полотнами кумача – ни в столице, ни во всей остальной стране! Не только простые люди с улицы, но и интеллектуалы и политики мигом изменили свое отношение, став на сторону власти. Да и оппозиционеры – эсеры, меньшевики – также считали, что русские люди должны защищать свою землю даже ценою временного сближения с правительством. Только большевики устами Ленина, находившегося в Швейцарии в изгнании, заявляли о предпочтительности поражения русских в этой войне – ведь победа только послужила бы укреплению царского режима. Председатель Государственной думы Михаил Родзянко имел все основания заявить Морису Палеологу; «Война внезапно положила конец всем нашим внутренним раздорам. Во всех думских

партиях помышляют только о войне с Германией».

Поначалу государь сам предполагал стать во главе русской армии, тем более что закон о полевом управлении войсками был составлен в предвидении, что Верховным Главнокомандующим будет сам император. С большим трудом председателю Государственного совета Горемыкину и министрам – военному и иностранных дел – удалось уговорить его не пускаться в подобную авантюру. В самых патетических терминах они разъяснили ему, что не следует подвергать риску свой престиж – ведь события могут повернуться очень круто! «Следует ожидать, – сказал царю Сазонов, – что в первые недели мы принуждены будем отступать, Вашему Величеству не следует подставлять себя под удары критики, которую это отступление неизменно вызовет в народе, а то и в армии». Скрепя сердце царь уступил и назначил Верховным Главнокомандующим своего дядю, Вел. кн. Николая Николаевича, пользовавшегося доверием в армейской среде.

Мобилизация прошла без чрезвычайных происшествий. Вступление в войну Великобритании укрепило Николая во мнении, что конфликт быстро завершится блистательной победой. Чтобы пробудить в своем народе победный пыл, государь отправился в Москву; пышный прием, устроенный ему в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, окончательно убедил его в том, что час испытаний объединил Россию в единый монолитный блок. В этих патриотических действах принимал участие и маленький наследник с сестрами; поскольку накануне он ушиб ногу, его носил на руках казак.

«Посередине залы кортеж останавливается, – вспоминает Морис Палеолог. – Звонким, твердым голосом император обращается к дворянству и народу Москвы. Он заявляет, что по обычаю своих предков он пришел искать в Москве поддержки своим нравственным силам в молитве перед святынями Кремля… Он заключает: „Отсюда, из сердца Русской земли, я посылаю моим храбрым войскам и моим доблестным союзникам мое горячее приветствие. С нами Бог…“»[212]

На следующее утро царевич Алексей и его наставник, швейцарец Пьер Жильяр, выехали на автомобиле на прогулку в окрестности Москвы. Когда они вернулись в город, толпа, узнав царевича, остановила авто; сгрудившись, чтобы рассмотреть царевича поближе, люди кричали: «Наследник! Наследник!» Всем хотелось дотронуться до него, обнять. Многие осеняли его крестным знамением. Испуганный ребенок съежился на сиденье; в конце концов Жильяру пришлось вызвать полицию, чтобы освободили дорогу.

Чтобы показать себя достойным того возвышенного порыва,

который он увидел в своем обожаемом народе, Николай воспретил казенную продажу водки[213] и решил переименовать Санкт-Петербург в Петроград. Иные ворчуны упрекали его в том, это этим-де он нарушает волю своего великого предка, основателя города – Петра Великого.

Тем временем немцы, развивая наступление, вошли в Брюссель и угрожали Парижу. Верный своему слову, Николай решил облегчить положение Франции, пусть и ценой большой крови. Две мощные армии под командованием Самсонова и Ренненкампфа глубоко проникли на территорию Восточной Пруссии и вынудили противника снять с западного фронта два армейских корпуса и один кавалерийский дивизион и в спешном порядке перебросить их на восточный фронт. Этот маневр, проведенный отборными русскими частями, даст французам возможность одержать победу на Марне и спасти Париж. Но и немцам удалось взять реванш: перегруппировавшись под командованием генерала фон Гинденбурга, они окружили и разбили войска Самсонова в районе Мазурских озер близ Танненберга и вынудили Ренненкампфа к изнуренному отступлению за черту российской границы. Самсонов покончил с собою прямо на поле сражения. Русские потеряли 110 тысяч человек, из них убитыми и ранеными – 20 тысяч и пленными – 90 тысяч. Сообщив французскому послу трагическую новость о гибели армии Самсонова, российский министр иностранных дел добавил: «Мы должны были принести себя в жертву Франции, которая показала себя такой верной союзницей».[214]

Прежде имевший место в публике порыв энтузиазма сменился подавленностью. Очень быстро стало очевидным, что ни интендантские службы, ни Красный Крест не были готовы к такому развитию событий. В Москву и Петроград приходили поезда, набитые ранеными, – кое-как перевязанные, умиравшие от голода, они лежали на соломенной подстилке, а то и просто на голых досках. Выжившие рассказывали, что не все из призванных на фронт резервистов имели винтовки, что артиллерия, которой не хватало боеприпасов, не могла поддержать марш пехотинцев. По их рассказам, Россия была еще менее подготовлена к этой войне, нежели в 1904 году. Само собой разумеется, пресса не имела права ставить под сомнение превосходную экипировку и высокий боевой дух российских воинов. Но в Петрограде, перешептываясь, обвиняли генералов в бездарности, говорили, что на самом деле число убитых гораздо выше, чем о том сообщается, что у царя на роду написаны сплошные неудачи – сначала Ходынка, затем рождение больного гемофилией наследника, Цусима, Кровавое воскресенье, бунты и мятежи,

убийства Вел. кн. Сергея Александровича и председателя Совета министров Столыпина, истеричность царицы и появление Распутина… «Чего же вы хотите, господин посол, – сказал Палеологу один из его тайных осведомителей. („Личность эта подозрительная, как все люди его ремесла; но он хорошо осведомлен о том, что происходит и что говорится среди лиц, окружающих монархов“.) – Мы – русские и, следовательно, суеверны. Но разве не очевидно, что императору предопределены несчастья?.. Что император обречен на катастрофы и что мы имеем право бояться, когда размышляем о перспективах, которые эта война открывает перед нами?»[215]

Сергей Юльевич Витте, находившийся до начала конфликта за границей, спешно вернулся в Петроград, чтобы попытаться умолить царя выйти из войны и устраниться из альянса, пока не поздно. «Эта война – безумство! – говорил он французскому послу. – Наш престиж на Балканах… Наш старый долг – поддерживать братьев по вере… Все это – романтическая, устаревшая химера! Пусть бы сербы получили наказание, которого заслуживали! Предположим, что наша коалиция одержала полную победу. Это означало бы не только крушение германской мощи – это означало бы провозглашение республиканского строя во всей Центральной Европе. И тем же махом – конец царизма. А гипотезы о том, каковы будут следствия нашего поражения, я предпочитаю держать при себе. Мое практическое заключение – необходимо ликвидировать эту глупую авантюру как можно быстрее!»

Тем временем Россия, отступив на германском фронте, взяла свое на австрийском. Изгнав австро-венгерские войска с российской территории, царские войска взяли Львов и, начиная с конца сентября 1914 года, заняли восток Галиции. Месяц спустя в войну против союзников вступила Турция. И тут же Николай, перед которым, словно мираж, возникли тени предков, возмечтал о Константинополе и проливах; Франция и Англия временно согласились с этими из ряда вон выходящими претензиями. Турецкие корабли бомбардировали русские берега и в середине декабря глубоко проникли на русскую территорию; в Грузии было началась паника, но русские, сломив натиск противника под Сарыкамышем, вытеснили турок обратно за российскую границу.

Еще до объявления войны Турция закрыла Дарданеллы для русской торговли, и у России для сношения с внешним миром оставались только далекий Владивосток и Архангельск, замерзающий более чем на полгода; а небольшой незамерзающий порт Александровск на Мурмане был мало приспособлен для приема конвоев. В феврале 1915 года немцы развернули новое

наступление в Восточной Пруссии, которое закончилось под Аугустовом. Несмотря на героическое сопротивление, русские потеряли 11 тысяч пленными. Кровопролитные сражения развернулись в карпатских перевалах. Но 22 марта, после шестимесячной осады, русские взяли Перемышль, а в конце апреля вошли на территорию Венгрии.

Сознавая, чем это грозит, немцы бросились на помощь союзникам. Вот теперь война пошла вспять. В мае 1915 года немцы, сняв с французского фронта три десятка дивизий, перешли в яростное наступление на двух оконечностях восточного фронта. Удар, еще удар – и русские потеряли Перемышль и Львов. Вынужденные эвакуировать всю Галицию, русские с боями отступали. Пришлось оставить и Польшу, и Литву. Фронт проходил теперь через Ригу, Двинск, Пинск, Тарнополь. Русские потери убитыми, ранеными и пленными составляли теперь 3 миллиона 800 тысяч человек. Слабая организация транспорта, никудышное снабжение армии продовольствием и боеприпасами вообще ставили под сомнение возможность реванша и сопротивления. Не обладавшая мощной военной индустрией Россия вынуждена была обратиться к союзникам за подкреплениями; но Франция и Англия сами нуждались в военном материале и не могли поставлять их в требуемом количестве.[216] Плохо одетые, слабо экипированные, солдаты, ведомые в бой Вел. кн. Николаем Николаевичем, зачастую шли с одними штыками против немецких пулеметов. Отборные полки империи, опора престола и гордость монарха, вся щегольская и удалая офицерская каста были принесены в жертву в первые же месяцы схваток, ибо верховное главнокомандование русских рассчитывало на скорую победу. Между тем французский посол Морис Палеолог требовал от лица Франции все новых усилий со стороны России. Сколько же душ еще будет положено на алтарь кровавой бойни? До сознания еще недавно полного энтузиазма общественного мнения дошло, что война будет затяжной и жестокой. Все больше и больше ходило разговоров об измене – в марте 1915 года стали распространяться слухи о раскрытии крупной шпионской организации во главе с жандармским полковником Мясоедовым; появилось официальное сообщение о том, что этот полковник был предан военно-полевому суду и повешен.[217] А ведь ему покровительствовал сам военный министр Сухомлинов! Не наводнено ли правительство вражескими агентами?!

За обедом с богатейшим российским промышленником Путиловым Морис Палеолог задал ему вопрос, какое будущее, на его взгляд, ждет Россию. Закурив сигару, Путилов дает волю

своему пессимизму: «Дни царской власти сочтены; она погибла, погибла безвозвратно… Отныне революция неизбежна… Революция может быть большим благополучием для народа, если, разрушив, она сумеет построить вновь. С этой точки зрения, революции во Франции и в Англии кажутся мне скорее благотворными. У нас же революция может быть только разрушительной, потому что образованный класс представляет в стране лишь слабое меньшинство, лишенное организации и политического опыта, не имеющее связи с народом… Сигнал к революции дадут, вероятно, буржуазные слои, интеллигенты, кадеты, думая этим спасти Россию. Но от буржуазной революции мы перейдем к революции рабочей, а немного спустя к революции крестьянской. Тогда начнется ужасающая анархия, бесконечная анархия…»[218]

Тем не менее Николай по-прежнему хранил надежду на военный успех. Русское дело правое. Бог защитит Россию! Но иное мнение было у Распутина: вернувшись в Петроград по исцелении от раны, он заявил в кругу своих почитательниц: «Слишком много мертвых, раненых, вдов, сирот, слишком много разорения, слишком много слез… Подумай о всех несчастных, которые более не вернутся, и скажи себе, что каждый из них оставляет пять, шесть, десять человек, которые плачут… Я знаю деревни, большие деревни, где все в трауре… А те, которые возвращаются с войны, в каком состоянии… Эта ужасно! В течение больше двадцати лет на русской земле будут пожинать только горе».[219] По словам Распутина, против воли Божией Россия вступила в эту войну, Христос возмущен потоком слез и стонов, возносящихся к Нему с земли русской. Но им, генералам, гибель мужиков не мешает ни есть, ни пить, ни наживаться… Увы, не им одним отольется кровь жертв войны – она отольется и царю, ибо царь – отец мужиков… Возмездие Божие будет ужасным…

Впрочем, самому Распутину гибель русских мужиков тоже не мешала есть и пить всласть. Как-то раз на развеселой вечеринке в шикарном зале модного московского ресторана «Яр» случился скандал. Ужиная в компании двух журналистов и трех хорошеньких дамочек, он, по своему обыкновению, рассказывал им во всех подробностях о своих амурных похождениях в Петрограде: называя в лицах покоренных им женщин, он смаковал секреты их анатомических прелестей, высказывал предпочтения в манерах ласок и утверждал, что жилет, который он носит под кафтаном, расшит самой императрицей; говоря об этой последней, он называл ее старухой и завершил свои откровения словами: «Я делаю с нею, что хочу». От такого

беспардонства одна из дамочек поспешно ретировалась. Свидетелями сцены были официанты, певицы-цыганки, балалаечники. Об этом скандале доложили префекту полиции, который довел его до сведения товарища министра внутренних дел В.Ф. Джунковского. Последний представил государю доклад с точным описанием происшествия; допросы свидетелей подтвердили точность фактов и слов, прозвучавших из уст Распутина. Происшествие крайне раздосадовало Николая, но его благоверной вместе с Анной Вырубовой быстро удалось убедить государя, что это нечистый попутал их святого друга. Благодарение Богу, который посылает на землю своих истинных вестников! Анна Вырубова убедилась в этом еще больше, когда по молитвам «старца» она мало-помалу оправилась от шока и травм, полученных в результате железнодорожной катастрофы, случившейся 2 января 1915 года.[220]«Жить она будет, но останется калекой», – сказал Распутин, когда врачи в один голос предрекали роковой исход.

Страдания, через которые пришлось пройти Анне, еще более сблизили ее с императрицей. С самого начала войны обе они решили посвятить себя делу облегчения участи раненых. Забыв свои недомогания, государыня организовала особый эвакуационный пункт, в который входило около 85 лазаретов в Царском Селе, Павловске, Петергофе и других местах. Обслуживали эти лазареты около 20 санитарных поездов, названных именами императрицы и ее детей. Государыня лично решила пройти курс военных сестер милосердия вместе с Анной Вырубовой и двумя старшими дочерьми. Красивые, искренние, добросердечные, Ольга и Татьяна в одночасье оказались в юдоли боли и страданий. Находясь рядом с матерью, они своими заботами ассистировали при операциях. «Стоя за хирургом, государыня, как обычная операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасныя картины военнаго госпиталя во время войны. Объясняю себе тем, что она была врожденной сестрой милосердия».[221]

Помимо этого, императрица создала в Петрограде и других городах склады белья и обмундирования для армии. Чуткая к тяготам солдат, она хотела бы взять себе все невзгоды страны, которая стала для нее родной. Когда Николай II отсутствовал в Петрограде, она сообщала ему в письмах о своей работе сестрой милосердия: «В первый раз побрила солдату ногу возле и кругом раны». 17 ноября 1914 года: «Вчера присутствовала при перевязке… ужасный вид, он (раненый) прижался ко мне и

держался спокойно, бедное дитя». 20 ноября: «Сегодня утром мы присутствовали (я, по обыкновению, помогала подавать инструменты, Ольга продевала нитки в иголки) при нашей первой большой ампутации (рука была отнята у самого плеча)… Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами, они едва ли останутся мужчинами в будущем, так все пронизано пулями… я все промыла, почистила, помазала йодином, покрыла вазелином, подвязала, – все это вышло вполне удачно».[222]

Если кто-то из раненых, к кому она особенно привязывалась, умирал, она скорбела о нем, как о родном сыне. И впрямь, она чувствовала себя матерью не только Алексея и четырех девочек, но и всей истекающей кровью России. Пациенты, чьи сердца смягчались при виде такой преданности государыни благому делу, называли ее Матушкой и просили посидеть у своего изголовья в самые тягостные для них часы.

Николай тоже всем сердцем переживал драму, обрушившуюся на страну. Ему было тяжело находиться в безопасности в Царском Селе, в то время как другие жертвовали своими жизнями на фронте. Но, размышлял он, в эти грозные дни здоровая моральная атмосфера в тылу важна не менее, чем на передовой. Его любимым собеседником был в ту пору Главноуправляющий делами земледелия Александр Кривошеин – человек энергичный и открытый, в прошлом правая рука Столыпина. Иные прочили его в преемники престарелого Горемыкина на посту председателя Совета министров. Но царь равным образом прислушивался и к патриотическим стенаниям председателя Государственной думы Михаила Родзянки. Видя, какие эмоции захлестнули общество перед лицом русских неудач в Галиции, он даже санкционировал создание Комитета обороны с участием представителей Государственной думы, Государственного совета, представителей коммерции и промышленников. Иначе говоря, речь шла о создании объединения активных элементов нации, имеющего целью налаживание снабжения армии и борьбу с экономическими трудностями, вызванными войною. Немного времени спустя Николай решился удалить из правительства наиболее реакционные и непопулярные элементы. Так, военный министр Сухомлинов, на которого была возложена ответственность за военные поражения России, был заменен генералом Поливановым, пользовавшимся любовью в парламентских кругах; на место обер-прокурора Владимира Саблера, одного из покровителей Распутина, был назначен Самарин, которого особенно ценили в Москве; пост министра внутренних дел вместо Маклакова занял князь Щербатов, ратовавший за сотрудничество с народом. Итак, когда в июле 1915 года Дума собралась снова,

она предстала перед правительством в частично обновленном составе – но по-прежнему под председательством Горемыкина.

Начиная с первых заседаний, большинство в Думе сформировалось из оппозиции, центра и нескольких правых групп, образовав так называемый «прогрессивный блок». В его программе, опубликованной 26 августа, не содержалось ничего такого, что грозило бы режиму потрясением основ. Чтобы обеспечить военную победу России, необходимо было единение между властью и обществом – «власть должна быть приведена в соответствие с требованиями общества»; требовалась широкая политическая амнистия и возвращение всех административно высланных; польская автономия, «вступление на путь отмены ограничений в правах евреев», равноправие крестьян с другими сословиями (закон уже был проведен еще в 1906 г., но Думой до сих пор не был рассмотрен)… Удивительный факт, но Государственный совет последовал примеру Думы. В верхней палате развернулось мощное движение за одобрение программы прогрессивного блока. Результатом явился кабинетский кризис – одни министры, в частности Кривошеин и Сазонов, держались мнения, что следует благожелательно ответить чаяниям умеренных кругов обоих собраний; другие, как все тот же Горемыкин, пугались такого размаха требований левого крыла. Николай, как обычно, колебался с принятием решения. С одной стороны, он заявил своему военному министру Поливанову, обеспокоенному волнениями в Думе: «Не обращайте внимания, они ничего не понимают»; с другой – одобрил деятельность новой организации, созданной более или менее легально земствами и городами – «Земгор», призванной содействовать работе Красного Креста и военному снабжению.[223] Равным образом он с благосклонностью принимает в Зимнем дворце членов Комитета по обороне и разговаривает с ними самым демократическим тоном.

Когда он находился в Петрограде, его неудержимо тянуло на фронт. Время от времени он наведывался туда для кратких инспекций. Во время этих поездок он совершал вылазки в разные места по дорогам, охраняемым часовыми-казаками, и плавал на гребной шлюпке с офицерами. Даже у себя в царском поезде он оборудовал в одном из вагонов с занавешенными окнами гимнастический зал. Как он писал своей благоверной, подвесная трапеция в этом гимнастическом зале на колесах оказалась очень практичной и полезной – «перед едой очень удобно забираться на нее и раскачиваться: улучшает кровообращение и взбадривает весь организм». Но представьте-ка себе такую картину: мчится императорский поезд, его провожают почтительными взглядами

крестьяне, выстроившиеся вдоль пути… А в это время за занавешенными окнами Его Императорское Величество, почти что без ничего, в одном спортивном костюмчике, занимается на параллельных брусьях или хуже того: раскачивается под стук колес на своей трапеции, ровно цирковой паяц, болтая ногами взад и вперед… Зрелище для богов!

Возвращаясь из этих кратких поездок обратно в Ставку, государь каждый раз заранее испытывал чувство фрустрации. В нем вызрела благородная идея: самому взять в руки эффективное управление войной.

«Вы не поверите, как тягостно мне пребывание в тылу, – признался он воспитателю наследника Жильяру. – Мне кажется, что здесь все, даже воздух, которым дышишь, ослабляет энергию, размягчает характер. Самые пессимистические слухи, самые неправдоподобные известия встречают доверие и облетают все слои общества. Здесь заняты лишь интригами и мелкими интересами; **там** же дерутся и умирают за Родину… Всякий человек, способный носить оружие, обязан быть в армии. Что касается меня, я не могу дождаться минуты, когда присоединюсь к моим войскам».[224]

К этому решению его склоняли царица и Распутин. Уже давно Александре Федоровне не давало покоя постоянно возрастающее влияние при дворе Вел. кн. Николая Николаевича. Она с трудом сносила то, что он взял в жены ее давнюю подругу-черногорку – Великую княгиню Анастасию, которая ради него развелась с герцогом Лейхтенбергским. Возведенный в статус Верховного Главнокомандующего по воле императора, он был напыщен сознанием собственной значимости. Хуже того – он ненавидит Распутина. Когда последний вознамерился пожаловать в Ставку, ему дали понять: пусть только явится, его сейчас же повесят! В глазах Александры Федоровны такие заявления были не только непростительны, но и попросту нечестивы! По согласию со «старцем», она поклялась убрать с дороги Николая Николаевича, в котором видела соперника царя в глазах общественного мнения. Даже будучи в разлуке с супругом, когда тот уезжал в Ставку, она стремилась наставить его на путь истинный в письмах, которые писала ему (по-английски) каждый день. Чем дальше, тем больше желала она, чтобы ее благоверный сбил спесь с Вел. кн. Николая Николаевича и сам взялся за управление военными операциями. «Если б ты только мог быть строгим, мой родной, – писала она царю 10 июня 1915 г.,[225] – это так необходимо, они должны слышать твой голос и видеть недовольствие в твоих глазах. Они слишком привыкли к твоей мягкой, снисходительной доброте… Они должны казниться, дрожать перед тобой. Помнишь, мосье

Ф[илипп] и Гр[игорий] говорили то же самое… Поэтому наш Друг боится твоего пребывания в Ставке, так как там тебе навязывают объяснения, и ты невольно уступаешь… На Н. (здесь и далее – Николае Николаевиче. – *С.Л.*) лежит только забота об армии и победе – ты же несешь внутреннюю ответственность и за будущее, и, если он наделает ошибок, тебе придется все исправлять (после войны он будет никто). Нет, слушайся нашего Друга; верь ему, его сердцу дороги интересы России и твои… Как важно для нас иметь не только его молитвы, но и советы!» 14 июня 1915 г.: «Посылаю тебе Его (Распутина) палку (рыба, держащая птицу), которую ему прислали с Нового Афона, чтобы передать тебе. Он употреблял ее, а теперь посылает тебе как благословение… Будь более самодержавным, мой друг, покажи свою волю!» И далее: «Выставка-базар началась сегодня в Большом (Царскосельском) дворце на террасе… Наши работы (сделанные руками царицы и детей) все уже распроданы – правда, мы сделали их немного, но мы еще будем работать и пошлем туда. Продали более 2100 входных билетов по 10 коп. Раненые солдаты не платят, так как они должны видеть работы, которые сами делают. Я послала несколько наших ваз и две чашки, потому что они всегда привлекают публику».

А чуть раньше она написала царю вот что:

12 июня 1915: «Как бы я хотела, чтобы Н. был другим человеком и не противился Божьему человеку». В другом письме того же числа: «Я боюсь назначений Н. – он далеко не умен, упрям, и им руководят другие… Не враг ли он нашего Друга, что всегда приносит несчастье?»

Вот так, день за днем императрица вливала своему супругу дозу мистицизма и недоверия. И мало-помалу Николай поддавался воздействию этого яда. Уступив против воли верховное главнокомандование своему дядюшке, он принял решение пойти на попятную, выдвинув предлогом недавние поражения русских войск. И то сказать, при всем том, что Николай Николаевич был несравненным кавалером, опытным стратегом в салонах и гостиных и мастером выступать с речами перед войсками, но не обладал тем моральным равновесием и постоянным хладнокровием, которым полагалось бы характеризовать полководцев. Подверженный припадкам ярости и кризисам нервных депрессий, он так ни разу и не приблизился к фронту, боясь шальной пули. Несмотря на все перечисленные недостатки, он оставался очень популярным в войсках – его называли человечным, энергичным и подчеркнуто русским, с его колоссальным ростом и лицом, словно высеченным из камня. Рядом с ним его венценосный племянник казался еще меньше,

еще более хрупким и женственным. Не вызовет ли царь, отстраняя Николая Николаевича, недовольство в армии, а то и во всем народе? Ряд министров, предупрежденных о намерениях монарха, умоляли его отказаться от этого проекта. Восемь из них направили к нему послание, в котором, в частности, говорилось: «Государь, еще раз осмеливаемся Вам высказать, что принятие Вами такого решения грозит, по нашему крайнему разумению, России, Вам и Вашей династии тяжелыми последствиями». Ведь было же ясно как Божий день, что принятие государем на себя обязанностей главнокомандующего неизбежно делало его лично ответственным за провалы и поражения на фронте. Какое там! Рубикон перейден. Разве у венценосца за спиной не стоят царица и Распутин, обладающие врожденным чутьем? Рескриптом от 23 августа 1915 года царь освободил Николая Николаевича от функций Верховного главнокомандующего и объявил о том, что отныне этот важнейший пост занимает он сам. «Сего числа я принял на себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на театре военных действий. С твердой верою в милость Божию и с неколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш священный долг защиты родины до конца и не посрамим земли Русской». Ну, а Николай Николаевич в утешение получил назначение командующим Кавказской армией. Окружением царя овладело беспокойство. «Я в отчаянии от решения, принятого государем, – сказал Морису Палеологу министр иностранных дел Сазонов. – … Не страшно ли думать, что отныне государь будет лично ответствен за все несчастья, которые нам угрожают? А если неумелость кого-нибудь из наших генералов повлечет за собою поражение, это будет поражение не только военное, но вместе с тем поражение политическое и династическое». Со своей стороны председатель Думы Родзянко заявил Николаю, что, отдавая свою священную персону на суд публики, государь сам поведет Россию к гибели.

Переход полномочий от Великого князя к императору происходил в самой что ни на есть куртуазной манере. Вот как пишет об этом государь своей благоверной: «Н. вошел с доброй бодрой улыбкой и просто спросил, когда я прикажу ему уехать. Я таким же манером ответил, что он может остаться на два дня; потом мы поговорили о вопросах, касающихся военных операций, о некоторых генералах, и это было все. В следующие дни за завтраком и обедом он был очень словоохотлив и в хорошем расположении духа, в каком мы его редко видели в течение многих месяцев… Но выражение лица его адъютантов было мрачное – это было даже забавно». (25 августа 1915 г.) Царица

одобрила этот шаг: «Слава Богу, что все сделано и что заседания прошли благополучно! Христос с тобой, мой ангел, да благословит Он твои начинанья и увенчает их успехом и победой внешней и внутренней!» А накануне, 23 августа, она писала следующее: «Надеюсь, что старый Фред[ерикс] не впал в детство и не будет просить фельдмаршальства (для Николая Николаевича), которое если вообще будет дано, то только после войны».

Государь был убежден, что, обосновавшись в Ставке в Могилеве, он будет существенно лучше исполнять свои обязанности монарха во время войны. Но, сознавая свою некомпетентность в вопросах стратегии, он ни в коей мере не претендовал на руководство операциями. Свою роль он видел чисто символической. В качестве начальника штаба он избрал генерала Михаила Алексеева – одного из самых замечательных русских военных специалистов, которому и доверил разработку наступательных и оборонительных планов кампании. У обладавшего глубоким умом и неисчерпаемой работоспособностью Михаила Алексеева был только один изъян – недостаточно высокое происхождение, что несколько принижало его в глазах блистательных адъютантов Его Величества. Зато войска всем сердцем приняли нового шефа – простого и честного, прекрасно знавшего душу солдата.

В Могилеве царь поселился в старинном губернаторском доме, возведенном на скале, высящейся над левым берегом Днепра. Каждый день в половине десятого направлялся в штаб; там он слушал доклады, выкуривая сигарету за сигаретой, после чего, уединившись с Михаилом Алексеевым, обсуждал с глазу на глаз решения, которые должны были быть приняты. Будучи в курсе всего, он ничего не решал и возлагал ответственность за военные действия на начальника Генштаба. Порою в нем пробуждалась охота съездить на фронт и принять парад войск – убежденный, что его приезд непременно стимулирует героизм бойцов, он как-то не задумывался над тем, что возлагает на них дополнительное бремя, заставляя маршировать перед ним после длительного времени, проведенного в окопах. Его неброский силуэт и сдержанная манера держаться разочаровывали тех, чьим доверием ему хотелось бы завладеть. «Он не умел добраться до души солдата, притянуть его сердце, возбудить его дух, – писал генерал Брусилов. – Ни его физический внешний облик, ни манера говорить не возбуждали энтузиазма».

Приехав обратно в Могилев, Николай возвращался к своему прилежному и скромному образу жизни, который давал ему иллюзию участия в защите родины без всякого реального

воздействия на ход событий. Лучшим временем каждого дня для него был, конечно, обед с офицерами Ставки. Государь оказывался в дружеской застольной атмосфере, где за трапезой развязывались языки, звучали мужские шутки; развеселая трепотня продолжалась и после застолья. Жизнь государя была столь безмятежной, что он решил вызвать к себе царевича в сопровождении мосье Жильяра и дядьки – матроса Деревенко, на которого была возложена обязанность следить за безопасностью наследника.

При известии об этом царицу так и перекосило – не нужно объяснять, как она боялась за сына. Того и гляди – растрясет его в поезде, на ухабах во время прогулки на автомобиле, а то и, не приведи Господь, расшибет коленку, поскользнувшись на слишком навощенном паркете! Как только Алексей покинул ее, она умножила свои рекомендации в письмах к супругу: смотри за тем, чтобы крошка не слишком уставал, поднимаясь по лестницам; пусть он не бегает в поезде – ударится еще, расшибет руку! И всякий раз, прежде чем принимать решение, советуйся с Жильяром – это разумный человек, который лучше знает, что хорошо для нашего Бэби! Уже на следующий день после их отбытия она писала: «Ах, как мне обоих недостает!.. Мне кажется, что прошел целый век со дня вашего отъезда, такая тоска по вас… мои ангелы, что не могу этого выразить словами!»

Каждый вечер, ровно в девять, императрица проскальзывала в опустевшую комнату Алексея, глубоко вдыхала ее воздух – о, как это придавало ей силы! – и молила Бога, чтобы царевич вернулся цел и невредим.

Ну, а царевич, оказавшись вдали от ласкового матушкиного присмотра, быстро приучился к военному распорядку. Облачившись в военную форму, он ценил знаки внимания со стороны высочайших чинов Ставки. Император и наследник спали в одной комнате, на одинаковых походных кроватях, стоявших бок о бок. Царевич Алексей, которому в дни событий исполнилось десять лет, был отроком с тонкими чертами и переменчивым характером; Николай обожал его до безумия.

«Его присутствие дает свет и жизнь всем нам – включая и иностранцев, – заявлял Николай в письме Александре 6 октября 1915 года. – Ужасно уютно спать друг возле друга; я молюсь с ним каждый вечер, с той поры, как мы находимся в поезде; он слишком быстро читает молитвы, и его трудно остановить; ему страшно понравился смотр, он следовал за мною и стоял все время, пока войска проходили маршем, что было великолепно… Только в первый день Алексей завтракал с Жильяром в моей комнате, но потом он стал сильно упрашивать позволить ему

завтракать со всеми. Он сидит по левую руку от меня и ведет себя хорошо, но иногда становится чрезмерно весел и шумен, особенно когда я беседую с другими в гостиной. Во всяком случае это им приятно и заставляет их улыбаться. Перед вечером мы выезжаем в моторе (по утрам он играет в саду) либо в лес, либо на берег реки, где мы разводим костер, а я прогуливаюсь около. Я поражаюсь, как много он может и желает ходить, а дома не жалуется на усталость. Спит он спокойно, я тоже, несмотря на яркий свет его лампадки».

Внимательный и ласковый отец, государь брал царевича в автомобильные поездки, представляя его различным полкам, посещая вместе с ним лазареты. В ходе одной из таких поездок у Алексея, страдавшего сильным насморком, пошла кровь носом. Сопровождавшему Николая профессору Федорову не удалось полностью остановить кровотечение. Больной все слабел, его в спешном порядке отправили поездом в Царское Село. Там врачам наконец-то удалось каутеризировать рану, образовавшуюся из-за разрыва маленького кровеносного сосуда. Впрочем, императрица не в меньшей степени приписала это чудо молитвам Распутина.

Время от времени она также наезжала в Ставку.[226] Когда чета находила уединение посреди всего этого военного шума, царь на несколько дней забывал свои функции и оставался всего лишь мужчиной, до слепоты захваченным своей супругой после такой долгой разлуки. В бесчисленных и страстных письмах она называет его своим «возлюбленным ангелом», своей «душенькой», своим «милым», своим «дорогим Ники» и подписывается: «Твое солнышко» или «Твоя старая маленькая супруга». Когда она спешила к нему на свидание, сердце ее заранее переполнялось любовью. Они не расставались друг с другом, они пожирали друг друга глазами. Всякий посетитель был для них вторгшимся посторонним. Впоследствии генерал Дубенский, свидетель их встреч, скажет следующее: «Император был совершенно подчинен ей. Достаточно было понаблюдать за ними с четверть часа, чтобы сказать: это она – самодержица, а вовсе не он. Бросалось в глаза, что он смотрел на нее, как маленький мальчик смотрит на свою гувернантку. Когда они выходили вместе и она садилась в экипаж, он не спускал с нее глаз. По моему мнению, они были просто влюблены».

Когда Александра Федоровна возвращалась в Петроград, оставляя за собою шлейф сожалений, Николай испытывал некоторые трудности с вхождением в колею своих военных обязанностей. Все же в известный период у него были все основания радоваться новостям с театра военных действий. Немецкое наступление на литовском фронте, предпринятое

осенью 1915 года, было быстро остановлено, в начале следующего года Кавказская армия взяла Эрзерум, еще немного спустя – Трапезунд и глубоко проникла на территорию Персии; в марте того же 1916 года, чтобы облегчить положение Вердена, войска генерала Брусилова провели кровопролитное наступление в районе озера Нарочь и продвинулись до венгерских границ. Только вступление в войну Румынии и необходимость снабжать подкреплениями этого нового союзника помешали русским в полной мере пожать плоды своего успеха. В июне того же года, придя на выручку итальянским войскам под командованием генерала Кардона, сильно потесненным врагом, генерал Брусилов предпринял на юго-западном фронте генеральное наступление, продвинувшись на 35–65 километров; но наступление было остановлено у Ковеля. Эти яростные и разрозненные наступления истощали страну. В тылу росли недовольство и усталость.

Отправляясь в Могилев, царь доверил управление империей той особе, которая пользовалась у него самым безграничным доверием: своей жене. Он почитал ее умной, энергичной и вдохновенной – ее-то, неуравновешенную, порывистую и всецело подверженную влиянию оккультной силы Распутина! Вернувшись в Ставку, он пишет ей:

«Подумай, женушка моя, не прийти ли тебе на помощь к муженьку, пока он отсутствует? Какая жалость, что ты не исполнила этой обязанности давно уже или хотя бы во время войны! Я не знаю более приятного чувства, как гордиться тобой, как гордился все эти последние месяцы, когда ты неустанно докучала мне, заклиная быть твердым и держаться своего мнения. Мы только что кончили играть в домино, как я получил через Алексеева телеграмму от (командующего фронтом) Иванова, сообщавшего, что сегодня наша 11-я армия в Галиции атаковала две германские дивизии… с тем результатом, что было взято свыше 150 офицеров и 1500 солдат, 30 орудий и много пулеметов». 23 сентября 1916 года он уточняет свою мысль: «Да, действительно, тебе надо бы быть моими глазами и ушами там, в столице, пока мне приходится сидеть здесь… На твоей обязанности лежит поддерживать согласие и единение среди министров – этим ты приносишь огромную пользу мне и нашей стране! О, бесценное солнышко, я так счастлив, что ты наконец нашла себе подходящее дело! Теперь я, конечно, буду спокоен и не буду мучиться по крайней мере о внутренних делах».

Итак, с благословения Николая империей управляет его жена. В то время, как он разыгрывает из себя стратега в Ставке, она осуществляет регентство в своем сиреневом будуаре в Царском Селе. Ее новая власть кружила ей голову. Никакие другие

советники, кроме Анны Вырубовой и Григория Распутина, ей были не нужны.

Оправившись от последствий железнодорожной катастрофы и восстановив отношения с царицей после кратковременной размолвки, Анна Вырубова вскоре сделалась своего рода полуофициальной посредницей между ходатаями и престолом. В ее приемной толпились светские дамы, интриговавшие в пользу своих мужей, мелкие чиновники, хлопотавшие о повышении, проходимцы, искавшие покровительства, чтобы избежать справедливого возмездия. Все ходатайства Анна Вырубова передавала императрице. Шла ли речь о найме садовника, определении на место служанки во дворце или министерском портфеле – Александра Федоровна всякий раз перед принятием решения консультировалась со старцем.

Этот последний, возросши авторитетом после недавних чудесных исцелений царевича, пользовался теперь полной вседозволенностью. Денег у него куры не клевали – благодаря маневрам двух финансистов с сомнительной репутацией, которые поддерживали его с самого начала: Мануса и Рубинштейна. Но Распутин по привычке распределял большие суммы среди бедных и увечных, которые выстраивались в очередь на улице у него под дверью. Подозрительные типы вроде полицейского агента Манасевича-Мануйлова передавали его пожелания в различные министерства. Во главе его собственного секретариата бессменно находился ростовщик и профессиональный игрок Арон Симанович, которому за солидное вознаграждение удавалось добиваться императорской милости для сомнительных нотариусов, обанкротившихся коммерсантов, уклоняющихся от отправки на фронт, осужденных трибуналами. Записками, покрытыми распутинскими каракулями и крестами, были завалены все петербургские конторы. Его жилище охранялось агентами службы безопасности; в его распоряжении был военный автомобиль с шофером-телохранителем, который поддерживал его под руки, когда он, накачавшись вдрызг, выходил из какого-нибудь питейного заведения. С каждым днем он возрастал в своей спеси, распущенности и грубости. Вот как характеризует Распутина его личный секретарь Арон Симанович: «Он вел себя в аристократических салонах с невозможным хамством… Он нарочно показывал свою мужицкую грубость и невоспитанность.

Это была удивительная картина, когда русские княгини, графини, знаменитые артистки, всесильные министры и высокопоставленные лица ухаживали за пьяным мужиком. Он обращался с ними хуже, чем с лакеями и горничными. По малейшему поводу он ругал этих аристократических дам самым

непристойным образом и словами, от которых покраснели бы конюхи. Его наглость бывала неописуема.

К дамам и девушкам из общества он относился самым бесцеремонным образом, и присутствие их мужей и отцов его нисколько не смущало. Его поведение возмутило бы самую отъявленную проститутку, но, несмотря на это, почти не было случаев, когда кто-нибудь показывал свое возмущение. Все боялись его и льстили ему. Дамы целовали его испачканные едой руки и не гнушались его черных ногтей. Не употребляя столовых приборов, он за столом руками распределял среди своих поклонниц куски пищи, и те старались уверить его, что они это считают каким-то блаженством. Было отвратительно наблюдать такие сцены. Но гости Распутина привыкли к этому и все это принимали с беспримерным терпением».[227]

Отталкивающий облик старца не только не отвратил от него императрицу, но, напротив, Распутин сделался вдвойне дорогим для нее. Ни полицейские доклады об оргиях Распутина, ни фотографии старца в галантных компаниях,[228] ни грустные предупреждения приближенных к царской семье – ничто не могло открыть глаза Александре Федоровне. Весь мир лжет, исключая «человека Божьего». Он попросту стал жертвой своей святости. В своих пламенных письмах, которые императрица адресовала Николаю, она постоянно ссылалась на мнение Друга. Просветленный Небом, он мог быть идеальным направляющим как в политике, так и в стратегии. Узнав, что царь созвал Совет министров в Могилеве, она пишет ему 15 сентября 1915 года: «Не забудь перед заседанием министров подержать в руке образок и несколько раз расчесать волосы Его [Распутина] гребнем». 16 сентября: «Я твердо верю в слова нашего Друга, что слава твоего царствования еще впереди. Всякий раз, когда ты наперекор желаниям кого бы то ни было упорствуешь в своем решении, мы видим его хороший результат… Ты – властелин, а не какой-нибудь Гучков, Щербатов, Кривошеин, Николай III (как некоторые осмеливаются называть Н.)… Они – ничто, а ты – всё, помазанник Божий!» 4 октября: «Вчера мы видели Гр[игория]…– он так хорошо говорил! Он просил меня тебе передать, что не ладно с новыми бумажными деньгами,[229] простой народ не может понять – у нас довольно чеканной монеты, – и это может повлечь к недоразумениям».

1 ноября: «Наш Друг был всегда против войны и говорил, что Балканы не стоят того, чтобы весь мир из-за них воевал, и что Сербия окажется такой же неблагодарной, как и Болгария». 6 ноября: «Наш Друг, которого мы видели вчера вечером, когда он посылал тебе телеграмму, боится, что если у нас не будет

большой армии для прохода через Румынию, то мы попадем в ловушку с тыла». 13 ноября: «Ну, вчера я виделась с нашим Другом у Ани [Вырубовой]. Он не допускает и мысли, чтобы старика [Горемыкина] уволили. (Решение об этом уже было принято. – *Прим. авт.*) Он все мучился и раздумывал об этом без конца». 15 ноября: «Теперь, чтобы не забыть, я должна передать тебе поручение от нашего Друга, вызванное его ночным видением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги, говорит, что это необходимо, а то германцы там твердо засядут на всю зиму, что будет стоить много крови и трудно будет заставить их уйти. Теперь же мы застигнем их врасплох и добьемся того, что они отступят. Он говорит, что именно теперь это самое важное, и настоятельно просит тебя, чтобы ты приказал нашим наступать. Он говорит, что мы можем и должны это сделать, и просит меня немедленно тебе об этом написать». 22 декабря: «Наш Друг все молится и думает о войне. Он говорит, чтобы мы ему тотчас же говорили, как только случится что-нибудь особенное. Она [Анна Вырубова] ему сказала про туман, и он сделал ей выговор, что ему этого не сказали тотчас же – говорит, что туманы больше не будут мешать».

4 января 1916 г.: «Гучков очень болен, желаю ему отправиться на тот свет ради блага твоего и всей России – поэтому мое желание не греховно… Милый, подумал ли ты серьезно о Штюрмере (как о кандидате на пост премьера. – *Прим. авт.*). Я понимаю, что стоит рискнуть немецкой фамилией, так как известно, какой он верный человек… и он хорошо будет работать с новыми энергичными министрами». 6 января: «Наш Друг горюет о черногорцах и о том, что враг забирает всё… Он жалеет, я думаю, что это наступление начали, не спрося его. Он посоветовал бы подождать. Он все время молится и соображает, когда придет удобный момент для наступления, чтобы не терять людей без пользы». 11 января: «Не сочти меня помешанной за мою бутылочку, но наш Друг прислал ей [Анне Вырубовой] вина со своих именин, и мы все выпили по глотку, а это я отлила для тебя – кажется, мадера. Я проглотила ему в угоду (как лекарство). Ты сделай то же, пожалуйста, хотя бы тебе и не понравилось: вылей в рюмку и выпей все за его здоровье, как и мы!» Узнав, что новый министр внутренних дел Хвостов, назначенный по рекомендации Распутина, внезапно пошел против своего покровителя и объявил его опасным для режима индивидуумом, Александра Федоровна в возмущении написала царю 2 марта: «Я в отчаянии, что мы через Гр[игория] рекомендовали тебе Хв[остова]… Им овладел сам дьявол, нельзя это иначе назвать… Пока Хв[остов] у власти и имеет деньги и полицию в своих руках,

я серьезно беспокоюсь за Гр[игория] и Анну!» Эту тему она развивает в письме от 4 марта: «Я серьезно беспокоюсь за А[нну]. Если нашелся человек, способный подкупить других для убийства нашего Друга, то он способен выместить злобу на ней… Я узнала из газет, что ты приказал отдать Сухом[линова] под суд.[230]

Это правильно – вели снять с него аксельбанты. Говорят, что обнаружатся скверные вещи, что он брал взятки, это, вероятно, ее [жены Сухомлинова, Екатерины Викторовны, урожденной Гашкевич] вина – это очень грустно. Дорогой мой, как нам не везет! Нет настоящих „джентльменов“ – вот в чем беда, ни у кого нет приличного воспитания, внутреннего развития и принципов, на которые можно положиться. Горько разочаровываемся мы в русском народе, он такой отсталый; мы стольких знаем, а когда приходится выбирать министра, нет ни одного человека, годного на такой пост».

14 марта: «Посылаю тебе яблоко и цветок от нашего Друга – мы все получили фрукты как прощальный подарок. Он уехал сегодня вечером спокойно, говоря, что наступают лучшие времена и что он оставляет нам весеннюю погоду. Он сказал ей [Анне], что считает [командующего фронтом] Иванова подходящим на пост военного министра благодаря его огромной популярности не только в армии, но и во всей стране. В этом он безусловно прав, но ты поступи так, как найдешь лучшим».

17 марта она затронула вопрос о Государственном совете: «Государственный совет должен быть лояльно правым… Необходимо… чтобы мы могли быть твердыми при окончательном обсуждении вопроса о мире… Ради Бэби мы должны быть твердыми, иначе его наследие будет ужасным, а он с его характером не будет подчиняться другим, но будет сам господином, как и должно быть в России, пока народ еще так необразован – мосье Филипп и Гр[игорий] того же мнения».

5 апреля: «Во время вечернего Евангелия я много думала о нашем Друге, как книжники и фарисеи преследовали Христа, утверждая, что на их стороне истина… Действительно, пророк никогда не бывает признан в своем отечестве. А сколько у нас причин быть благодарными, сколько молитв его было услышано! А там, где есть такой слуга Господа, лукавый искушает его и старается… совратить его с пути истинного… Он живет для своего государя и России и выносит все поношения ради нас… Он великодушен и добр ко всем, каким был Христос… каким и должен быть истинный христианин. И раз ты находишь, что его молитвы помогают нам переносить испытания – а у нас было довольно примеров – они не смеют говорить против Него, – будь тверд и заступись за нашего Друга».

23 мая: «Наш Друг очень просит, чтобы ты **не назначал** Макарова министром внутренних дел. Этого хочется одной партии, но ты вспомни, как он [Макаров] вел себя во время истории с Илиодором и Гермогеном – кроме того, он никогда не вступался за меня, и потому было бы большой ошибкой дать ему подобное назначение… Навеки твоя старая – Солнышко. Завтра мне минет 44!!!»

16 июня: «Наш Друг просит тебя сделать распоряжение о том, чтобы не повышали цен за трамвайный проезд в городе – сейчас вместо 5 коп. приходится платить 10 коп. Это несправедливо по отношению к бедному народу – пусть облагают богатых, но не тех, которым приходится ежедневно, притом неоднократно, ездить в трамвае. Напиши в одной из твоих бумаг к Штюрмеру, чтоб он сказал это Оболенскому, который [и] дал, как я предполагаю, это глупое распоряжение».

22 сентября. Перечислив огромное количество министров, побывавших у нее на приеме (причем многие упомянуты с весьма едкой характеристикой), царица заключает: «Я больше уже ни капли не стесняюсь и не боюсь министров, и говорю по-русски с быстротой водопада!!! И они имеют любезность не смеяться над моими ошибками. Они видят, что я полна энергии и передаю тебе все, что слышу и вижу, что я твоя опора, очень твердая опора в тылу». Но, как видно, внутренней политики ей было мало – 24 сентября она пишет своему благоверному: «Я уверена, что если бы тебе удалось убедить французское правительство отозвать [командующего французскими войсками на салоникском фронте] Серайля (это мое личное мнение), – там сразу все успокоилось бы. Это – ужасная интрига франкмасонов».

Все же она предпочитала в качестве «мишеней» министров и парламентариев. 30 октября: «Некоторые заявления, которые они [думцы] хотят сделать, – просто чудовищны… Это будет отвратительная Дума (в смысле: сессия Думы. – *Примеч. в источнике*.), но не надо бояться: если она окажется слишком уж плохой, ее можно будет закрыть. Это – война с ними, и мы должны быть тверды».

10 ноября: «Еще раз вспомни, что для тебя, для твоего царствования и Бэби и для нас тебе необходимы прозорливость, молитвы и советы нашего Друга. Вспомни, как в прошлом году все были против тебя и за Н. (Николая Николаевича), а наш Друг оказал тебе помощь и придал тебе решимости, ты все взял в свои руки и спас Россию, мы перестали отступать… Ах, милый, я так горячо молю Бога, чтоб Он просветил тебя, что в нем наше спасение: не будь его здесь, не знаю, что было бы с нами. Он спасет нас своими молитвами, мудрыми советами. Он – наша

опора и помощь».

12 ноября: «Трудно писать и просить за себя, уверяю тебя, что это делается ради тебя и Бэби, верь мне. Я равнодушна к тому, что обо мне говорят дурно, только ужасно несправедливо, что стараются удалить преданных, честных людей, которые любят меня. Я всего лишь женщина, борющаяся за своего повелителя, за своего ребенка, за двух самых дорогих ей существ на земле, и Бог поможет мне быть твоим ангелом-хранителем, только не выдергивай тех подпорок, на которые я нашла возможным опереться».

13 декабря: «Ангел мой! Вчера мы обедали с нашим Другом у Ани… Он умоляет тебя быть твердым и властным… Как давно уже много лет люди говорили мне все то же: „Россия любит кнут!“ Это в их натуре – нежная любовь, а затем железная рука, карающая и направляющая. Как бы я желала влить свою волю в твои жилы! Пресвятая Дева над тобой, за тобой, с тобой! Помни чудо – видение нашего Друга!» Эти же мотивы звучат и в письме от 14 декабря (жить на этом свете «Другу» осталось всего-то ничего): «Любимый, наш Друг просил тебя закрыть ее (сессию Думы) 14-го… Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом – сокруши их всех – не смейся, гадкий (именно так! – *С.Л.*), я страстно желала бы видеть тебя таким по отношению к этим людям, которые пытаются управлять тобою, тогда как должно быть наоборот».

Все то, что Александра Федоровна писала своему супругу, было – она признавалась в том без всякого стыда – подсказано ей Распутиным. Впрочем, часто советы этого плутоватого мужика были здравомысленны. Хорошо зная народные нужды, он предупреждал императрицу, а через нее – императора об опасностях, которые влечет за собою обострение нужды маленьких людей. «Голод скорее повлечет за собою революцию, чем поражение», – говорил он. И предложил послать в хлебородные губернии пароходы и поезда, чтобы наладить снабжение больших городов. Всем сердцем осуждая войну, он признавал необходимость продолжения ее до победного конца, коль скоро уж было признано необходимым начать ее. Его «указания» благоговейно передавались царицей в Ставку. Она принимала министров, дискутировала с ними, принимала от них записки, высказывала свое мнение резким тоном. За всем этим она размышляла о славном прецеденте – другой немецкой принцессе, восседавшей на русском троне, Екатерине II, урожденной Анхальт-Цербстской. Родная дочь Распутина Мария напишет об этом со всею наивностью: «Царица Александра ныне заместила своего мужа во главе правительства. Я, как и две ее

младшие дочери, была полна радости и гордости, и мы, все трое, утверждали, что ее временное правление станет более славным, чем правление Екатерины Великой».

Две другие Вел. княжны, Ольга и Татьяна, боялись, как бы их родительница не слишком переутомлялась. Госпитали, говорили они, слишком тяжелая задача для нее. Эти новые ответственности – тяжкая ноша, которая может причинить вред ее здоровью. Но не было похоже, чтобы силы царицы истощались – напротив, царица расцвела в этой своей новой роли! Первой заботой ее было устранить из кабинета тех министров, которые хотели разубедить царя брать на себя верховное главнокомандование. Нескольких либеральных министров, впоследствии назначенных Николаем, ждала та же участь: одни из них были уволены, другие, снискав неодобрение своего хозяина, вообще были отправлены в отставку. Те, кого назначали на их место, долго там не задерживались. Это была прямо-таки чехарда лиц, круговерть портфелей, дезориентировавшие общественное мнение. Месяц-другой – и никто больше не знал, кто чем занимается. За один только год, с осени 1915-го по осень 1916 года, глава Министерства внутренних дел сменялся пять раз, главноуправляющий делами земледелия – четыре раза, военный министр – трижды. Когда на посту председателя Совета министров недужного Горемыкина сменил Борис Штюрмер, беспокойство переросло в недовольство, чтобы не сказать раздражение. Иные упрекали этого бывшего товарища министра внутренних дел в том, что он заискивающий царедворец и ультрареакционер. Другие не могли согласиться с тем, чтобы политикой России в ее борьбе против Германии заправлял человек с немецкой фамилией.[231] В посольствах других стран его ошибочно почитали пораженцем. Во время обеда во французском посольстве 23 марта 1916 года одна из приглашенных, русская княгиня В***, призналась Морису Палеологу: «Я в первый раз упала духом… До сих пор я еще надеялась, но, когда во главе правительства стал этот ужасный Штюрмер, я потеряла всякую надежду». На реплику же посла, что у Сазонова достаточно патриотизма, чтобы настоять на необходимости решительного продолжения войны, гостья ответила: «Но неизвестно, сколько времени он сам пробудет у власти. Вы не представляете себе, что творится за его спиной и скрыто от него. Императрица ненавидит его за то, что он никогда не преклонялся перед подлым негодяем, бесчестящим Россию… Возьмите, – продолжает она, – императора; разве ему не суждено вести Россию к погибели? Не поражает ли вас его неудачливость?… Что бы он ни предпринимал, даже самые лучшие его начинания не удаются ему или обращаются против

него. Какой же, рассуждая последовательно, должен быть его конец? А императрица? Трудно найти (даже) в древней мифологии фигуру, заслуживающую большего сожаления!.. Чем можно объяснить, что в такой трудный исторический момент судьбы самого большого государства в мире отданы в руки этих трех лиц?… Отвечайте напрямки!»[232]

Царь не ограничился сменой премьера – он сам прибыл из Ставки в Петроград к открытию думской сессии 9 (22) февраля 1916 года. Вот как об этом вспоминает французский посол: «В обширной зале с колоннами, где некогда Потемкин восхищал Екатерину своими великолепными празднествами, поставлен аналой для молебна. Депутаты стоят кругом тесными рядами… Император подходит к аналою; начинается служба; дивные песнопения, то широкие и могучие, то нежные и эфирные…»

Те депутаты, что справа, обмениваются взглядами, полными раздражения и отчаяния; они сожалеют о том, что государь, помазанник Божий, унизил себя до такого визита, ведь прежде депутаты сами являлись на поклон к царю в Зимний дворец! Левые, напротив, ликуют и радуются примирению между властью и народными избранниками.

«Император слушает службу со свойственным ему умилением. Он страшно бледен. Рот его ежеминутно подергивается, как будто он делает усилия, чтобы глотать. Более десяти раз трогает он правой рукой ворот – это его обычный тик; левая рука, в которой перчатка и фуражка, то и дело сжимается. Видно, что он сильно взволнован».[233] По окончании молитв император произнес несколько банальных слов: «Счастлив находиться посреди вас и посреди Моего народа, избранниками которого вы здесь являетесь, – сказал государь. – Призывая благословение Божие на предстоящие вам труды, в особенности в такую тяжкую годину, твердо верую, что все вы, и каждый из вас, внесете в основу ответственной перед Родиной и передо Мной вашей работы весь свой опыт… и всю свою горячую любовь к нашему отечеству…»[234]«Тяжело смотреть на Николая во время произнесения этой речи, – вспоминает посол. – Слова с трудом выходят из его сдавленного горла. Он останавливается, запинается после каждого слова. Левая рука лихорадочно дрожит; правая судорожно уцепилась за пояс. Последнюю фразу он произносит, совсем задыхаясь».[235] Речь монарха была встречена громовым «Ура!». В ответной речи председатель Думы М.В. Родзянко сказал следующее: «Воспользуйтесь этим светлым моментом, Ваше Величество, и объявите здесь же, что даете ответственное правление». Что же ответил на это государь? «Об этом я еще подумаю». Депутаты оказались разочарованы: они-то

надеялись, что царь, воспользовавшись обстоятельствами, провозгласит наконец ответственность министров перед парламентом – меру, которую большинство напрасно требовало в течение многих месяцев.

Когда Николай, пожав нескольким присутствующим руки, покинул Таврический дворец, собравшиеся остались с чувством горечи, словно оказались обманутыми. Это ощущение возросло еще больше, когда по отставке Сазонова Штюрмер, уже занимавший пост председателя Совета министров, взял на себя еще и управление иностранными делами. Совершенно не разбираясь в вопросах международной политики, этот новый министр оказался не способен давать толковые инструкции своим подчиненным. Другим шагом, ошеломившим всех, было назначение на пост министра внутренних дел – как оказалось, последнего в истории царской России – А.Д. Протопопова взамен А.Н. Хвостова.[236] Протопопов, избранный в 3-ю Думу в 1907 году, на выборах в четвертую (1912) входил в левое крыло фракции «октябристов»; в 1915 году стал товарищем (заместителем) председателя Думы. Именно ему будет доверено возглавить в апреле 1916 года представительную делегацию русских парламентариев, посетившую Англию, Францию и Италию. Владелец обширных имений и крупных предприятий, Протопопов отличался изысканностью манер и легкостью в обществе, что привлекало к нему людей. Однако этого было недостаточно для занятия такого ответственного поста – здесь требовался человек дела, а Протопопов слыл человеком путаного, непостоянного ума, перескакивал с одной мысли на другую и временами казался особой «со сдвигом»; это дало основание его противникам для распространения слухов о его слабоумии, дошедших и до монарха. На вопрос об этом одного из приближенных Николай II «со свойственной ему спокойной рассудительностью заметил: „Я об этом слышал. С какого же времени Протопопов стал сумасшедшим? С того, как я назначил его министром? Ведь в Государственную думу выбирал его не я, а [Симбирская] губерния“».[237] Ко всему прочему это был протеже Распутина; когда Николай II склонился было к тому, чтобы расстаться с этим слишком экзальтированным помощником, царица сделала все, чтобы удержать супруга от неверного шага и сохранить этого «милого, умного и преданного человека» на своем посту. «Это не Протопопов сумасшедший, это у его жены больные нервы», – писала она царю 12 ноября 1916 года. «Вчера я имела продолжительную беседу с ним – он совершенно здоров», – писала она 12 ноября.

Поддерживаемый императрицей, Протопопов расстался со

своими былыми друзьями по «прогрессивному блоку» и стал на службу консервативной и авторитарной политики. Отныне Дума созывалась только на краткие заседания, в ходе которых в разгоряченной атмосфере шли яростные атаки на власть. Депутат П.Н. Милюков[238] даже обвинил председателя Совета министров Штюрмера в нарушении своих обязанностей и в открытую выступил с изобличениями придворной камарильи, вдохновлявшей императрицу. Перечислив все непопулярные меры, принятые правительством, он воскликнул: «Что это, глупость или измена?» На что аудитория (на балконах для публики, как говорится, яблоку было негде упасть) дружно отвечала: «Измена!» Этого слова как будто только и ждали… Правительство распорядилось задержать публикацию речей Милюкова и других ораторов, и газеты вышли с пустыми полосами на месте думского отчета; но заработали тысячи пишущих машинок и ротаторов, запрещенные речи (порою они даже «дополнялись» и «усиливались» теми, кто их размножал) стали широко распространяться по стране, проникли даже в армию… Так вся страна узнала, какой анафеме были преданы с думской трибуны министры и царская семья.

Перед лицом этого роста недовольства Николай скрепя сердце пожертвовал Штюрмером. Это решение раздосадовало императрицу, которая видела в нем преданного, честного и верного человека. Вместо него пост председателя Совета министров занял Александр Трепов – брат покойного генерала Дмитрия Трепова, а пост министра иностранных дел занял Николай Покровский. Александр Трепов, принадлежавший к узкому кругу высокопоставленных функционеров, был не в фаворе у думцев, его речи принимались холодно, а депутаты социалистического направления перебивали его враждебными выкриками. Эти дрязги отзывались эхом во всей стране, которая казалась все менее и менее управляемой. Пресса, которой затыкали рот, не называла имя Распутина, но эта персона была притчей во языцех; слухи о его похождениях передавались из уст в уста. Иные утверждали, что царица каждую ночь делит ложе со своим целителем, эта клевета проникла даже в армию… Доведенные до отчаяния тем, что их посылают на смерть непонятно за кого и за что, солдаты уже в полный голос заговаривали о необходимости прекращения войны. В их сознание закралась мысль, что Россия вступила в войну только ради Франции, которая была не способна защищаться в одиночку. Они более не могли уважительно относиться к царю, который затеял эту кровавую бойню. В глубине души они попрекали его тем, что он не более чем нежный муж и заботливый отец, который

во всем повинуется своей жене германского происхождения, привез своего маленького сына в Ставку, прогуливает его в автомобиле и водит на военные парады. Среди офицеров разочарование было еще горше. Непригодность императора на роль главнокомандующего признавалась всеми, а многие еще и страшились многочисленных вмешательств Распутина в военные операции.[239] Не по совету ли Распутина наступление, развернутое Брусиловым в Волыни, было внезапно остановлено? На этот сюжет генерал Гурко вспоминает: вне всякого сомнения, остановка наступления была преждевременна и основывалась Ставкой на предлоге, о котором нельзя было говорить открыто, тогда как у наших союзников – кроме как в прессе – об этом перешептывались, а то и говорили открыто. А вот что писал на этот сюжет британский военный атташе сэр Альфред Кнокс: «Ходит слух, что русская пехота растеряла мужество и что в рядах армии распространяется антивоенная пропаганда. Неудивительно, что солдаты лишены всякого куража, когда их ведут на заклание в седьмой раз на той же территории, и каждый раз, когда овладевают траншеями, их пушки не могут им помочь удержаться там».[240]

И в Петрограде, и в Москве все больше овладевала умами людей мысль о том, что война эта абсурдная, бесполезная и преступная. Иные даже осмеливались говорить между собою о необходимости отречения царя от престола во имя спасения России. Даже среди народных низов и то циркулировали слухи: император, который в своих попытках остановить наступление немцев только того добился, что положил несметное число своих подданных – не богоизбранный, а Богом проклятый царь.

К концу 1916 года число призванных под знамена перевалило за 13 миллионов, убитых – за два миллиона, изувеченных – за четыре с половиной. Не осталось ни одной русской семьи, не опаленной пламенем войны. Состав некоторых частей обновлялся до шести раз. Обеспокоенный этим кровопролитием, британский посол в России сэр Джордж Бьюкенен сетует: «Нам не следовало требовать от них таких подвигов!» За недостатком личного состава эффект кампаний упал до минимального. К тому же затрудненность сношений с заграницей, недостаток национального производства и дезорганизация железнодорожного транспорта спровоцировали индустриальный кризис. Ощущался дефицит сырья и боеприпасов. Солдаты-окопники голодали, кормя при этом насекомых; им не хватало патронов, пушкам – снарядов. В городах цены на съестные припасы росли как на дрожжах. На этой почве смерти и нищеты с новой силой развернулась революционная пропаганда. Стачки, о

которых было позабыли в 1914 году, возобновились в 1915-м, а в 1916-м охватили миллион рабочих. В непосредственном окружении Николая множилось число тех, кто, предчувствуя грозу, убеждали Его Величество пойти навстречу пожеланиям страны – прислушаться к умеренным кругам Думы, отстраниться от оккультных влияний за своей спиной и – наконец-то – отстранить от себя Распутина. Какое там! Внимательный супруг, Николай скорее предпочтет оставить страну без надежды, чем станет перечить жене. В своем послании к царю Вел. кн. Николай Михайлович потребовал от государя признания того, чтобы министры несли ответственность перед законодательными собраниями, и пытался раскрыть ему глаза на вмешательства «человека Божьего» в публичные дела: «Если уж не в твоей власти отстраниться от твоей горячо любимой супруги, вводимой в заблуждение оказываемыми на нее влияниями, ты должен по крайней мере беречься от систематических вмешательств со стороны ее посредника». (Перевод с франц. – *С.Л.*)

Подобные предостережения не только не могли наставить царя на путь истинный, но, напротив, восстанавливали его против тех, кто дерзал нарушать его отдых. Самые близкие друзья и советчики целыми группами, одна за одной, отправлялись в отставку за то, что осмелились усомниться в святости Распутина. Вскоре вокруг царя остались только услужливые и апатичные персонажи, готовые смиренно пресмыкаться перед венценосцем. Одурманенный супружеской любовью, неспособный возразить авторитарной своенравной женщине, он не знал, как и поступать, и время от времени прибегал к пассивному сопротивлению. Не принимая лично никаких решений, он, по всей видимости, полагался на Бога.

Безмятежность государя была такой, что, невзирая на тяжелый ход событий, он находил удовольствие в игре в снежки, просмотре кинофильма или в чтении. 31 марта он писал своей жене: «В дороге я читал с утра до вечера… Сегодня прелестный рассказ о маленьком голубом мальчике. Мне он нравится, Дмитрию (Вел. кн. Дмитрию Павловичу) тоже. Несколько раз пришлось мне прибегнуть к носовому платку. Я люблю перечитывать отдельные места, хотя я их знаю чуть ли не наизусть – я их нахожу такими правдивыми и красивыми!»

Вот так-то – идет война, армия обречена на уничтожение, а главнокомандующий орошает слезами носовой платок при чтении «Маленького голубого мальчика»! В этой наивной заметке – весь, как он есть, Николай Второй Романов. Что бы ни происходило, он следовал своею тихой тропою, окрашенной маленькими радостями жизни.

Вот, например, телеграмма из Ставки от 4 апреля: «Прекрасная погода, немного прохладно… Занимаюсь маленькой головоломкой, так как много читал. Обнимаю, целую. Ники». Благодаря теплой погоде государь часто совершал прогулки на авто; как-то решили поискать новых дорог. Да вот беда: карты оказались старые, 18-летней давности, а за это время были проложены новые дороги, возникли новые поселки, кое-где исчезли леса… В общем, старые карты безбожно врали.

А вот у немцев карты были parfaitement a jour, и благодаря этому враги никогда не ошибались в своих тактических маневрах. Впрочем, Николаю было не до удивления, что враг лучше его знает топографию страны, где он – пока еще – хозяин. Средство выигрыша сражений не штабные карты, а образа Божьи. Всевышний – за спиной у Руси. Так утверждает Церковь Православная. Уж она-то не может быть неправой. Недаром же царица советовала своему благоверному – опять-таки с подачи Распутина – в качестве главной меры борьбы следующее:… Он [Распутин] тебя настоятельно просит приказать, чтобы в один определенный день по всей стране был устроен всеросс[ийский] крестный ход с молением о даровании победы. Бог скорее услышит, если все обратятся к Нему… Пошли свое приказание по телеграфу… Когда эти кр[естные] ходы будут устроены, я уверена, Он услышит молитвы твоего верного народа. (12 июня 1915 г.)

Между тем и в Петрограде, и в Москве циркулировали слухи о прогерманских симпатиях императрицы. В госпитале при дворце, куда она по-прежнему захаживала в часы досуга, которые оставляли ей занятия «регентши», прежняя благодарность раненых сменилась холодностью, недоброжелательством под маской учтивости. Ей улыбались по команде, а за спиной называли немкой. Сознавая такую потерю популярности, она переживала ее молча, как новое испытание, ниспосланное Богом.

На самом же деле Александра Федоровна хоть и была немкой по рождению, а все же питала яростную враждебность к стране происхождения, не говоря уже о воплощении ее – кайзере. Внучка королевы Виктории, она выказывала себя британкой по образованию и русской по сердцу. Она была столь отчаянная патриотка, что не желала иного исхода войны, как полного уничтожения Пруссии. Что из того, что она так и не выучилась как следует по-русски, что свои письма пишет по-английски и что совершенно не знает народ, над которым царствует, – она чувствует себя славянкой и православной до мозга костей! Ну как же можно утверждать, что она находится в центре «прогерманской партии» при дворе! Абсурд! Она хочет только

одного: передать престол сыну в неприкосновенности. В этом вся логика, что она требует от императора выбирать министрами людей не то чтобы со способностями, а «с кулаками», на которых можно рассчитывать, чтобы сохранить приобретения монархии. Кстати, негоже подозревать в измене и других царедворцев с германскими фамилиями – пусть у них фамилии Фредерикс, Корф, Штакельберг, Грюнвальд или Бенкендорф, они – русские уже в котором колене! Не то с Распутиным… Общественное мнение обвиняет его ныне в том, что он – пораженец, содержащийся на германские деньги… Ну и, конечно, скандалы, которые он провоцирует, тень, которую он бросает на царскую семью, вносят свой вклад в дезорганизацию России перед лицом врага, который спит и видит, как бы с ней покончить. Но при всем своем сочувствии к страданиям мужиков, одетых в солдатские шинели, он воздерживается от того, чтобы дать Николаю совет заключить сепаратный мир. Если он просит информировать его о будущих военных операциях, то это вовсе не затем, чтобы передать эти данные в германский Генеральный штаб, но затем, чтобы дать свой вдохновенный совет, какой стратегии лучше следовать. И он искренне считает себя просветленным Богом. А экстатичная императрица купается в отблесках этого небесного света. Что же касается Николая, то он все решительнее настроен ничего не решать. Россия становится самодержавной монархией без самодержца. Испуганные этим головокружительным соскальзыванием в хаос, монархисты осуждают венценосца заодно с социалистами. Дворянское собрание заявило торжественный протест против «темных сил, стоящих за троном», а 19 ноября 1916 года убежденный защитник государя В.И. Пуришкевич произнес в Думе страстную речь: «В былые годы, в былые столетия Гришка Отрепьев колебал основы русской державы. Гришка Отрепьев воскрес в Гришке Распутине, но этот Гришка, живущий при других условиях, опаснее Гришки Отрепьева». С именем «проклятого старца» он связал еще имена Протопопова, князя Андронникова[241] и еще нескольких интриганов, протежиру-емых императрицей. Он убеждал министров отвлечься от своих карьерных забот во имя исполнения патриотического долга и в заключение призывал их отправиться в Ставку, пасть к ногам царя и умолить его избавить Россию от Распутина: «Ночи последние спать не могу, даю вам честное слово, лежу с открытыми глазами, и мне представляется целый ряд телеграмм, сведений, записок то одному, то другому министру…»

На галерее, резервированной для публики, эти речи со страстью слушал молодой князь Феликс Юсупов, 29 лет. Он

принадлежал к одной из самых родовитых и богатых фамилий России, обладая живым умом и ярко выраженным вкусом к искусству, он представал в облике рафинированного эстета, dilettante,[242] привлеченного образами порока и смерти. С гибкой талией, бархатистым взглядом, он находил развлечение в том, чтобы переодеваться в женское платье, не презирал и опиум; искал компании мужчин, обладающих характером, и в конце концов женился, не отказываясь при этом и от предыдущих своих привязанностей. Брак с племянницей царя, княжной Ириной, и дружба с его любимым кузеном – Вел. кн. Дмитрием Павловичем сблизили Феликса Юсупова с престолом. Он уже давно страдал оттого, что Распутин держал царскую семью своим обаянием и порочил ее. Устранить самозванца, толкающего Россию в пропасть, – вот овладевшая Феликсом идея фикс. Он познакомился со старцем, вошел к нему в доверие и даже пришел к нему на сеанс гипноза, а между тем плел заговор и подыскивал сообщников. В результате множества тайных сборищ вокруг него сформировалась группа, включавшая депутата Государственной думы Пуришкевича, Вел. кн. Дмитрия Павловича, кавалергарда Сухотина и доктора Лазоверта – человека большой выдержки, неоднократно работавшего на передовых позициях под огнем врага, за что был награжден двумя георгиевскими крестами. Доктор Лазоверт обещал раздобыть яду.

В ночь с 16-го на 19-е декабря 1916 года Феликсу Юсупову удалось завлечь Распутина к себе во дворец, обещав, что будет шикарная вечеринка, а главное – познакомить его со своей красавицей женой Ириной Александровной, урожденной Романовой, племянницей Николая II. (Она в это время находилась в Крыму, но Распутин об этом не знал.) Под тем предлогом, что супруга якобы занята с гостями, но скоро спустится вниз, он отвел гостя в подвал, специально по такому случаю декорированный антиквариатом, и предложил ему пирожные и мадеру, предварительно напоенные смертоносным зельем. «Старец был доверчив и спокоен, – вспоминал Юсупов, – где ж его хваленое ясновидение? И что толку прорицать и читать в чужих мыслях, если ловушки самому себе разглядеть не умеешь? Словно сама судьба ослепила его, чтобы свершилось правосудие».[243] Распутин сперва отказался – однако взял одно, потом еще одно… Затем выпил один за другим два стакана мадеры… Яд не действовал! «Точно шла меж нами борьба, немая, но жуткая. Еще миг – и я бы сдался. Под его тяжелым взором я стал терять хладнокровие. Пришло странное оцепенение… Голова закружилась…»[244] – писал Юсупов. Мало того, Распутин еще попросил Юсупова спеть для него под гитару, а затем предложил

поехать к цыганам!!! Два часа уже длился этот кошмар… Нервы бедного Феликса были на пределе. Одолжив у Дмитрия Павловича, ожидавшего наверху с остальными заговорщиками, револьвер, Юсупов предложил Распутину помолиться на хрустальное распятие. «Распутин глянул на меня удивленно, почти испуганно. В глазах его я увидел новое, незнакомое мне выраженье. Была в них покорность и кротость. Он подошел ко мне вплотную и заглянул в лицо… Я понял, что настал решающий момент».[245]

Юсупов выстрелил, Распутин крикнул и рухнул на медвежью шкуру.

Услыхав звук выстрела, остальные заговорщики опрометью бросились и подвал.[246] Казалось, представление окончено… Ан нет! В невиданном порыве жизненности Распутин внезапно вскочил на ноги и бросился на Юсупова, сорвав у него с плеча эполет. Вырвавшись на волю, Распутин помчался через заснеженный двор, ведущий на улицу.

«Феликс, Феликс! Я все расскажу царице!» – кричал он. И тогда Пуришкевич, бросившись вдогонку, дважды выстрелил… Мимо! Распутин был уже у самых ворот… Третья пуля все же настигла его. Он остановился. Пуришкевич выстрелил в четвертый раз – пуля попала Распутину в голову. От возбуждения Пуришкевич забыл о мерах предосторожности – когда стоявший на углу Прачешного переулка на посту городовой пришел осведомиться, почему стрельба, Пуришкевич сказал ему, что убил Григория Распутина, врага России и царя! Но Распутин по-прежнему подавал признаки жизни. «Перевернутый лицом вверх, он хрипел, и мне совершенно ясно было видно сверху, как у него закатился зрачок правого, открытого глаза, как будто глядевшего на меня бессмысленно, но ужасно»,[247] – вспоминал Пуришкевич. Тут подскочил Юсупов и принялся неистово бить его резиновой гирей,[248] как он сам признается впоследствии, в тот миг он не помнил ни Божьего закона, ни человеческого…

Завернув труп в холстину, Вел. кн. Дмитрий Павлович, поручик Сухотин, Лазоверт и Пуришкевич погрузили его в машину Дмитрия Павловича и помчались на Петровский остров. Там они, под покровом ночи, сбросили тело в прорубь у самого моста. Правда, впопыхах забыли привязать к трупу цепями специально купленные по такому случаю гири, каковые побросали вслед за трупом в воду. Но, как бы там ни было, на сей раз все было кончено.[249] Пусть теперь сколько хочет ябедничает императрице. Правда, удастся это ему не скоро. Через полтора с небольшим года.

Глава тринадцатая
Конец одного царствования

Слух о том, что Распутин исчез из своего жилища, моментально разнесся по городу, но пока что никто не знал, что же случилось. Иные, принимая желаемое за действительное, утверждали, что он погиб, попав в засаду. Другие возражали: ничего подобного! За обедом в яхт-клубе первый секретарь французского посольства в Петрограде Шарль де Шамбрен обратил внимание на Вел. кн. Дмитрия Павловича. «Он был бледен как полотно, – писал де Шамбрен. – Его налитые кровью глаза выдавали беспокойство. Я сидел рядом с ним, и у меня сложилось впечатление, что рука, которую он протягивал мне с бледной улыбкой, причастна к драме. Непостижимая ситуация». На вопрос Шарля де Шамбрена, думает ли князь, что Распутина нет в живых, тот ответил на одном дыхании: «Да, я так думаю». Со своей стороны, Феликс Юсупов, допрошенный по поводу выстрелов, раздававшихся накануне ночью в саду его дворца, ответил, что во время большого приема этой ночью один из гостей спьяну пристрелил одну из его сторожевых собак; собачий труп и впрямь лежал во дворе для обозрения полицией, но объяснения Юсупова никого не убедили. Начались розыскные мероприятия. Предчувствуя самое худшее, императрица и Анна Вырубова разыграли театральное отчаяние – их чередующиеся ламентации удивляли домашних. «Какая боль! – пометила Анна Вырубова в тот же вечер в своем „Интимном дневнике“. – Я не могла найти себе места. Maman еще сохраняла какую-то призрачную надежду. А моя душа опустошена… Господи, спаси его для всех нас, для всей России, для Церкви!» (С французского. – *С.Л.*)

Еще плохо осведомленная в подробностях происшедшего, царица пишет своему мужу в ставку в Могилев:

«Мы сидим все вместе – ты можешь себе представить наши чувства, мысли – наш Друг исчез. Вчера Аня видела его, и он сказал ей, что Феликс просил его приехать к нему ночью, что за ним заедет автомобиль, чтобы он мог повидать Ирину.

За ним заехал автомобиль (военный автомобиль), но с двумя штатскими, и он уехал. Сегодня ночью был огромный скандал в Юсуповском доме. Было большое собрание. Дмитрий (Великий князь), Пуришкевич и т. д. – все пьяные. Полиция слышала выстрелы. Пуришкевич выбежал, кричал полиции, что наш Друг убит… Полиция приступила к розыску. И только сейчас

следователь вошел в Юсуповский дом. Он не смел сделать этого раньше, т. к. там находился Дмитрий. Градоначальник послал за Дмитрием. Феликс намеревался сегодня ночью уехать в Крым, но я попросила Протопопова его задержать…

… Феликс утверждает, будто он не являлся в дом нашего Друга и никогда не звал его. Это все, по-видимому, была западня. Я все еще полагаюсь на Божье милосердие, что его только увезли куда-то… Мы, женщины, здесь одни с нашими слабыми головами… Оставляю ее (Аню) жить здесь, так как они теперь сейчас же примутся за нее. Я не могу и не хочу верить, что его убили! Да смилуется над нами Бог.

Такая отчаянная тревога… Приезжай немедленно, никто не посмеет ее тронуть или что-нибудь ей сделать, когда ты будешь здесь».

Проходил час за часом, и скорбное предчувствие двух закадычных подруг подтвердилось. «Он был убит, – пишет Анна Вырубова, – при участии Вел. кн. Дмитрия Павловича – это определенно… И еще с участием мужа Ирины (кн. Феликса Юсупова)… Труп не найден… Труп – Боже мой, труп! Ужас! Ужас! Ужас!» И добавляет: «Христос распят врагами своими… Его больше нет. Увы, его больше нет! Maman бледная, как бумажный лист, упала мне в руки. Она не плакала, только вся дрожала. А я, ошалевшая от боли, суетилась вокруг нее. Мне было так страшно! Такой ужас был у меня в душе. Мне казалось, что Maman или умрет, или потеряет рассудок». (*Франц.*)

Но вскоре царица взяла себя в руки, достала из ящичка крест, подаренный ей старцем, и, поднеся его к губам, сказала своей наперснице: «Не плачь. Я чувствую, что часть силы исчезнувшего доходит до меня. Видишь, я – сильная и могучая царица. О, я им покажу!» И надела распутинский крест себе на шею. Позже она скажет: «Не будь всей этой яростной борьбы, я согнулась бы под бременем ужаса, который вызвала во мне потеря того, ради кого я жила. Но сегодня я живу лишь во имя этой борьбы: я сознаю, что призвана спасти Россию!» (*Франц.*)

Имена главных участников событий: Феликса Юсупова, Вел. кн. Дмитрия Павловича, Пуришкевича – были уже у всех на устах. «Ну что же, господин посол, мы, значит, вернулись к временам Борджиа?» – заявил Морису Палеологу советник итальянского посольства граф Мочениго. Посол ответил на это: «По коварству и вероломству вчерашнее покушение, бесспорно, достойно сатанинского Цезаря. Но это не bellissimo inganno (прекрасный обман. – *С.Л.*), как говорил Валенсиец. Не всякому дано величие в сладострастии и преступлении». Проведя расследование, полиция нашла следы крови на Большом Петровском мосту и, разбив лед

Малой Невки, отыскала тело. Во дворце царили ступор и отчаяние;[250] зато настроение публики было радостным: люди обнимались на улицах, поздравляли друг друга в салонах, ставили свечи в Казанском соборе, а узнав, что в числе главных заговорщиков фигурировал Вел. кн. Дмитрий Павлович, толпою бросились ставить свечи перед иконой Св. Димитрия. Убийство Распутина, пишет М. Палеолог, было единственным предметом разговора в бесконечных очередях петроградских женщин – они друг дружке рассказывали, что Распутин был брошен в реку живым, торжествующе выкрикивая: «Собаке собачья смерть!» То обстоятельство, что Распутин еще дышал, когда его бросили под лед, имело особое значение: согласно народному поверью утопленники не могут быть причислены к лику святых.

В крестьянской же среде реакция была глуше и неоднозначнее; некоторые крестьяне сожалели о том, что «господа убили единственного мужика, который был приближен к престолу». Зато в армейской среде новость вызвала бурную радость, выходящую из берегов, – даже выигранное сражение, с сотней тысяч взятых пленных, и то не вызвало бы такого волнения.

Что до императора, то он испытывал смесь ужаса и облегчения. За чаепитием в Могилеве со своим дядюшкой Вел. кн. Павлом Александровичем он не сказал ему ни слова об убийстве, подробности которого ему только что стали известны. Его собеседник был поражен – не понимая, в чем дело, – счастливым, почти блаженным выражением лица государя. Впоследствии морганатическая супруга Павла Александровича, княгиня Палей, напишет, что Вел. кн. Павел объяснял улыбчивое настроение монарха внутренней радостью, которую тот испытывал, будучи наконец-то избавленным от присутствия Распутина. Слишком обожая свою супружницу, чтобы перечить ее желаниям, император, однако, был счастлив, что его избавили от угнетавшего кошмара. Однако едва Николай получил слезное письмо от своей благоверной, как он тут же покинул Ставку и помчался на всех парах в Царское Село.

Извлеченное из-подо льда тело Распутина было тщательно изучено полицейскими, затем врачами, обмыто, набальзамировано и помещено в дубовый гроб. На грудь покойного поместили маленькую иконку, на которой стояли подписи императрицы и четырех дочерей.[251] На траурной службе присутствовали лишь самые близкие усопшего. Только что сошедший с поезда Николай принял участие в погребении, состоявшемся на заре, в холоде и тумане, на принадлежавшем Анне Вырубовой участке на задворках императорского парка.

Царица положила на гроб букет белых цветов, первой бросила в могилу горсть земли и – мертвенно-бледная, едва держащаяся на ногах – дала обет соорудить на этом месте часовню и богадельню. Рассказывали, что она сохранила как реликвию окровавленную сорочку чернокнижника.

В какой-то момент жизни она подумала о каре, о возмездии. Но что делать, если виновные столь высокопоставленные, что до них не достанешь, не поколебав сам монархический строй! Великий князь Дмитрий Павлович был по рождению неподсуден законам империи, а только царскому слову. А Николай, как бы ни упрашивала его скорбящая супруга, не мог решиться всерьез покарать своего кузена, которого нежно любил. Он ограничился тем, что направил его в Персию и затем пристроил в штаб действующей армии.[252] Крупный думский деятель Пуришкевич пользовался такой популярностью в правых кругах, что император, боясь вызвать недовольство своих самых верных единомышленников, не стал подвергать его наказанию (он уехал из Петрограда на фронт с санитарным поездом). Ну, а Юсупову после допроса председателем Совета министров Треповым было определено жительство у себя в имении Ракитное в Курской губернии.

Тем не менее кошмар на этом не кончился: с исчезновением Распутина царь и царица почувствовали себя более чем когда уязвимыми. «Даже не помнится об этом жалком дворцовом убийстве пьяного Гришки, – занесла в свой дневник Зинаида Гиппиус. – Было – не было, это важно для Пуришкевича. А что России [просто] так не „дотащиться“ до конца войны – это важно. Через год, через два, но **будет что-то** (выделено в тексте. – *С.Л.*), после чего: или мы победим войну, или война победит нас. Ответственность громадная лежит на наших государственных слоях интеллигенции, которые сейчас одни могут действовать!»[253]

В окружении Николая все настойчивей раздавались голоса, советовавшие не ощетиниваться и не демонстрировать враждебное отношение к народным избранникам. Его близкий родич и друг детства Вел. кн. Александр Михайлович написал ему длинное письмо, желая раскрыть венценосцу глаза на опасности, грозящие России в этот период морального и материального разложения. «Таинственные силы ведут тебя вместе с твоей страной к неизбежной гибели, – писал он. – Ни один из твоих министров не уверен в завтрашнем дне. Последние назначения показывают, что ты решился вести внутреннюю политику, которая идет наперекор желаниям твоих законопослушных подданных… Я не вижу другого выхода, как

только выбирать министров из тех людей, которые пользуются доверием нации».[254]

Не менее встревоженный, Морис Палеолог, удостоившийся монаршего приема, попытался, в свою очередь, вытащить его из сомнамбулического сна: «Вы заявляете о вашей непреклонной решимости завоевать Константинополь. Но как доберутся до него ваши войска?.. Если отступление румынских войск не будет немедленно остановлено, они скоро должны будут очистить всю Молдавию и отступить за Прут и даже за Днестр. И не боитесь ли вы, что при этом случае Германия образует в Бухаресте временное правительство, возведет на трон другого Гогенцоллерна и заключит мир с восстановленной таким образом Румынией?» И далее: «Я был бы не достоин доверия, которое вы всегда мне оказывали, если бы я скрыл от вас, что все симптомы, поражающие меня вот уже несколько недель, растерянность, которую я наблюдаю в лучших умах, беспокойство, которое я констатирую у самых верных ваших подданных, внушают мне страх за будущее России».

На это Николай ответил равнодушным тоном: «Я знаю, что в петроградских салонах сильно волнуются». Вид у него был усталый, утомленный, горестный. «Слова императора, его молчание, его недомолвки, серьезное и сосредоточенное выражение его лица, его неуловимый и далекий взгляд, замкнутость его мысли, все смутное и загадочное в его личности утверждают меня в мысли… что император чувствует себя подавленным и побежденным событиями, что он больше не верит ни в свою миссию, ни в свое дело;… что он уже примирился с мыслью о катастрофе и готов на жертву».[255] Итак, попытка Палеолога вразумить царя потерпела провал. Несколько дней спустя в Царском Селе был принят глава британской миссии – сэр Джордж Бьюкенен, дипломат старой школы, с моноклем в глазу. Семь лет работы в России стяжали ему множество почитателей, в числе коих был сам государь. Бьюкенен не знал ни слова по-русски, но что за беда – в российской столице все, с кем ему приходилось общаться, говорили по-английски либо по-французски! Впрочем, в конце концов вышел конфуз: в 1916 году Бьюкенен посетил Москву, где его сделали почетным гражданином города и поднесли старинную икону и массивный серебряный кубок. Как вспоминал небезызвестный Роберт Гамильтон Брюс Локкарт (в то время британский консул), они с послом долго тренировались, чтобы тот мог выговорить «Спасибо» – и все-таки вместо этого Бьюкенен, подняв над головою кубок, изрек твердым голосом: «*За пиво*»…

Удостоившись аудиенции государя, посол сразу начал с места

в карьер: «Ваше величество, если мне будет позволено так выразиться, имеется лишь единственный путь, открытый Вам, а именно: удалите барьер, который отделяет Вас от народа, и Вы вновь обретете его доверие». Царь слушал посла с недовольством и спросил, нахмурив брови: «Вы полагаете, что это я должен вновь приобрести доверие народа или что он должен заслужить мое?» – «И то и другое, сэр, – ответил посол, – ибо без такого взаимного доверия России никогда не победить в этой войне». Перед уходом Бьюкенен предостерег царя, что революционные речи звучат уже не только в Петрограде, но и по всей России и что в случае революции только небольшая часть армии может стать на защиту династии. «Я должен был собрать всю свою смелость перед этим разговором, – заключил Бьюкенен. – … Но если б я увидел друга, бредущего в кромешной темноте через лес по тропинке, которая ведет в пропасть, неужели я не счел бы своим долгом предостеречь его об опасности?» Император учтиво поблагодарил посла, пожав ему руку, зато царица была вне себя от такой дерзости британца. Как он сам писал позже, «Вел. кн. Сергей заметил, что если бы я был русским подданным, меня сослали бы в Сибирь».[256]

Еще откровеннее высказался приглашенный на прием к царю председатель Государственной думы Родзянко, нарисовавший перед Николаем всю картину деградации страны. «Ваше Величество, – заявил он монарху, – я считаю положение в государстве более опасным и критическим, чем когда-либо. Настроение во всей стране такое, что можно ожидать самых серьезных потрясений… Вокруг Вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека; все лучшие удалены или ушли…» В стране, продолжал Родзянко, растет негодование на императрицу и ненависть к ней. Ее считают сторонницей Германии – об этом говорят даже среди простого народа…

Венценосный собеседник прервал его: «Дайте факты. Нет фактов, подтверждающих ваши слова».

«Фактов нет, – согласился Родзянко, – но все направление политики, которой так или иначе руководит Ее Величество, ведет к тому, что в народных умах складывается такое убеждение. Из этого следует вывод, что для спасения страны, царской семьи необходимо найти способ устранить императрицу от влияния на политические дела».

Услышав это, государь стиснул обеими руками голову и затем сказал: «Неужели я двадцать два года старался, чтобы все было лучше, и двадцать два года ошибался?» На это Родзянко, собрав все свое мужество, ответил: «Да, Ваше Величество, двадцать два года Вы следовали ошибочным курсом».

За встречей с Родзянко последовал новый призыв государю к мудрости, но и он ничего не изменил в отношении государя к ходу событий. 19 января 1917 года монарх принял бывшего председателя Совета министров Коковцева. «Внешний вид государя настолько поразил меня, – писал он, – что я не мог не спросить его о состоянии его здоровья. За целый год, что я не видел его, он стал просто неузнаваем: лицо страшно исхудало, осунулось и было испещрено мелкими морщинами. Глаза, обычно такие бархатные, темно-коричневого оттенка, совершенно выцвели и как-то беспомощно передвигались с предмета на предмет вместо обычно пристального направления на того, с кем государь разговаривал. Белки имели ярко выраженный желтый оттенок, а темные зрачки стали совсем выцветшими, серыми, почти безжизненными».

От Коковцева не ускользнуло, что государь не предложил ему сесть. Ему показалось, что дверь из кабинета в уборную была приотворена, чего никогда раньше не бывало, и что кто-то стоит за дверью – уж не царица ли?! – и подслушивает их разговор. Обеспокоенный здоровьем царя, он задал вопрос: «Ваше Величество, что с Вами? Вы так устали, так переменились с прошлого января, когда я видел Вас в последний раз, что я позволяю себе сказать Вам, что вам необходимо подумать о Вашем здоровье. Те, кто видит Вас часто, очевидно, не замечают Вашей перемены, но она такая глубокая, что, очевидно, в Вас таится какой-нибудь серьезный недуг».

«Выражение лица государя было какое-то беспомощное. Принужденная, грустная улыбка не сходила с лица, и несколько раз он сказал мне только: „Я совсем здоров и бодр, мне приходится только очень много сидеть без движения, а я так привык регулярно двигаться. Повторяю вам, Вл. Ник., что я совершенно здоров. Вы просто давно не видели меня, да я, может быть, неважно спал эту ночь. Вот пройдусь по парку и снова приду в лучший вид“».

При заявлении Коковцева, что ему была поручена подготовка материалов к будущим мирным переговорам и что государю было угодно высказать свои соображения по этому чрезвычайно щекотливому вопросу, государь положительно растерялся и долго молча смотрел на собеседника, как будто искал в своей памяти то, что выпало из нее сейчас… «… Я еще не готов теперь к этому вопросу. Я подумаю и вам скоро напишу, а потом при следующем свидании мы уже обо всем подробно поговорим», – сказал он и проводил Коковцева к выходу. «Слезы буквально душили меня», [257] – вспоминал тот.

Ему показалось, что его обожаемый государь не способен

понимать, что происходит вокруг, словно отрезан от внешнего мира. У него осталось убеждение, что государь тяжко болен и что болезнь его – именно нервного, если даже не чисто душевного свойства.

Тем не менее государю все же от случая к случаю приходилось брать себя в руки, выпячивать грудь колесом и делать вид, что он еще управляет. Вот как вспоминает об императоре Шарль де Шамбрен, побывавший на приеме в Царском Селе: «Вышел император – по-простому, в серой казацкой черкеске; несмотря на опухлость, черты его усталого лица сохраняли былую привлекательность. Он задавал банальные вопросы, не слишком интересуясь ответами… Двор казался весьма озабоченным. Граф Фредерикс, которому на взгляд только чешуя из орденов не давала рассыпаться в прах, опирался на трость, перевязанную голубой лентой; большой церемониймейстер барон Корф был красен, как помидор; выстроившиеся вдоль стены высшие сановники казались героями произведений Кокто.[258] Что же касается лакеев, сияющих галунами, то они разговаривали между собой без всякого стеснения. Какой контраст с тем бесстрастным видом, безупречною выправкой, le bon chic, который отличал их еще на прошлой неделе! Какая-то поломка случилась в механизме некогда отлаженной машины, и оттого разладились все ее шестеренки и пружинки, вплоть до дворцовой прислуги… Прежде чем покинуть этот золоченый зал, где он только что выступал в роли фигуранта, царь окинул своих слуг строгим взглядом, сжимая кулак… Увы! В этой вызывающей позе он больше походил на самозаводящийся автомат, чем на истинного автократа, готового сломить чье угодно сопротивление».[259]

Деградация морального и физического здоровья государя отмечалась всеми. Кое-кто нашептывал, что царь травит себя наркотическим зальем, которое получает от тибетского целителя Бадмаева, друга Распутина. Другие, вопреки очевидному, пускали слух, что он заглядывает в бутылку. В действительности же расстройство здоровья самодержца было вызвано исключительно политическими и семейными обстоятельствами. При всем своем редкостном самообладании ему все труднее было сопротивляться докучавшим ему царице и ее верной наперснице – толстушке Анне Вырубовой, остававшимся во власти фантома покойного Распутина. У царя часто случались мигрени, головокружения, боли в сердце. 26 февраля 1917 года он писал супруге: «Сегодня утром во время службы я почувствовал мучительную боль в середине груди, продолжавшуюся четверть часа. Я едва выстоял, и лоб мой покрылся каплями пота. Я не понимаю, что это было,

потому что сердцебиения у меня не было, но потом оно появилось и прошло сразу, когда я встал на колени перед образом Пречистой Девы. Если это случится еще раз, скажу об этом Федорову».

Его тревожило слишком много различных вопросов, каждый из которых требовал немедленного решения. Насилу пытаясь симулировать уверенность, он предоставил всему идти своим чередом. Это безволие вылилось в бессвязность шагов в публичных делах. Внезапно был смещен с поста председателя Совета министров Александр Трепов – императрица припомнила ему, что он когда-то предлагал Распутину 200 тысяч рублей отступного, лишь бы тот убрался из Петербурга… Ну, а кого же она прочила на его место? Конечно же, самого преданного и надежного человека: престарелого князя Николая Голицына, известного своей деятельностью на посту председателя Комитета по оказанию помощи русским военнопленным. Ну и что же, что он никогда не занимался политикой? У него чистое сердце, и с него довольно! Почтенный Голицын попытался было взять самоотвод – мол, возраст не тот, как бы мое назначение не обернулось несчастьем! Какое там! Голицын будет премьером, потому что императрица так решила! Еще один шаг, ошеломивший общественное мнение: превосходный министр народного просвещения Павел Игнатьев был смещен за то, что осмелился повозражать императору в ходе одной дискуссии. Его портфель, как и ряд других, оказался в руках темных персонажей, главной заслугой которых было то, что они в прошлом были в фаворе у Распутина. И над всем этим сборищем властвовал «человек со сдвигом» Протопопов, который будто бы вел разговоры с духом покойного Распутина… Не он ли, простершись ниц перед императрицей, кричал: «Ваше Величество, я вижу позади Вас Христа!» Заодно с нею он видел спасение России в укреплении центральной власти, затыкании рта прессе и роспуске Думы. Даже коллеги считали его невменяемым. Министр иностранных дел Покровский заявил следующее: «Чего можно ожидать от человека, который в последние недели потерял всякое чувство реальности?»

Боясь, как бы императрица не пришла в состояние аффекта от разворачивавшейся по всей стране враждебной к ней кампании, Протопопов подучил охранку посылать ей десятками льстивые письма и телеграммы: «О любезная государыня наша, мать и воспитательница нашего обожаемого царевича!.. О наша великая и благочестивая государыня!.. Защити нас от злых!.. Спаси Россию!» Одураченная этими фальсифицированными признаниями в любви народной, царица заявила Вел. кн.

Виктории Федоровне, супруге Вел. кн. Кирилла Владимировича: «Еще совсем недавно я думала, что Россия меня ненавидит. Теперь я осведомлена. Я знаю, что меня ненавидит только петроградское общество, это развратное, нечестивое общество, думающее только о танцах и ужинах, занятое только удовольствиями и адюльтером, в то время как со всех сторон кровь течет ручьями… кровь… кровь… Теперь, напротив, я имею великое счастье знать, что вся Россия, настоящая Россия, Россия простых людей и крестьян – со мной».[260] Дух Распутина торжествовал, иные даже говорили, что теперь старец имеет еще большую силу, чем при жизни.

В стране шум, а на фронте в это время воцарилась относительная стабильность. Оккупировав Польшу, немцы вынуждены были остановиться перед линией обороны, которую наконец-то удалось организовать. Русские, со своей стороны, удерживали восточную Галицию. Но и армия не осталась в стороне от политических брожений. Специалист по военным вопросам депутат Гучков констатировал разброд и шатания в умах людей на передовой, заявив: «Генералы, офицеры и простые солдаты говорят с полным убеждением, что сотрудничать с властью больше невозможно». Именно таковым было и мнение большинства Думы. Даже Государственный совет, состоявший из престарелых сановников и богатых помещиков, и тот требовал создания Министерства народного доверия. Широкая публика требовала еще большего. Многие грезили о смене монарха. Иные – более умеренные – согласились бы на удаление императрицы куда-нибудь в Англию или заключение ее в монастырь. Сама Великая княгиня Мария Павловна посетовала Морису Палеологу: «Что делать! Кроме той, от которой все зло, никто не имеет влияния на императора. Вот уже пятнадцать дней мы все силы тратим на то, чтобы попытаться доказать ему, что он губит династию, губит Россию, что его царствование, которое могло быть таким славным, скоро закончится катастрофой. Он ничего слушать не хочет. Это трагедия».[261] А вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая никогда не симпатизировала своей снохе, заявила следующее: «Я верю, что Господь сжалится над Россией. Александра Федоровна должна быть устранена. Не знаю, как бы это могло произойти. Возможно, она совсем сойдет с ума; возможно, что она окажется в монастыре или вовсе исчезнет». Коллективное письмо членов императорской фамилии с требованием отставки Протопопова и принятия разумных мер вызвало только недовольство венценосного адресата: ох как не любил он, чтоб ему докучали советами!

Дух упрямства, царствовавший в головах государя и

государыни, вскоре привел к образованию самых настоящих заговоров. Даже в Ставке наиболее решительные умы всерьез размышляли о смещении императорской четы: слишком уж много ею наделано ошибок, чтобы иметь право продолжать управлять страной во время войны! Группа генералов во главе с блестящим казачьим предводителем Крымовым строила планы захвата императорского поезда по пути между Ставкой и Царским Селом с целью вынудить императора к отречению; одновременно с этим планировалось при поддержке воинских частей арестовать в Петрограде существующее правительство и объявить о перевороте и о лицах, которые возглавят новое руководство страной. Эта группа генералов действовала с молчаливого согласия Михаила Алексеева и Брусилова. Параллельно с этими планами развивался и заговор Великих князей; но этим последним так и не удалось сойтись на имени того, кто заменит собою Николая II и будет осуществлять регентство над малолетним Алексеем. Единственному брату государя, Вел. кн. Михаилу Александровичу, было не занимать представительности и мужества, но ему недоставало решительности, которая позволила бы осуществить государственный переворот. Бывший главнокомандующий, дядюшка царя Николай Николаевич изначально не был расположен к предательству своей клятвы верности царствующему императору.[262] Вел. кн. Дмитрий Павлович, снискавший благодаря участию в убийстве Распутина большую популярность в Петрограде, был не более чем элегантным кавалером двадцати пяти лет – он был гордым, бравым, но слишком молодым и непостоянным, чтобы провести операцию такого размаха. Отзвуки этой дискуссии дошли до гвардейских полков, где заговорщики встретили немало сочувствующих умов. Большинство офицеров царскосельского гарнизона стояли за перемены. Но ни один из них не имел в виду провозглашение республики. Все, чего хотели монархисты, – привести на престол другого государя. Введенный в курс всех этих пустословий, депутат Маклаков заявил: «Великие князья не способны достичь согласия в программе действий. Никто из них не осмеливается взять на себя малейшей инициативы, и каждый хочет работать исключительно для себя. Они хотели бы, чтобы Дума поднесла огню к пороховой бочке… В общем, они ждут от нас того же, чего мы ждем от них».[263] Другой депутат, председатель ЦК партии кадетов кн. П.Д. Долгоруков, писал в январе 1917 года: «Дворцовый переворот не только нежелателен, а скорее гибелен для России, т[ак] к[ак] среди дома Романовых нет ни одного, кто мог бы заменить нашего государя. Дворцовый переворот не может дать никого, кто явился бы общепризнанным

преемником монархической власти на русском престоле».[264] Долгоруков заключал, что переворот только превратил бы монархистов в республиканцев.

Короче говоря, поспорят, пошумят и разойдутся. Все эти словопрения не только не приводили Великих князей к решительному шагу, но лишь служили пересудам в гостиных и подтачивали лояльность гвардейских частей. Убежденные, что действуют во имя выживания монархии, они только лишали ее поддержки самых лучших войск. Они воображали, что, сея смуту среди офицеров и солдат, готовят этим пришествие нового венценосца, а в действительности открывали умы для мысли о свержении режима, иначе говоря – для революции.

Невзирая на предупреждения полиции, Николай не придавал ни малейшего значения развитию страстей за своей спиной.[265] Исход войны по-прежнему не вызывал сомнения в его глазах: он искренне верил в то, что водрузит русский флаг над Константинополем и крест – над Св. Софией!

В январе 1917 года в Петрограде состоялась конференция полномочных представителей союзных держав. Сопровождая в гостиницу сенатора Гастона Думерга и генерала Кастельно, Морис Палеолог рисует им положение дел, называя вещи своими именами: «С русской стороны время больше не работает на нас… Все правительственные пружины, все колеса административной машины портятся одно за другим. Лучшие умы убеждены в том, что Россия идет к пропасти». Царь весьма любезно принял гостей и согласился с требованиями французов на возвращение Эльзаса, Лотарингии и Саарской области. При всем том его разговор с гостями был более чем банальным. С первого же взгляда было ясно, что правление не доставляет ему никакого удовольствия, что свою роль императора он исполняет без энтузиазма – как честный функционер, командированный в эту страну Всевышним. По поводу круга его политических интересов Морис Палеолог заключает: «Царь, как я уже часто замечал это, не любит на деле своей власти. Если он ревниво защищает свои самодержавные прерогативы, то это исключительно по причинам мистическим. Он никогда не забывает, что получил власть от самого Бога и постоянно думает об отчете, который он должен будет отдать в долине Иосафата».[266] Полномочные представители союзных держав разъехались по домам, утомленные блистательной чередою завтраков, обедов и приемов. Едва они покинули Петроград, как на улицы вышли манифестанты, призывающие к всеобщей стачке с целью протеста против лишений и против войны. Вел. кн. Мария Павловна выплакалась Морису Палеологу: «Императрица вполне овладела императором, а она советуется

только с Протопоповым, который каждую ночь спрашивает совета у духа Распутина… Я не могу вам сказать, до какой степени я упала духом. Со всех сторон я все вижу в черном свете. Я жду наихудших несчастий… Недавнее вмешательство Великих князей не удалось; надо его возобновить на более широких основаниях и, разрешите мне прибавить, в более серьезном… более политическом духе… Но надо спешить! Опасность близка; важен каждый час. Если спасение не придет сверху, революция произойдет снизу. А тогда это будет катастрофа!»[267]

С наибольшей настойчивостью этой катастрофы жаждали большевики. Но кто тогда, в дни внутренних раздоров и перед лицом внешней опасности, видел в них серьезную угрозу? Весь боевой состав партии – несколько десятков тысяч членов; их главарь – некий Ленин – по-прежнему находится в изгнании в Швейцарии, где варится в собственном соку и строчит прокламации, о которых подавляющее большинство жителей России слыхом не слыхивало. Да, родине грозит опасность, но – с германского фронта, а не от этой кучки фразеров, считал Николай.

20 февраля государь получает телеграмму от генерала Михаила Алексеева с призывом срочно приехать в Ставку. Государыня убеждала его не уезжать – у наследника как раз начиналась корь. Все же 22-го числа царь, получив от Протопопова заверение, что в столице все спокойно, отбыл из Петрограда в Могилев. «Царь удрал на фронт» – вот так метко оценила событие Зинаида Гиппиус. Устроившись в спальном вагоне, Николай развернул письмо, которое императрица сунула ему под подушку перед отходом поезда. В нем, как всегда, содержалось уверение, что покойный Распутин молится на том свете за государя, и призыв: «… Дорогой, будь тверд, покажи властную руку, дай им теперь порой почувствовать твой кулак. Они сами просят об этом – сколь многие недавно говорили мне: „Нам нужен кнут!“ Это странно, но такова славянская натура!»

Стоило государю уехать, как корь перекинулась и на других его детей. Температура не спадала, глаза слезились и болели; апартаменты царской семьи стали походить на лазарет. Императрица сама измеряла детям температуру, давала лекарства.

«23 февраля… Ну вот – у Ольги и Алексея корь. У Ольги все лицо покрыто сыпью. У Бэби больше во рту, и кашляет он сильно, и глаза болят. Они лежат в темноте – мы завтракали еще вместе в игральной. Мы все в летних юбках и в белых халатах, если надо принять кого (кто не боится), тогда переодеваемся в платья. Если другим не миновать этого, я хотела бы, чтобы они захворали

скорее. Оно веселее для них и не продлится так долго… Аня тоже может заразиться…» – писала она.

На это царь ответил в тот же день:

«Ставка. 23.02.17… Был солнечный холодный день, и меня встретила обычная публика с Алексеевым во главе (начальник штаба. – *Авт.*)… Мы с ним хорошо поговорили полчаса, после этого я привел в порядок свою комнату и получил твою телеграмму о кори. Я не поверил своим глазам, так это неожиданно… Как бы то ни было, это очень скучно и беспокойно для тебя, моя голубка».

И прибавил в письме на следующий день:

«Ставка, 24 февраля… Посылаю тебе и Алексею ордена от короля и королевы Бельгийских на память о войне… Вот он обрадуется новому крестику».

Между тем Петроград уже несколько дней как охватили волнения, приобретавшие все более угрожающий характер. «Стачки и беспорядки в городе более чем вызывающи, – пишет царица своему благоверному. – Это – хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, – просто для того, чтобы создать возбуждение…..Завтра воскресенье, и будет еще хуже. Не могу понять, почему не вводят карточной системы…»[268] Очереди у булочных, бакалейных и мясных лавок выстраивались с зари. Магазины опустошались в мгновение ока, и их окна тут же закрывались железными ставнями. Это не помогало: бедный люд приступом брал булочные и захватывал припрятанные запасы; многие булочные, как, например, Филипповская, были и вовсе разнесены вдребезги. Да разве в одном только хлебе было дело! Цены взлетели самым безбожным образом решительно на все. К примеру, валенки подорожали втрое; масло и мясо стали предметами роскоши, да и то на рынках было недостать; о дровах и говорить нечего – их давно уже продавали на вес, а не кубическими саженями, как прежде. Даже в буржуазных квартирах, и то температура часто не превышала нуля градусов. Изголодавшаяся, отчаявшаяся толпа становилась все более угрожающей, и полицейские чины зачастую сочувствовали ей; это было братство в нищете! Ширилось забастовочное движение. Некоторые заводы, израсходовав запас угля,[269] вышвыривали рабочих на улицу. Партии и профсоюзы готовили манифестацию, назначенную на 23 февраля (8 марта), когда отмечался так называемый Международный день работниц.

С самого утра на улицы вышли манифестации, включавшие множество женщин, но также забастовщиков, уволенных рабочих и даже дезертиров, чудом избежавших поимки, – эти последние распространяли в толпе сведения о катастрофическом положении

на фронтах, людское море требовало не только хлеба и работы, но и положить конец войне и царизму. Трамваи не ходили. По улицам гарцевали казачьи патрули. Шествие происходило без инцидентов, оно даже было исполнено достоинства. На следующий день на улицы вышла новая манифестация, над которой реяли красные флаги. Почти все заводы были закрыты, демонстранты пели «Рабочую Марсельезу», выкрикивали лозунги: «Да здравствует республика!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Долой царицу-немку!». На демонстрантов налетела конная полиция – люди рассеялись, оставив на мостовой убитых и раненых, но, несмотря на заверения Протопопова, что он, мол, контролирует ситуацию, противостояние еще только начиналось. Третий день оказался более волнующим и кровавым, чем предшествующие. На сей раз в роли главных организаторов стачек и шествий выступили большевики. Ввиду того, что казаки чаще выказывали сочувствие, чем враждебность манифестантам, полиция не открывала по толпе огонь. Председатель Думы Родзянко телеграфировал государю: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано, транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Части войск стреляют друг в друга. На улицах – беспорядочная стрельба. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство… Всякое промедление смерти подобно». Свое послание Родзянко заканчивает сочувственною фразой: «Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

На это венценосец только пожимал плечами: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему даже отвечать не буду». Государь ограничился тем, что послал командующему войсками генералу Хабалову телеграмму: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны против Германии и Австрии».

Какое там! 27 февраля в 7 часов утра восстал запасной батальон Волынского полка. Унтер-офицер Кирпичников (сын профессора, студент, призванный в армию в 1915 г.) ночью собрал солдат и убедил их восстать против самодержавия; когда наутро в казармы прибыл начальник учебной команды Дашкевич, солдаты отказались повиноваться, убили его и высыпали на улицу; седой пожилой офицер, командовавший гвардейцами, крикнул: «Солдаты, я не могу вам приказать стрелять в ваших братьев, но я слишком стар, чтобы нарушить присягу!» И с этими словами приставил к виску револьвер и нажал курок. Тело его

было завернуто в знамя, а солдаты слились с народом.[270] Мятеж быстро распространился от одного полка к другому: восстали Семеновский, Измайловский, Литовский, а затем и Преображенский. Эти полки, хоть и носили по-прежнему гордые имена, были укомплектованы в основном резервистами, единственной мечтою которых было не оказаться в числе отправленных на фронт. Надо ли говорить, что преданность режиму была для них пустым звуком. Разве что мундиры выделяли их из народной гущи. Поток рабочих, солдат, дерущих глотку женщин, детей, студентов, воздев над головами знамена и полотна кумача, затопил улицы. Мятежники хлынули толпою в Петропавловскую крепость, отворили двери казематов, подожгли Окружной суд, овладели Арсеналом, разгромили полицейские участки. Силам правопорядка ничего не оставалось, как попрятаться по углам. Внезапно из казарм выступил с оркестром во главе гвардейский Павловский полк и присоединился к восставшим – оказавшийся свидетелем Шарль де Шамбрен наблюдал за тем, как батальон за батальоном шествуют сомкнутым строем под водительством унтер-офицеров. «Инстинктивно я последовал за ними, чтобы посмотреть, куда они направляются, – писал он. – Они направлялись на Дворцовую[271] площадь – я был ошеломлен, поняв, что они движутся на Зимний дворец. Когда они входили туда, часовые отдавали им честь. И вот они заняли, заполонили его. Подождав несколько мгновений, я увидел, как императорский штандарт медленно сползает по флагштоку, движимый вниз невидимой рукой. И тут же над дворцом вознеслось красное полотнище, я оказался один на один с этой заснеженной площадью, на белом саване которой отпечатались солдатские сапоги, и у меня сжалось сердце».[272]

В это время Родзянко адресует царю ультимативную телеграмму: «Ситуация ухудшается. Необходимо принять немедленные меры. Настал час, когда будут решаться судьбы страны и династии». Поздно: Николай издал указ, который сияющий Протопопов довел до сведения думцев: сессия Думы объявлялась распущенной. Однако в Думе было решено, что ввиду нарушения закона и порядка царский приказ должен игнорироваться. В это время двадцатитысячная толпа, достигнув Таврического дворца, ворвалась во двор и проникла внутрь здания. Но с какой целью? Чтобы защитить депутатов или чтобы истребить их? Как вспоминал депутат Шульгин, даже те думцы, которые годами боролись против самодержавия, почувствовали нечто страшное, угрожавшее всем. Этим «что-то» была «Улица». Ну, а собственные чувства Шульгин описывал так: «Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык

пулеметов доступен уличной толпе». Другой депутат – горячий Александр Керенский – зажигал толпы: «Граждане солдаты, вам выпала великая честь обеспечить безопасность Государственной думы… Арестуйте министров! Берите почту, телеграф, телефон! Занимайте вокзалы и официальные учреждения!» Более уравновешенный Родзянко объявил толпе, что Дума соберется на заседание с целью замены старого режима новым правительством. Фактически Дума провела это заседание, не сходя с места, и был образован «Временный комитет» из двенадцати членов, каждый из которых принадлежал к «прогрессивному блоку». Комитет призван был делегировать председателя Родзянко к премьеру Голицыну и Великому князю Михаилу Александровичу для попытки сломить упрямство царя и добиться создания «министерства доверия». Кстати, Голицын уже подавал государю прошение об отставке, но тот отклонил его.

Одновременно с этим, не теряя времени, в другом зале Таврического дворца революционеры образовали первый Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов. В качестве председателя был избран меньшевик Чхеидзе, а его заместителями – Керенский и Скобелев. Следующим шагом было решение об издании газеты «Известия»; был брошен клич о свержении царизма и о созыве Учредительного собрания.

Так сформировалось двоевластие: власть Думы и власть Совета. Один лишь Керенский заседал в этих двух собраниях сразу. Совет на какое-то время признал легитимность Временного комитета. Но мятежные солдаты вынесли решение, согласно которому они отказывались повиноваться своим бывшим офицерам, признавая правомочными только приказы, изданные Советом. С самых первых собраний создавалось впечатление, что Дума оказалась под контролем солдатской массы.

Час от часу возрастали уличные беспорядки. Иные затерроризированные, но солидные люди вывешивали на своих окнах красные флаги. Реквизированные автомобили были набиты вооруженными мужчинами и горланящими женщинами; солдаты с винтовками на прицеле устроились в позах сфинксов на крыльях машин. Грузовики, частные «моторы», броневики носились по городу на полном газу, дребезжа всеми своими частями. Самозваные «поборники справедливости» арестовывали кого угодно по доносам соседей и прислуги. «Я видел одетых в лохмотьях людей, которые конвоировали подозреваемых в том, что те хотели пограбить в их домах, – писал Шамбрен. – Связанные веревкой и перенумерованные мелом, точно скоты, шли компактной группой городовые. Впереди них горделиво шествовал мальчишка пятнадцати лет, одетый во фригийский

колпак и с саблей наголо. Их вели на убой – иначе и не подумаешь». Несколько дней спустя он записал так: «Толпа налетала на лавки, сжигала двуглавых орлов,[273] раздирала на части эмблемы деспотизма; офицеры срывали с эполет императорские вензеля, которыми они еще недавно так гордились; солдаты расхаживали с винтовками на ремне и цыгарками в зубах – ритуал отдания чести отменен, можно и повольготничать! Матросы шатались по проспектам вразвалочку… Аресты продолжались». Татьяна Боткина, дочь лейб-медика царской семьи, наблюдала из окна за тем, как пьяные солдаты вламываются в лавки и грабят их. «На улице творилось что-то невероятное: пьяные солдаты без ремней и расстегнутые, с винтовками и без, бегали взад и вперед и тащили все, что могли, из всех магазинов. Кто бежал с куском сукна, кто с сапогами, некоторые, уже и так совершенно пьяные, тащили бутылки вина и водки, другие все замотались пестрыми шелковыми лентами… По улицам гарцевали нижние чины конвоя Его Величества, надушенные, напомаженные, с красными бантами, все моментально забывшие то исключительное положение, которое они занимали при дворе, ту ласку и внимание, которое им оказывали Их Величества… Целые дни проводили мы у окон столовой, наблюдая за происходящим на улице. В нашем районе было немного спокойнее…» И все же: «… Всюду солдаты. Не те прежние солдаты, хорошо одетые, спокойные и веселые, а какие-то другие… растерзанные, без ремней, с красными возбужденными лицами, на которых читалось какое-то страшное выражение пьяного, зверского наслаждения».[274]

Перед лицом все усиливающейся волны, захлестнувшей улицы, Совет министров и Вел. кн. Михаил Александрович отправили в Ставку телеграмму в попытке убедить царя подписать указ об отставке всего кабинета министров и назначении в качестве главы правительства личности, а этой личностью мог быть князь Львов. Не прошло и получаса, как из Ставки пришел ответ: «Благодарю за заботу. Его Величество выезжает завтра и примет решение сам».

Тем не менее, несмотря на многочисленные телеграммы, приходящие из столицы, Николай отказывался верить, что ситуация так безнадежна. А ведь самые верные его сторонники многого не просили: всего лишь формирования кабинета, подотчетного парламенту. Если не брать в расчет тех, кто вышел на улицы, большинство населения страны в общем-то не были враждебны монархическому принципу. Почему бы не пойти навстречу этим добропорядочным гражданам да не уступить им в

том немногом, что они просят? Упрямый Николай заявил Голицыну: «Что касается перемен в составе министерства, я считаю их неприемлемыми в нынешних обстоятельствах». И, отвергая веское политическое решение, он отдал предпочтение решению военному. Старый генерал Иванов был отправлен из Могилева в Петроград во главе батальона из 700 георгиевских кавалеров для наведения порядка. Но по пути отважные бойцы узнавали, что город уже находится в руках мятежников. Повсюду на их пути следования встречались революционные солдаты, беспрерывно шли заседания революционных комитетов. Революционная зараза коснулась и бойцов Иванова: многие из них сочувственно отнеслись к восставшим. Находились и такие, которые готовы были продолжать свой путь «наудачу», но им препятствовали железнодорожники. Сравним две точки зрения – описания события у Ольденбурга и Радзинского.

«По пути железнодорожники пытались задерживать поезд; но угроза полевым судом оказалась достаточной. На станциях ближе к столице встречались кучки „революционных“ солдат; ген. Иванов в виде меры воздействия ставил их на колени. Сопротивления не было…»… В 12 час. 20 мин. ночи с 1-го на 2-е марта была послана ген. Иванову телеграмма от имени государя: «Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать» (Ольденбург С. Т. 2, с. 246–247, 248). Вечером 1 марта отряд генерала Иванова достиг Царского Села. До Петрограда он так и не доехал.[275] Понимая неизбежность опасности, императрица телеграфировала из Царского Села Николаю: «Уступки неизбежны. Уличные бои продолжаются. Многие части перешли на сторону врага. Аликс».

В ночь на 28 февраля два специальных поезда – царский и для свиты – выехали из Могилева в Царское Село. Николай телеграфирует жене: «Выехали сегодня утром в пять часов. Постоянно мыслями с тобой. Погода превосходная. Ожидаем, что у тебя все хорошо. Многочисленные войска отозваны с фронта».

По мере того, как царский поезд приближался к Петрограду, новости становились все более угрожающими. Рассказывали, что Вел. кн. Кирилл вывел из казарм с развернутыми знаменами Гвардейский экипаж (многие матросы которого служили на борту яхты «Штандарт» и лично знали царскую семью) и – по-прежнему с царскими вензелями на погонах, но и с красным бантом на кителе – привел его к Таврическому дворцу присягать Думе. Как он – двоюродный брат царя, который должен был бы явить собою образец лояльности, – мог так поступить?[276] Теперь революционеры заняли подступы к столице. На рассвете один из офицеров объявил, что путь на Царское Село перерезан двумя

ротами, вооруженными пушками и пулеметами. Разбуженный Воейковым, Николай облачился в домашний халат и решил ехать через Первопрестольную. «Москва останется мне верной», – думал он.

Но на маленькой станции Дно он узнает о том, что и московский люд охвачен пожаром революции. Тогда, следуя советам своего окружения, он решил искать убежища в Пскове, в ставке командующего Северным фронтом генерала Рузского: он думал, оттуда будет проще совладать с мятежным Петроградом. Государь был столь спокоен, что по временам окружавшие его люди задавали себе вопрос, имеет ли он хоть сколько-нибудь ясное представление о положении вещей. «Я не уставал любоваться им, – скажет после генерал Дубенский. – Мы три ночи не спали, а он (преспокойно) спал, ел и даже подолгу беседовал со своим ближайшим окружением. Он превосходно владел собою. На мой взгляд, это – психологическая проблема, которая лишила бы мужества самого Льва Толстого».

Наконец 1 марта, в 8 часов, после 40 часов, проведенных в пути, царь прибывает во Псков; генерал Рузский встречает его на платформе. Последние новости: Дума провозгласила, собственной властью, создание Временного правительства с князем Львовым во главе; Гучков занял в этом правительстве пост военного министра, Милюков – пост министра иностранных дел. Чтобы придать кабинету революционную окраску, в него ввели Керенского – пламенного оратора с экстремистскими идеями. Что касается частей, отозванных с фронта с целью водворения порядка, они одна за другой переходили на сторону восставших. Что касается Николая, то он, видя, как на его столе скапливаются телеграммы от Родзянко, Алексеева, Иванова, требующие самых ясных ответов, только вздохнул: «Сперва пойдемте обедать!»

В ночь с 1-го на 2-е марта Родзянко адресует генералу Рузскому еще серию депеш, заверяя, что ненависть к династии достигла в Петрограде угрожающих масштабов и во избежание худшего царь должен срочно отречься от престола. Ну, а государь, как и прежде, бесстрастный, удалился к себе в купе и молился перед иконами.

Между тем в Ставке в Могилеве генерал Михаил Алексеев, будучи в курсе сообщений, которые Родзянко направлял генералу Рузскому, разослал всем командующим русской армией циркуляр, призывавший их присоединить свой голос к его собственному и убедить императора сложить с себя корону. По его словам, это был единственный путь к спасению независимости страны и обеспечить защиту династии. Все генералы, за исключением Эверта, тут же ответили, что считают

этот акт необходимым.

На следующее утро, 2 марта, когда царь сел завтракать, Рузский представил ему отчет о своем ночном обмене мнениями с Родзянко по вопросу об отречении государя от престола. Император прочитал документ, не выказав ни малейшего удивления. Возвратив бумаги генералу, он произнес: «У меня всегда было четкое впечатление, что я родился для несчастья и что все мои усилия, мои самые лучшие намерения, любовь, которую я испытываю к моей родине, – все это роковым образом обернется против меня».

… Во второй половине дня царю стали приносить телеграммы от командующих армиями, убеждавших его отречься. Это было что-то подобное coup de grace.[277] Когда политики убеждают его отречься, это еще понятно: все они любители половить рыбку в мутной воде. Но генералы, эти столпы монархии!.. У него не укладывалось в голове. Почва уходила у него из-под ног. Николай пробормотал: «Да будет так, но я не знаю, таково ли желание всей России». Изрекши это, он надолго замолчал, опустив голову. Свидетель этой драматической сцены генерал Данилов вспоминал: «Его Величество подошел к столу и несколько раз глянул в окно сквозь опущенные шторы. Его черты, в обычное время лишенные выражения, были вытянуты с одной стороны странным движением губ, которое я никогда не наблюдал у него ранее. В глубине души он, несомненно, боролся против такого болезненного решения… И вдруг император повернулся к нам резким движением и произнес твердым голосом: „Я решился. Я отрекаюсь от престола в пользу моего сына Алексея“. Произнеся эти слова, он перекрестился, и мы вслед за ним».

Готовый не сходя с места поставить свою подпись под актом отречения, предварительно выверенным генералом Алексеевым, Николай все же уступил совету генерала Рузского подождать прибытия делегированных Думой депутатов Гучкова и Шульгина.

Два визитера, очень взволнованные, были приняты в вагоне-салоне императорского поезда. Николай обратился к ним с кратким приветствием. Едва все расселись за маленьким квадратным столиком, как Гучков начал дрожащим голосом с места в карьер: «Петроград находится в руках революционеров. Отныне всякое сопротивление бесполезно. Вам ничего не остается, Ваше Величество, как последовать совету тех, кто нас делегировал, и отречься в пользу Вашего сына, учреждая в качестве регента Вашего брата Михаила или другого Великого князя».

«Государь смотрел прямо перед собой, – писал Шульгин, –

спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице: „Эта длинная речь – лишняя“».[278]

Когда Гучков завершил свое изложение, Николай ответил нейтральным тоном: «Я много размышлял обо всем в эти последние дни. Я принял решение отречься от престола… До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея… Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила… Надеюсь, вы поймете чувства отца…»

Это решение Николай принял, проконсультировавшись с доктором Федотовым. Врач сообщил несчастному отцу, что здоровье сына никогда не позволит ему царствовать, и он решил уберечь бедного Алексея от этого испытания. Царь покинул двух депутатов, унеся с собою черновик заявления. Оставшись вдвоем, они признались себе, что были удивлены его внешней бесстрастностью. «Он был отставлен от империи, как капитан от своего эскадрона», – скажут они.

В действительности сердце государя сжалось до боли. В какой-то момент жизни он еще верил в то, что можно было отозвать с фронта достаточное количество полков, чтобы подавить мятеж. Но этим сразу же воспользовались бы немцы. А ведь он дал слово союзникам держаться до победного конца. Нет, решительно не осталось иного решения, кроме избранного Думой, Великими князьями и генералами. По истечении приблизительно часа Николай вернулся к ожидавшим его депутатам и протянул им несколько отпечатанных на машинке листов за своею подписью:

«Ставка

Начальнику Штаба

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь героической нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил

народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной думой признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему Великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.

Николай».

Прочтя этот документ, Гучков потребовал внести несколько мелких изменений в его редакции. Затем все встали из-за стола. Истинный монархист, Шульгин не мог удержаться от того, чтобы не сказать – теперь уже бывшему – монарху: «Ах, Ваше Величество… Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого…» Шульгин не договорил… Государь посмотрел на него как-то просто и сказал еще проще: «Вы думаете – обошлось бы?»

В этот же вечер бывший император занес в свой дневник: «Кругом измена и трусость и обман!»

Тем временем в Царском Селе императрица, еще ничего не ведая об отречении, пишет своему благоверному:

«2 марта 1917 г. Мое сердце разрывается от мысли, что ты в полном одиночестве переживаешь все эти муки и волнения, и мы ничего не знаем о тебе, а ты не знаешь ничего о нас. Теперь я посылаю к тебе Соловьева и Грамотина, даю каждому по письму и надеюсь, что по крайней мере хоть одно дойдет до тебя. Я хотела послать аэроплан, но все куда-то исчезли. Молодые люди расскажут тебе обо всем, так что мне нечего говорить тебе о положении дел. Все отвратительно, и события развиваются с непомерной быстротой. Но я твердо верю – и ничто не поколеблет этой веры, – все будет хорошо… Ясно, что они хотят не допустить тебя увидеться со мною, прежде чем ты не подпишешь какую-нибудь бумагу, конституцию или какой-нибудь ужас в этом роде.

А ты один, не имея за собой армии, пойманный как мышь в западню, что ты можешь сделать? Это величайшая низость и подлость, не слыханная в истории, чтобы задерживать своего государя… Может быть, ты появишься перед войсками в других местах и сплотишь их вокруг себя? Если тебя принудят к уступкам, то ни в каком случае ты не обязан их исполнять, потому что они были добыты недостойным образом… Твое маленькое семейство достойно своего отца. Я постепенно рассказала о положении старшим – раньше они были очень больны… Притворяться перед ними было очень мучительно, Бэби я сказала лишь половину, у него 36,1. Он очень веселый. Только все в отчаянии, что ты не едешь… Лили – ангел, неотлучна, спит в спальне. Мария со мной, мы обе в наших халатах и с повязанными головами».

Перед тем как покинуть Ставку в Могилеве, Николай возложил верховное главнокомандование на генерала Михаила Алексеева и послал прощальный приказ войскам. Он был убежден, что его отречение в пользу Вел. кн. Михаила Александровича автоматически успокоит общественное мнение и утихомирит бунтовщиков. Какое там!.. Когда депутаты Гучков и Шульгин сошли на платформе в Петрограде и объявили толпе, что наследовать Николаю будет Михаил, это заявление было встречено возгласами: «Долой Романовых!.. Николай, Михаил – все один черт!.. Хрен редьки не слаще!»[279]

3 марта, находясь в Могилеве, Николай узнал о том, что Михаил не принял на себя той слишком тяжкой ноши, которая была ему уготована. «Похоже, Миша отрекся, – пометил он в своем дневнике. – Его манифест заканчивается курбетами в сторону Учредительного собрания, выборы которого должны происходить через шесть месяцев. Бог знает, кто надоумил его подписать подобную гадость, – тем более что беспорядки в Питере вроде бы прекратились…» Тем временем из Киева прибыла вдовствующая императрица – попрощаться со своим отрекшимся от престола сыном.

«4 марта. Суббота… К 12 часам поехал на платформу встретить дорогую мать, прибывшую из Киева. Повез ее к себе и завтракал с нею и нашими. Долго сидели и разговаривали… К 8 часам поехал к обеду к Мама́ и просидел с нею до 11 часов».

Мария Федоровна была потрясена. Он попытался ее успокоить. Затем она ушла. Он тоже стал паковать чемоданы, чтобы ехать назад в Царское Село, где его ждали жена с детьми.

Покидая Могилев, он хранил надежду, что отречение вызовет сочувственные отклики у союзников, ради которых он шел на мыслимые и немыслимые жертвы. И что же? Странным образом

во всех зарубежных столицах приветствовали его падение! В Англии большая часть либералов и лейбористов испытала облегчение от самоустранения «тирана». Из Парижа министр вооружений социалист Альбер Тома направил Керенскому телеграмму с поздравлением и выражением братских чувств. Соединенные Штаты, которые сами стояли на пороге вступления в вооруженный конфликт, не скрывали своего торжества перед «утешающими» известиями о событиях в России. Преданный всеми своими вчерашними друзьями, Николай меланхолически раскланялся с офицерами Ставки и подписал прощальный приказ по армии:

«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые войска, исполняйте ваш долг – защищайте доблестную нашу Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников. Да благословит вас Бог и да ведет к победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий». Но Временное правительство запретило его публикацию.

8 марта 1917 года. «В 10.30 я простился со всеми чинами штаба и управления. Дома прощался с офицерами и казаками конвоя и сводного полка – сердце у меня чуть не разорвалось. В 12 часов приехал к Мамá в вагон… и остался сидеть с ней до 4.30».

В 4.45 Николай уехал из Могилева. «Трогательная толпа людей провожала», – запишет он. Слабое утешение… Обняв генерала Алексеева, он вошел в вагон. «Тяжело, больно и тоскливо»…

Полковник Романов – уже не самодержец – возвращался к семье…

Глава четырнадцатая
«L'Ange approche…»

Когда новость об отречении императора дошла до Царскосельского дворца, императрица поначалу отказывалась ей поверить. Но 3 марта явился Вел. кн. Павел Александрович и подтвердил ей это сообщение. Она слушала его и содрогалась, опустив голову, словно погруженная в молитву; затем подняла голову и сказала: «Если Ники так поступил, значит, так и было нужно. Я храню веру в милосердие Божие. Бог не оставит нас». И добавила с грустной улыбкой: «Я больше не императрица, но я остаюсь сестрой милосердия. Коль скоро император теперь – Миша, я займусь моими детьми, моим госпиталем, мы поедем в Крым». Но и эта последняя надежда быстро растаяла как дым. Вечером того же дня Александра Федоровна узнала о том, что и Михаил Александрович отрекся и что публичными делами теперь будет заниматься Временное правительство – вплоть до созыва Учредительного собрания, которое и провозгласит будущий режим России. Следуя примеру столицы, взбунтовался гарнизон Царского Села. Прислуга повиновалась теперь неохотно, скрепя сердце. Пятеро детей едва оправились от кори. Повергнутая в ужас, изнуренная царица каждый день ждала телеграммы от супруга. Утром 8 марта она приняла у себя в салоне, под шпалерой с изображением Марии-Антуанетты, нового командующего Петроградским военным округом – генерала Корнилова. Временное правительство возложило на него обязанность сообщить ей, что и отрекшийся император, и она сама взяты под арест – «для гарантирования их безопасности». Как вспоминал Пьер Жильяр, отчаяние императрицы переросло все мыслимые и немыслимые представления, но великое мужество по-прежнему не покидало ее.

Наконец она получила депешу, извещавшую ее о том, что Николай прибудет назавтра. Тогда она попросила Жильяра ввести маленького Алексея «в ход событий», а сама она предупредит дочерей. Узнав от своего воспитателя, что его отец отрекся, Алексей спросил с удивлением: «В таком случае кто же будет императором?» – «Теперь – никто», – ответил Жильяр. «Если больше нет царя, кто же будет править Россией?» И – ни слова о себе… И снова – уже в который раз – швейцарца покорила скромность этого дитяти царственных кровей. В четыре часа пополудни ворота дворца были заперты. Часовые стояли теперь не затем, чтобы охранять покой императорских особ, а затем,

чтобы сторожить пленников.

Когда смеркалось, вокруг дворца раздалась пальба. Что это? Штурм царской резиденции революционными ордами? Да нет: это была пока еще игра. Красногвардейцы забавы ради убивали в парке оленей. Та часть огромного здания, где находилась семья, была погружена в молчание и мрак. В других помещениях звучали песни, взрывы хохота, пьяные возгласы. Солдаты быстро нашли путь к винным погребам.

Тем временем царицу настигла весть о еще одном несчастье. Могила Распутина оказалась разорена революционерами. Что ж! В глазах Александры Федоровны поругание останков ее Друга только укрепит силу старца на Небесах.

9 марта императорский поезд прибыл на вокзал Царского Села. Не успел Николай ступить ногою на платформу, как сопровождавшие его многочисленные офицеры бросились врассыпную, словно зайцы, со страхом оглядываясь по сторонам, – очевидно, из боязни быть узнанными. Сопровождавшие бывшего царя члены Думы передали его из рук в руки новому коменданту. Но ворота дворцовой решетки на запоре. Часовые отказываются пропустить при-ехавших без приказа офицера службы. Наконец таковой появился. «Кто там?» – спросил он. «Николай Романов!» – прорычал часовой. «Открыть ворота бывшему царю!»… Проходя по дворцовым покоям, царь шагал мимо толп насмехающихся солдат; о том, чтобы обнажать голову при его появлении, теперь не могло быть и речи… Первое, куда он направился, была детская, где его ожидала Александра Федоровна. «Maman, бледная, постаревшая, с огромными, широко раскрытыми блестящими глазами, сидела в кресле, – вспоминала Анна Вырубова. – Рядом с нею была Ольга. Снаружи – охранник. У двери – охранник. Лица людей странные: жестокие, издевательские. Ожидали рара. Он явился и низко склонил голову, задыхаясь от рыданий. Maman подошла к нему и прошептала по-русски: „Прости меня, Николай“. И он, словно извиняясь перед стражами, робко обнял ее и ответил сквозь слезы: „Это я, я сам во всем виноват“, – вспоминала Анна Вырубова.» (*Франц.*).

Вокруг соединившейся в царскосельских покоях четы не осталось больше никого, кроме немногих преданных друзей. Анна Вырубова по приказу властей была взята под арест и увезена прочь. Но еще оставались на месте обер-гофмейстерина Зизи Нарышкина, обер-гофмаршал граф Бенкендорф, преданные Алексею наставники, мосье Жильяр и мистер Гиббс, врач Евгений Боткин да несколько человек из прислуги. Каков же был странный контраст между этими камер-лакеями в белых гетрах и с

начищенными пуговицами и расхристанными, неопрятными, нечесаными солдатами, расхаживавшими по залам, надвинув картуз на уши, луская семечки и выплевывая шелуху на ковры. Жильяру приходилось вмешиваться, чтобы не позволять им слишком часто заглядывать в комнату Алексея, куда они совали свой нос просто ради праздного любопытства. Но что более всего ошарашило ребенка, так это предательство «дядьки» – матроса Деревенко,[280] который пестовал его десять лет подряд – носил на руках, как мог, утешал в часы недуга, порою разминал ему больные коленки… И вот теперь, после отречения Николая, Деревенко стал обращаться с наследником с нарочитой суровостью. «Я увидела матроса Деревенко, который, развалившись на кресле, приказывал Наследнику подать ему то то, то другое. Алексей Николаевич с грустными и удивленными глазками бегал, исполняя его приказания».[281] Вскоре Деревенко покинул дворец; зато другой матрос по фамилии Нагорный, привязанный к Алексею, остался, выказывая мальчику ненарушимую преданность.

Согласно распорядку, установленному Временным правительством, семья отрекшегося императора не имела права общаться с внешним миром. Переписка перлюстрировалась. Каждый предмет, который пленники получали с воли, подвергался тщательному исследованию: тюбики с зубной пастой выдавливались, в банки с вареньем солдаты залезали пальцами, а плитки шоколада пробовались на зуб, прежде чем передавались тем, кому они были предназначены.

Огражденная часть парка была зарезервирована для прогулок «граждан Романовых» под постоянным наблюдением солдат. Эти солдаты подчинялись полковнику Кобылинскому – эсеру со стажем, но полному внимания к своему бывшему монарху. Надзор за внутренней жизнью был поручен другому военному – полковнику Коровиченко, перешедшему на сторону народного дела. Оба находились в подчинении у министра юстиции – Александра Керенского, единственного социалиста, взятого в состав Временного правительства. Этот 36-летний присяжный поверенный обладал сложной, темной, сверхчувствительной и нервной натурой. Превосходный оратор, Керенский испытывал легкое опьянение, когда обращался к толпе. Как истинный патриот, он стоял за продолжение войны на стороне союзников до победного конца. Враг самодержавия, он все же мечтал видеть себя покровителем царской семьи. Человек левых взглядов, он тем не менее опасался влияния большевиков и искал способы упредить их.

Когда Керенский впервые предстал перед очами отрекшегося

монарха, им овладело смешанное чувство уважения и презрения. «Когда Николай II был всемогущ, – писал он, – я сделал все, что мог, чтобы содействовать его падению, но к поверженному врагу я не испытывал чувства мщения. Напротив, я хотел внушить ему, что революция… великодушна и гуманна к своим врагам, и не только на словах, но и на деле… Стоило мне, подходя к царю, окинуть взглядом сцену, и мое настроение полностью изменилось. Вся семья в полной растерянности стояла вокруг маленького столика у окна прилегающей комнаты. Из этой группы отделился невысокий человек в военной форме и нерешительно, со слабой улыбкой на лице направился ко мне. Это был Николай II… Он не знал, как я себя поведу. Следует ли ему встретить меня в качестве хозяина или подо-ждать, пока я заговорю?… Я быстро подошел к Николаю II, с улыбкой протянул ему руку… Он крепко пожал мою руку, улыбнулся, почувствовав, видимо, облегчение, и тут же повел меня к семье… Александра Федоровна, надменная, чопорная и величавая, нехотя, словно по принуждению, протянула свою руку. В этом проявилось различие в характере и темпераменте мужа и жены. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна, умная и привлекательная женщина, хоть и сломленная сейчас… обладала железной волей. В те несколько секунд мне стала ясна та трагедия, которая в течение многих лет разыгрывалась за дворцовыми стенами».[282] Обратившись к Александре Федоровне, Керенский сказал ей: «Английская королева ждет от меня новостей от бывшей императрицы». Как вспоминает Жильяр, при этих словах Александра Федоровна вздрогнула и густо покраснела – ведь это в первый раз ее так титуловали! Она ответила, что чувствует себя ничего, но, как всегда, страдает сердцем. До конца своего посещения Керенский оставался холодным, учтивым и точным. Явившись, чтобы удостовериться, не нуждаются ли пленники в чем-нибудь, он ушел удовлетворенный. Для поездок Керенский пользовался одним из частных императорских авто с шофером из царского гаража. Несмотря на все предубеждения против него, Александра Федоровна признавала его человеком вполне корректным.

Но не такими были солдаты охраны. Каждый раз, когда пленники выходили в сад, они конвоировали их, неотступно следуя за ними, примкнув штыки. Снаружи к ограде парка липли толпы зевак, желавших посмотреть на прогулки императорской семьи. Порою Николая обшикивали и освистывали, а появление его дочерей подчас порождал поток гривуазных комментариев. «У нас был вид каторжников в окружении стражей, – писал Жильяр. – Инструкции менялись каждый день, а может быть,

офицеры толковали их каждый на свой лад!» Один из них отшатнулся с оскорбленным видом, когда Николай протянул ему руку. «Отчего же так, друг мой?» – спросил царь ласковым голосом. «Я вышел из народа, – ответил тот. – Когда народ протягивал вам руку, вы никогда не протягивали ему свою. А сегодня я не подам вам руки». Другой офицер попытался отобрать у царевича его любимую игрушку – маленькое ружье. Ребенок разрыдался, и потребовалось вмешательство Кобылинского, чтобы ружье вернули владельцу. Но все равно ребенку разрешалось играть им только в комнате. Здесь, в Царском, Николай пилил дрова и занимался огородом; в огородничестве участвовали и другие узники. Александра Федоровна наблюдала за этими сценами, неподвижно сидя в своем кресле-каталке.[283]

«Хохотать над больным и несчастным человеком, кто бы он ни был, – пишет Горький, – занятие хамское и подленькое. Хохочут русские люди, те самые, которые пять месяцев тому назад относились к Романовым со страхом и трепетом, хотя понимали смутно их роль в России». (Горький М. Несвоевременные мысли. – М., 1990. С. 63–64).

«Днем работали в лесу, спилили четыре ели, – пометил Николай. – Вечером взялся за чтение „Тартарена из Тараскона“. Николай часто развлекал супругу и дочерей чтением вслух. С улыбчивой покорностью, с юношеским оптимизмом реагировали царские дети на все лишения, все унижения, выпавшие на их долю. Чтобы занять свое потомство делом, Николай устроил домашние занятия – сам он, преобразившись в учителя, взялся за преподавание арифметики, истории и географии, императрица – закона Божьего, доктор Боткин – русской словесности, Гиббс обучал английскому, а Жильяр – французскому языкам.

В этой атмосфере монотонной жизни, бесправия и тоски Николай по-прежнему удивлял свое окружение учтивостью и уравновешенностью – было похоже на то, что, оказавшись на самом дне пропасти, он почувствовал облегчение. Как если бы Бог, ниспослав ему такое испытание, решительно заявил ему о своем существовании. Разумеется, Николай порою размышлял о трагической судьбе Людовика XVI. Но тут же гнал от себя эти мысли прочь. Русские революционеры не представлялись ему такими алчущими крови, как французские. При всем своем желании низложения монархии они в глубине души хранили почти что религиозное почтение к царю, оставшееся от предков. „Император все еще необычайно индифферентен и спокоен, – писал Морис Палеолог. – Со спокойным, беззаботным видом он проводит день за перелистыванием газет, за курением папирос, за комбинированием пасьянсов (точнее: головоломок (*puzzles*). –

С.Л.) или играет с детьми. Он как будто испытывает известное удовольствие от того, что его освободили наконец от бремени власти“».[284]

Поначалу тайным желанием Николая было, чтобы Временное правительство позволило ему отбыть с женою и детьми в Крым, к себе в Ливадийский дворец. Там он смог бы воссоединиться с другими членами многочисленного семейства, в том числе со своим дядюшкой Николаем Николаевичем – бывшим Верховным главнокомандующим. Но такая поездка через охваченные пожаром революции губернии представлялась на тот момент немыслимой. Оставалось изгнание за рубежом – Керенский как будто благоприятно относился к этому. Но, увы, доступ в скандинавские страны невозможен из-за немецкой блокады. А что же привилегированный союзник – Франция? До того ли ей, чтобы принимать у себя низложенного императора, когда немцы в 80 километрах от Парижа! 19 марта (1 апреля) 1917 года посол Великобритании во французской столице лорд Берти записал следующее: «Не думаю, чтобы бывший царь и его семья были желанными во Франции. Царица не только по рождению, но и по своим чувствам – истинная boche».[285] Остается Англия, куда легко можно доплыть из порта Романов.[286] Николай – кузен короля Англии Георга V, причем внешнее сходство между ними было почти как у братьев-близнецов. 8(21) марта посол Великобритании в Петрограде сэр Джордж Бьюкенен передал новому министру иностранных дел Милюкову ноту на словах, согласно которой «Его Величество король и правительство Его Величества будут рады предоставить бывшему российскому императору убежище в Англии». Одновременно Керенский получил, при посредничестве датского министра Скавениуса, заверение германского правительства в том, что в этом случае никакая субмарина не атакует британский крейсер с царственными изгнанниками на борту. Казалось, дело сдвинулось. Но никакое решение не могло быть принято до окончания следствия по делу бывшего императора и его супруги, запущенного в России. Более того, рабочие на многочисленных заводах требовали показательной расправы над «вампирами Романовыми». Когда в Москве Керенский выступил перед местным советом, его встретили возгласы толпы: «Казнить царя!» Бравируя перед озлобленностью своих слушателей, оратор гордо ответил: «Этого никогда не случится, покуда я у власти… Я не хочу быть Маратом русской революции!» Но вскоре после этого уже Петроградский совет потребовал заключения бывшего царя в крепость. Среди солдат ходили упорные разговоры, что заговорщики-монархисты готовятся освободить царскую семью.

До сознания Керенского дошло, что чем дальше, тем труднее будет примирить народ с отъездом бывшей царской семьи в Англию.

Одновременно с этим и в правительственных кругах Лондона произошел трагический поворот. Явившись пред светлые очи короля Георга, премьер Ллойд-Джорд доложил ему, что страна враждебно относится к идее предоставления убежища бывшему царю и его семье. В случае, если эти нежеланные гости ступят на британскую землю, могут взбунтоваться рабочие кварталы. Причина понятна. В конце июня сэр Джордж Бьюкенен встретился с министром иностранных дел Терещенко, сменившим на этом посту Милюкова, и объявил ему со слезами на глазах, что его правительство, по соображениям внутренней политики, отказывается предоставить бывшему императору убежище. Тот факт, что Николай приходится английскому королю кузеном, а Александра Федоровна – любимой внучкой королеве Виктории, не поколебал твердости Ллойд-Джорджа. Традиция оказалась преданной. Николай оказался брошен в несчастии теми, кто называл себя его друзьями. Да и весь мир отвернулся от него. Заявления Временного правительства о готовности продолжать войну на стороне союзников оказалось достаточно, чтобы эти последние признали его с энтузиазмом. Даже в Соединенных Штатах президент Вильсон поспешил признать новый режим, который, как он себе представлял, освободил Россию от «необузданного самодержца».

Тем временем Ленин, еще находившийся в изгнании в Цюрихе, лихорадочно разрабатывал самые авантюристические планы возвращения в Россию. 12 марта 1917 года он телеграфировал свои приказы петроградским большевикам:

> *Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству, Керенского особенно подозреваем, вооружение пролетариата – единственная гарантия, немедленные выборы в Петроградскую думу, никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград.*
>
> *Ульянов*
>
> *(Соч., т. 23, с. 287.)*

Вынеся все эти решения, он вступает в переговоры с представителями кайзера в Берне с целью попытки добиться разрешения на переезд в Россию через Германию. Вполне естественно, немцы согласились на переезд в Россию человека,

который пропагандирует разложение армии и заключение сепаратного мира на любых условиях. В одном с ним вагоне, не то второго, не то третьего класса, без права выходить по пути следования, ехала его жена Надежда Крупская и еще семнадцать товарищей по изгнанию.[287] Прибытие Ленина в Петроград в апреле 1917 года обернулось апофеозом, блестяще срежиссированным большевиками: море кумача, оваций, букетов, речей. Его приземистая фигура, круглое скуластое лицо, острая бородка и стальной взгляд быстро снискали популярность. С первого же взгляда было ясно, что он явил себя как предводитель грозной партии. Благодаря своему авторитету и красноречию большевики усилили свое воздействие на исполком Советов. Временному правительству, вышедшему из либеральной буржуазии, все в большей степени приходилось считаться с этим органом, состоящим из солдат и рабочих, презиравшим парламентские методы и претендовавшим быть единственным выразителем воли трудящихся классов. Ленин поставил на повестку дня: «*Немедленное заключение мира, заводы – рабочим, землю – крестьянам, власть – Советам*». Под его влиянием в народе быстро распространялись идеи пацифизма. Не в пример Керенскому, который готов был заключить мир только после победы, Ленин и его соратники требовали окончания «империалистической бойни».

20 апреля улицы заполонили манифестанты под лозунгами, враждебными Временному правительству и продолжению войны. Обеспокоенный большевистской пропагандой в армии, Керенский отправился на фронт и предпринял попытки убеждать солдат провести «революционное наступление». Первый успех под Тарнополем: российские войска вклинились в австрийские линии. Позабыв о своем бедственном положении и несчастии, постигшем его семью, окрыленный этой победой Николай заказал молебен в дворцовой церкви. Но вскоре порыв войск Керенского иссяк, и «солдаты свободы» отступили. Этот провал был немедленно использован большевиками, обвинившими Временное правительство в том, что оно напрасно положило тысячи душ. Используя в своих целях народное недовольство, они даже предприняли в начале июля попытку поднять массы на антиправительственное выступление. Правительство ответило арестами и преследованиями. Некоторые мятежные полки, расквартированные в Петрограде, были отправлены на фронт. Чтобы избежать ареста, Ленину пришлось бежать в Финляндию, где он перешел на нелегальное положение. В Петроград вернулось спокойствие, но Керенский ожидал новых подрывных актов. Кстати, не дремали и монархические группы,

действовавшие в тени и грезившие о реванше. Некоторые из них мечтали о восстановлении монархии под скипетром молодого Великого князя Димитрия. Другие мечтали под покровом ночи вывезти царя в автомобиле и доставить в порт, где он мог бы сесть на английский корабль.

Все эти слухи пугали Керенского. Он снял с поста главы Временного правительства добродушного князя Львова – поклонника Льва Толстого. И вот он разом стал председателем Совета министров и военным министром! Взяв на себя этот двойной груз ответственности, он посчитал опасным дальнейшее пребывание царской семьи в Царском Селе. Нужно любой ценою удалить ее в какую-нибудь губернию, свободную от политических волнений. Николай умолял отправить его с семьей в Ливадию, но Керенский посчитал таковое невозможным. После долгих колебаний он выбрал местом пребывания бывших властителей всея Руси сибирский город Тобольск. Не потому ли был выбран именно этот отдаленный угол, что туда еще не успела дотянуться железная дорога, что население там тихо-мирно живет-поживает и добра наживает? И не потому ли, что там кончило свои дни столько впавших в опалу государственных мужей? Как бы там ни было, так поступив, Керенский рассчитывал удовлетворить экстремистов: будет справедливо, если вслед стольким революционерам сам царь отведает прелестей сибирской ссылки! Утвердившись в этом своем решении, он отправился к Николаю и заявил ему, что, по соображениям безопасности, ему с семьей придется готовиться к отъезду из Царского Села. Дать ответ на вопрос о направлении движения Керенский категорически отказался, сказав только, чтобы семья взяла с собою большое количество теплой одежды. Поначалу смущенный, Николай глянул министру прямо в глаза и пробормотал: «Я не боюсь. Я вам доверяю».

В этот день Жильяр пометил в своем дневнике: «Нам сообщили, что следует запастись теплой одеждой. Значит, нас повезут не на юг. Какой обман!» Великодушный Керенский соизволил разрешить свидание Николая с его братом – Вел. кн. Михаилом. У братьев было столько всего сказать друг другу, что они попросту не находили слов для выражения своих чувств и потому больше переминались с ноги на ногу друг перед другом, нежели пытались говорить; Керенский же во время этого свидания демонстративно затыкал уши, показывая, что ему наплевать с высокой колокольни, о чем они там беседуют. Отъезд был назначен на вечер того же дня. К полуночи семья была готова. Но ей пришлось ждать, в неуверенности и тревоге, до пяти часов утра, пока железнодорожники наконец подготовили два

предназначенных для этого путешествия поезда. Опальную семью сопровождал конвой из 327 солдат и 7 офицеров. Поезд шел под флагом Страны восходящего солнца, и на вагонах, окна которых были зашторены, красовались таблички японской санитарной миссии. (Знал бы Николай в эпоху Порт-Артура и Мукдена, что ему придется путешествовать под флагом своего самого злейшего на тот момент противника, он ужаснулся бы!) Керенский проводил пленников до вокзала. «Впервые я увидел бывшую царицу только как мать своих детей, взволнованную и рыдающую. Ее сын и дочери, казалось, не столь тяжело переживали отъезд, хотя и они были расстроены и в последние минуты крайне возбуждены».[288] Николай, как обычно, держал контроль над своими нервами и улыбался блеклой улыбкой. Ему было неведомо, что глава Временного правительства поддался очарованию своего главного пленника. Позже он напишет об этом так: «В моих глазах он более не был бесчеловечным монстром, как я представлял его себе… Это был человек чрезмерно сдержанный и нерешительный… Лишенный жизненности, он также не обладал инстинктивным знанием людей и жизни… Ничто из происходящего не было достаточно чувствительным, чтобы удивить его. Мне удалось получше рассмотреть его лицо. За этой улыбкой, за этими колдовскими глазами я угадывал что-то смертное, заледенелое». (*Франц.*)

* * *

… Первого августа в шесть часов утра поезд отошел от перрона. В купе, помимо опального императора с семьей, заняли места те немногие, по-прежнему преданные ему люди, которым дозволили следовать за царем: генерал Татищев, князь Василий Долгорукий, доктор Боткин, фрейлина Анастасия Гендрикова, преданный царевичу матрос Нагорный, Пьер Жильяр и еще несколько человек. Позже к ним присоединились наставник царевича Гиббс, доктор Владимир Деревенько[289] и еще одна фрейлина – баронесса София Буксгевден.

Переезд проходил без инцидентов. Вокзалы, где останавливался поезд, оцеплялись войсками. Николай выходил на перрон, чтобы размять ноги. Совершив маленькую прогулку на остановке перед Вяткой, он отметит в своем дневнике: «Жара и пыль, как вчера. На всех станциях должны были по просьбе коменданта завешивать окна: глупо и скучно». (Запись от 2 августа.) «Перевалили Урал, почувствовали значительную прохладу. Екатеринбург проехали рано утром. Все эти дни часто

нагонял нас второй эшелон, со стрелка́ми – встречались как со старыми знакомыми». (4 августа.) В Тюмени царская семья и сопровождавшие ее лица погрузились на три парохода. 5 августа флотилия, спускаясь вниз по Тоболу, прошла мимо села Покровского – родины Распутина… Дом покойного старца выделялся среди других построек своими размерами. Собравшись на палубе, изгнанники обратили к нему свои печальные взгляды, вспоминая своего погибшего друга. Им мерещилось, что его призрак посылает им привет из-за оконных стекол.

Наконец 6 августа флотилия достигла Тобольска. Для размещения опального семейства был предназначен губернаторский дом – большое белое и удобное, но вдрызг разоренное здание; пока его приводили в порядок, путешественники оставались жить на пароходах. Запись в царском дневнике от 8 августа: «Пошли вверх по реке Иртыш верст за десять, пристали к правому берегу и вышли погулять. Прошли кустами и, перейдя через ручей, поднялись на высокий берег, откуда открывался такой красивый вид…» Несколько дней спустя царь с царицей и детьми худо-бедно обустроились в губернаторском доме, а свита разместилась в большом купеческом особняке, находившемся на другой стороне улицы.

Охрана состояла из солдат, доставленных сюда вместе с изгнанниками из Царского Села. Они находились в подчинении все у того же полковника Кобылинского – человека доброй воли, который, как мог, старался облегчить участь пленников. Благодаря ему их жизнь протекала спокойно, согласно точному распорядку. Но царь с детьми страдали от того, что им не хватало пространства: для прогулок им отводился только маленький огород и двор, обнесенный палисадником. Как и прежде, в Царском Селе, Николай пилил дрова, копал и поливал грядки, занимался прополкой и разравнивал землю граблями. Порою прохожие, увидев его в щелочку меж досками ограды, приветствовали его или даже осеняли крестом: в этом краю революция еще не перепахала людских сердец. Торговцы посылали пленникам посылки с едою, монахини из ближнего монастыря приносили им пироги, окрестные крестьяне – яйца и молочные продукты. Царские дети продолжали учебу под наставничеством отца, Жильяра и Гиббса. Чтобы убить время, разгадывали головоломки, играли в домино. С первыми же лучами солнца все выходили на воздух. Дочь доктора Боткина, получившая разрешение приехать к своему отцу в Тобольск, свидетельствует:

«Из окон моей комнаты был виден весь дом, где помещались Их Величества, и площадка, отведенная для прогулок… Его

Величество, в солдатской шинели и защитной фуражке, своей обычной походкой ходил взад и вперед от забора до забора. Великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна в серых макинтошах и пуховых шапочках – синей и красной – быстро шагали рядом с отцом, а Анастасия и Мария, сидя на внутреннем заборе, отгораживающем город и кладовые, разговаривали с караульными солдатами».[290]

Богослужения поначалу устраивались в самом доме, в большом зале на втором этаже. Царь удивлялся тому, что ему не разрешалось даже сходить в церковь. «Ну почему вы не отпустите нас погулять в город? Неужто вы боитесь, голубчик, что я убегу?» – говорил он своим стражам. Наконец 8 сентября, по случаю праздника Рождества Богородицы, всей семье разрешили отправиться в город на церковную службу. Ее сопровождали многочисленные часовые. «Идиотское окружение», – пометит царь в своем дневнике. Тем не менее благодаря помощи местного священника и прислуги им удалось втихомолку наладить контакт с внешним миром. Александра Федоровна тайком пишет письмо своей наперснице Анне Вырубовой, заверяя ее в своей вере в Бога и любви к России, несмотря ни на какие ниспосланные ей судьбою испытания: «Дорогое мое дитя, мы никогда не расставались, все простили друг другу и только любим – я временами нетерпеливая, но сержусь, когда люди нечестны и оскорбляют тех, кого люблю. Не думай, что я смирилась (внутренне совсем смирилась, знаю, что все это ненадолго). Целую, благословляю, молюсь без конца».[291] И ранее: «Какая я стала старая, но чувствую себя матерью страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь и все согрешения. Ты знаешь, что нельзя вырвать любовь из моего сердца и Россию тоже, несмотря на черную неблагодарность к государю, которая разрывает мое сердце, – ведь это не вся страна. Болезнь, после которой она окрепнет. Господи, смилуйся и спаси Россию». (Там же.)

Так как Анна Вырубова собиралась отправить ей новую посылку, царица отговаривает ее – у нее, мол, недостатка нет ни в чем.

По правде говоря, главным, от чего страдал Николай, было отсутствие новостей. Единственным источником сведений о военно-политической ситуации в стране у него оставалась только крикливая местная газетенка, печатавшаяся на оберточной бумаге. По редким телеграммам, которые публиковал этот листок, он с ужасом следил за тем, в какую пропасть катится страна. В Петрограде Керенский облачился уже в одежду контрреволюционера, а большевики все наглели, торопясь

захватить власть. Наступление на фронте решительно захлебнулось, и русские войска все более откатывались назад под натиском немцев. Все же в сердце опального государя забрезжила надежда, когда до него дошли сведения, что главнокомандующий русской армией генерал Корнилов обратился к Керенскому с предложением о походе на Петроград с целью положить конец большевистской агитации. Сколь же горестным было его разочарование при известии, что Временное правительство отвергло этот единственный шанс на спасение! Результат этого подавленного путча не заставил себя ждать: противопоставив себя друг другу, вместо того чтобы объединиться, Керенский и Корнилов укрепили шансы Ленина. Этот последний, вернувшись из Финляндии 7 октября 1917 года, пропагандировал немедленное вооруженное восстание. Ему в этом помогал некий Лейба Бронштейн, известный как Лев Троцкий, который прибыл несколькими месяцами ранее из Нью-Йорка, а организаторского таланта ему было не занимать.

Судя по тому, что Николай слышал о Ленине, этот человек представлялся ему холодным, негибким доктринером, из породы самых опасных. Не ведающий ни угрызений совести, ни жалости, он готов покрыть Россию трупами ради триумфа своей идеи фикс. Под его влиянием советы, уже контролируемые большевиками, становились все более требовательными, все более угрожающими. Загнанный в западню Керенский не знал, что и предпринять. Банды озверелых дезертиров рыщут по всей стране. Мужики пускают красного петуха по помещичьим усадьбам. Снова разруха на транспорте – армия голодает, нет хлеба и в городах; Россию захлестнула волна актов саботажа. В ночь с 23 на 24 октября 1917 года Керенский вызывает в Петроград несколько надежных полков, запрещает большевистские газеты, подвергает преследованиям Военно-революционный комитет – и большевики не замедлили с ответом: тысячи красногвардейцев, матросов и солдат начали оккупацию города, заполонили вокзалы, почтовые и телеграфные отделения, типографии. Только Зимний дворец, где заседало правительство, еще держался. Напрасно Керенский пытался отбить столицу у мятежников при помощи войск генерала Краснова. Покинутый казаками, он принужден был бежать, переодевшись, в автомобиле под американским флагом. Восставшие тут же подвергли атаке Зимний дворец, на защите которого стояли молоденькие офицеры и недавно сформированный – при осмеянии населения – женский ударный батальон. В Неву вошла большевистская флотилия, – нацелив свои пушки на Зимний, крейсер «Аврора» дал в урочный час холостой выстрел по дворцу; в ночи с новой силой загрохотала

стрельба, и вскоре огромное здание было в руках у красных. Находившиеся там министры были арестованы и препровождены в Петропавловскую крепость, а сама пышная резиденция предана разграблению. Защитницы Зимнего из ударного батальона были доставлены в казармы Павловского полка и там подвергнуты гнусным издевательствам и насилию. На следующей неделе кровавые уличные бои развернулись в Москве – здесь большевики наткнулись на ожесточенное сопротивление юнкеров. Неравный бой продолжался две недели – и наконец красные овладели городом. За мятежом в столицах октябрьский шквал перекинулся и на другие города; хозяином России стал Ленин – и тут же потекли декреты, как из рога изобилия: помещичья собственность на землю отменялась «немедленно и без всякого выкупа», создавался Совет народных комиссаров под председательством Ленина и с включением одних только большевиков, вводился рабочий контроль на промышленных предприятиях, учреждались народные трибуналы, национализировались банки, декларировалось «право наций на самоопределение»[292] – и, пожалуй, самым кошмарным нововведением была политическая полиция, именуемая ЧК.

… Аресты множились, как на дрожжах. «Никогда еще Петропавловская крепость не была так переполнена», – пишет Зинаида Гиппиус. Кого только не свозили туда! Тут были и монархисты, подозреваемые в заговоре, и честные буржуа, которых нечем было попрекнуть, кроме их капиталов, и меньшевики, которые имели неосторожность сделать «не тот» выбор, прислуга, оставшаяся верной своим хозяевам, торгаши, пытавшиеся нажиться на народной беде… Интеллигенты левых взглядов, первоначально принявшие события с энтузиазмом, ошалели – раздув пожар революции, они не знали теперь, как в нем уцелеть. Сам Максим Горький оказался в числе разочаровавшихся. «Он производит **страшное** (выделено в тексте. – *С.Л.*) впечатление, – пишет Зинаида Гиппиус в своем „Петербургском дневнике“. – Темный весь, черный… Говорит – будто глухо лает». Когда она попросила его замолвить слово за нескольких арестованных членов Временного правительства, тот смог лишь сказать: «Я… органически… не могу говорить… с этими… мерзавцами. С Лениным и Троцким». (Многоточия в тексте. – *С.Л.*)

Только к 15 ноября 1917 года новость о падении Петрограда и Москвы достигла опального государя. Почти одновременно с этим он узнает, что русские и германские уполномоченные затеяли переговоры о перемирии. Как истинный патриот, он чувствовал себя облитым грязью от такого предательства со

стороны *своей* армии, *своего* народа. Что же, выходит, и он сам будет принесен в жертву ни за что ни про что? Да, размышлял он, эти Ленин с Троцким образовали дьявольскую упряжь, которая тянет Россию к разорению и бесчестию…17 ноября он записывает в своем дневнике: «Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и Москве! Гораздо хуже и позорней событий Смутного времени». 18 ноября: «Получил невероятнейшее известие о том, что какие-то трое парламентеров нашей 5-й армии ездили к германцам впереди Двинска и подписали предварительные с ними условия перемирия! Подобного кошмара никак не ожидал! Как у этих подлецов большевиков хватило нахальства исполнить их заветную мечту предложить неприятелю заключить мир, не спрашивая мнения народа, и в то время, когда противником занята большая полоса страны?»[293] Впрочем, уже на следующий день патетический тон в его дневнике уступает место рутинному: сильно похолодало, а раз так, то самое лучшее занятие – пилка дров.

Императрица в восхищении душевной силой своего супруга. «Он прямо поразителен – такая крепость духа, хотя бесконечно страдает за страну, но поражаюсь, глядя на него…» И далее: «Мирское все проходит; дома и вещи отняты и испорчены, друзья в разлуке… В Боге все, и природа никогда не изменяется. Вокруг вижу много церквей (тянет их посетить) и горы. Волков везет меня в кресле в церковь – только через улицу – из сада прохожу пешком. Некоторые люди кланяются и нас благословляют, другие не смеют». И чуть ранее: «Вяжу маленькому теперь чулки, он попросил пару: его в дырах, а мои толстые и теплые… Как зимой прежде вязала, помнишь? Я своим людям все теперь делаю: у папы брюки страшно заштопаны, рубашки у дочери в дырах, у мамы масса седых волос. Анастасия очень толста, как Мария раньше была, – большая, крупная до талии, потом короткие ноги – надеюсь, что растет еще. Ольга худая, Татьяна тоже, волосы у них чудно растут, так что зимой без шали бывают…»

В декабре температура упала до 38 градусов мороза. Холод проник и в помещения губернаторского дома; хотя все камины были зажжены, обитатели дома все равно дрожали от холода. Укутанная в шали, императрица в своем кресле-каталке едва могла держать вязальные спицы в озябших пальцах. Зато для Алексея сибирская зима явилась праздником. Никогда еще этого хрупкого и переменчивого отрока, которому как раз исполнилось тринадцать лет, не знали таким жизнерадостным шалуном. Он охотно гулял с отцом в маленьком заснеженном садике, помогал сестрам ставить домашние спектакли – в январе решили

поставить чеховского «Медведя», причем роль помещика Смирнова, приехавшего получить долг у вдовушки с ямочками на щеках и влюбившегося в нее, играл сам глава семейства.

Несмотря на эту кажущуюся беззаботность, Николай опасался, как бы приход большевиков к власти не сказался самым плачевным образом на судьбе тобольских узников. И то сказать, революционные доктрины мало-помалу овладевали и тобольскими солдатами из охранного отряда. Доселе солдаты, прибывшие из Царского Села, выказывали относительно неплохую расположенность к царской семье. Николай с дочерьми часто задавали им вопросы об их прошлой жизни, о деревнях, откуда их призвали на службу, о сражениях, в которых им довелось участвовать. Порою они даже украдкой заглядывали в караульню и играли со своими стражниками в дамки. И вот теперь эти люди, образовав свой солдатский комитет, сменивший бравого полковника Кобылинского, который сам оказался отстраненным от своих функций.

Оставшись без начальства, солдаты стали контролировать ситуацию, как им заблагорассудится. Расходы на содержание пленников были резко снижены. Для управления житьем-бытьем своей маленькой общины Николай предложил образовать – шутки ради – маленький soviet, в который вошли Татищев, Долгорукий и Жильяр. Прозаседав всю вторую половину дня, «Le Soviet Imperial» принял решение в целях экономии рассчитать десять человек из прислуги. Еще раньше Тобольский солдатский комитет постановил ста голосами против 85 последовать примеру фронта и снять с офицеров погоны. Эта мера распространялась и на опального «полковника Романова». Генерал Татищев и князь Долгоруков убеждали его повиноваться во избежание бурных выпадов со стороны солдат. По словам Жильяра, «у государя чувствовалось движение протеста», затем он обменялся взглядом и несколькими словами с государыней, овладел наконец собой и покорился ради своих близких. Что же касается маленького Алексея, то когда он отправлялся в церковь, то прятал погончики под кавказским башлыком, закрывавшим плечи. Как и отец, царевич вел дневник. Записи в нем лишь немного банальнее тех, что выходили из-под пера отца. О чем же писал мальчик, к примеру, 19 марта 1918 года? О том, что на солнце – 12 градусов, а в тени – пять. Что днем играл с Колей – сыном доктора Деревенько – и Толей, сыном поломойки. Ну, а судя по его записи, сделанной на следующий день, в Тобольске потеплело – 13 градусов на солнце и 10 в тени; Алеша играл с Колей в снежки, а пять дней спустя ребята стреляли из лука в мишень. Таковы вот нехитрые детские забавы!

… Вскоре солдатский комитет запретил пленникам даже редкие посещения церкви по праздникам. Упоенный чувством мести, он даже распорядился разнести ледяную катальную горку, которая служила одною из столь немногих утех царской семьи. Раздражение охранных воинов было тем сильнее, что, будучи отрезанными от мира, как и их пленники, они нерегулярно получали жалованье. Революционное правительство по-прежнему не имело своего представителя в этой части Сибири, и данное обстоятельство давало императорскому окружению повод к мечтаниям о побеге царской семьи. Ходили слухи о некоем Соловьеве, который недавно женился на дочери Распутина Марии, проживает в Тюмени, располагает значительными суммами денег и готов выступить. Соловьев завоевал доверие Анны Вырубовой. Но стало ясно, что эта персона – двойной агент, мошенник и прохвост. Кстати сказать, императрица все равно не согласилась бы покинуть Россию: отъезд за границу, по ее собственным словам, означал бы для нее разрыв последних связей, которые соединяют ее с прошлым. В числе таких связей, оборванных новой властью, явился и переход на новый календарь: вместо принятого в православии юлианского календаря с 1 февраля 1918 года вводился европейский – григорианский. Колоссальным ударом для царя явилось пришедшее в марте сообщение о подписании в Брест-Литовске мира между Россией и Германией. В глазах Николая такой позор был равнозначен самоубийству для России. «Я никогда не думал, что император Вильгельм и германское правительство могут унизиться до пожатия рук этим жалким предателям! – восклицал он. – Но они (немцы) не получат выгод от этого: это не спасет их от гибели». Еще одна важная новость: Петроград сделался слишком уязвим для атак контрреволюционеров, и большевики незамедлительно перенесли столицу в Москву.

Месяц спустя, к превеликому удивлению тобольского гарнизона, непосредственно из Москвы прислали нового комиссара, наделенного особыми полномочиями, по фамилии Яковлев. Это был высокий крепкий мужчина, разменявший четвертый десяток, с черной как смоль шевелюрой и учтивыми манерами. Обращаясь к Николаю, он титуловал его «Ваше Величество».

Но решимость его была непоколебима. У него был мандат на перевозку царской семьи к месту назначения, державшемуся в секрете, – там она будет находиться под строгим надзором местного комитета, сформированного в начале 1918 года. «Все мы пребывали в жуткой тоске, – отметил Жильяр. – У нас было предчувствие, что весь мир нас позабыл-позабросил, предоставив

самим себе и милости этого человека. Ну возможно ли, чтобы никто не предпринял ни малейшей попытки спасти (царскую) семью? Где же те, кто еще остался преданным императору?»

Маленький Алексей снова был серьезно болен, лежал в постели, и ни о том, чтобы куда-то везти его, ни о том, чтобы разлучить его с матерью, не могло быть и речи. Со своей стороны Николай категорически отказывался ехать один. «Я никуда не поеду, – заявил он. – Они хотят заставить меня подписать Брест-Литовский мир. Но я скорее отрублю себе правую руку!» Александра Федоровна также сопротивлялась: «Я не отпущу императора одного. Его хотят разлучить с семьей… Его хотят подтолкнуть к чему-то дурному, заставляя его беспокоиться за жизнь родных… Боже мой, какая ужасная пытка! В первый раз в жизни я не знаю, что делать. Я всегда чувствовала вдохновение каждый раз, когда принимала решение, а теперь я не знаю ничего!» Но Яковлев настаивал: мол, если не поедете по доброй воле, я буду вынужден увезти вас силой – или сложить с себя полномочия. В последнем случае комитет, «весьма вероятно, пришлет вместо меня человека, менее разборчивого в средствах».

Наконец был достигнут компромисс: измученная Александра Федоровна решила ехать с Николаем и дочерью Марией. Остальные Великие княжны и царевич присоединятся к ним, когда здоровье царевича восстановится. Свидетель этой семейной драмы Жильяр пишет: «Вечером в 10 ½ часов мы пошли наверх пить чай. Государыня сидела на диване, имея рядом с собой двух дочерей. Они так много плакали, что их лица опухли. Все мы скрывали свои мученья и старались казаться спокойными. У всех нас было чувство, что если кто-нибудь из нас не выдержит, не выдержат и все остальные. Государь и государыня были серьезны и сосредоточенны. Чувствовалось, что они готовы всем пожертвовать, в том числе и жизнью, если Господь, в неисповедимых путях Своих, потребует этого для спасения страны. Никогда они не проявляли к нам больше доброты и заботливости».[294]

Наутро, едва забрезжил рассвет, Николай, Александра Федоровна и Мария сели в так называемые тарантасы, чтобы проделать путь до Тюмени. Впрочем, тарантасам, как известно, полагаются сиденья и рессоры,[295] а это были примитивные неудобные экипажи, лишенные и того, и другого. Вместо подушек слуги принесли солому из хлева. Ноги лошадей увязали в талом снегу. Трясясь и скрипя, «царский поезд» под конвоем молчаливых всадников с трудом достиг Тюмени. Там пленники были пересажены в железнодорожный состав особого назначения, который взял курс на Екатеринбург – город, полностью

находящийся во власти большевиков. Главари местных органов власти сходили за экстремистов, которым бывший царь и его семья нужны были в качестве заложников на случай угрозы сил контрреволюции. Узнав о том, куда им предстоит держать путь, Николай понял, что мышеловка, в которую попал и он сам, и его близкие, захлопывается.

30 апреля 1918 года поезд прибыл на вокзал в Екатеринбурге. Николай, Александра Федоровна и Великая княжна Мария сошли на платформу. Император был одет в драповую шинель, на голове – офицерская фуражка. На супруге и дочери – темные пальто. Все трое исполнены спокойствия, достоинства и немного взволнованы. На вокзале бушевала злобная толпа, требовавшая: «Покажите нам Романовых!» Да, конечно, здесь их любят куда меньше, нежели в Тобольске! Пленников тут же отвезли в «Дом особого назначения», находившийся в центре города и охранявшийся красногвардейцами. «Ипатьевский дом», называемый так по бывшему владельцу, представлял собою массивное белое здание, выстроенное на высоком холме; в нем были просторные, светлые комнаты, обставленные мебелью. К дому примыкал бедный садик; дом с садом были обнесены двойным деревянным забором, фланкированным караульными будками. У дверей пленников уже поджидал член президиума Уральского совета Федор Головощекин, приветствовавший их с насмешкой: «Можете войти, гражданин Романов!» Затем красногвардейцы потребовали от пленников раскрыть ручной багаж для предварительного досмотра. Царь повиновался, но императрица сопротивлялась. Тогда Николай, в свою очередь, заявил: «До сих пор с нами всегда обращались вежливо, и люди, с которыми нам приходилось иметь дело, были джентльменами; но похоже, что здесь…» На это командир отряда грубо оборвал его: мол, тут ему не Царское Село, и если он снова будет «действовать провокационным образом», то его изолируют от семьи и приговорят к каторжным работам. Напуганная Александра Федоровна подчинилась.

Несколько недель спустя настал радостный для троих пленников миг: из Тобольска прибыли царевич и Великие княжны Ольга, Татьяна и Анастасия. Теперь в Ипатьевском доме собралась вся опальная семья. Но мало кому из сопровождавших ее лиц разрешили остаться; первым, к своему глубокому огорчению, с семьею расстался Пьер Жильяр. К концу мая 1918 года в Ипатьевском доме, помимо царя, царицы и их детей, оставались только доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп, фрейлина Демидова и поваренок Седнев. Остальные были отправлены в Тюмень, а некоторые заключены в городские

тюрьмы.

Внутренняя и внешняя охрана Ипатьевского дома состояла из «надежных людей», отобранных среди рабочих местных заводов. Их предводитель Авдеев, законченный алкоголик, обращаясь к царю, называл его не иначе как Николаем Кровавым. Он жил вместе со своим заместителем и дюжиной человек из охраны на том же этаже, что и пленники, и не упускал случая поиздеваться над ними. (Впоследствии Авдеев будет заменен не кем иным, как Яковом Юровским, который станет палачом Романовых.) Когда Авдееву захотелось порыться в императрицыном ридикюле, Николай попытался было остановить его; незамедлительно последовал ответ: «Прошу не забывать, что вы находитесь под следствием и под арестом». Охрана входила в комнаты к пленникам когда хотела, отпуская грязные шутки и горланя песни; Великие княжны не могли избавиться от назойливого присутствия стражников, даже отправляясь в «кабинет задумчивости» – вот уж когда мужчины в гимнастерках изощрялись в скабрезностях! Порою, когда царской семье подавали обед, Авдеев запускал лапу в кастрюлю, чтобы «раньше батюшки-царя» достать себе кусок повкуснее… Для редких прогулок семья выходила в маленький садик – разумеется, и эти прогулки проходили под измывательскими взглядами «комиссаров»… Поскольку Алексей по-прежнему не мог ходить, его носил на руках отец.[296] Итак, после достаточно уважительного отношения во время пребывания в родном Царском Селе, после достаточно комфортного размещения в Тобольске – в Екатеринбурге царская семья была подвергнута строгому режиму политических заключенных.

Однако при всей своей ненависти к этому «отродью кровопийц» их тюремщики признавали, что сами-то по себе пленники вполне безобидны. В заключении царю исполнилось 50 лет, царице – 48. Оба выглядели осунувшимися, истощенными; оба не ведали, что происходит, и не понимали, что еще ждет их впереди. Каштановая бородка государя засеребрилась седыми нитями. Ходил он в солдатской гимнастерке цвета хаки, перетянутой офицерским поясом, и в старых стоптанных сапогах. Простота и учтивость бывшего самодержца изумляли его тюремщиков. Вот как вспоминал один из них – в то время мастер на заводе: «Я хорошо знал, что Николай был из одного с нами теста, но его взгляд, его манеры, его походка были вовсе не теми, что у простых смертных. Бывало, на закате солнца он опускал глаза, и тогда в нем чувствовалась врожденная сила. Я часто думал о том, что в глубине души он презирал всех этих мужланов, всех этих зубоскалящих мужиков, которые стали его

стражниками. И при всем при том Николай Александрович владел собой. Он умел сказать каждому нужное слово приветливым тоном. Голос у него был мягким и ясным, манеры чрезвычайно приличными. Глаза у него были голубыми и приятными. Когда кто-нибудь из наших обормотов (lourdauds), перебрав лишку, делал ему какую-нибудь пакость или говорил ему грубость, он отвечал вежливо и терпеливо. Одежда его была латаной и изношенной. Лакей императора рассказывал, что и до революции он (царь) любил подолгу носить одну и ту же одежду и обувь».

Куда меньше симпатий вызывала у своих стражников императрица. «Она была чванлива, исполнена высокомерия и не захотела бы разговаривать с нами. Она и с виду не походила на русскую императрицу, а скорее на немецкую генеральшу – такие часто встречались среди классных дам и гувернанток… Она сильно похудела, не брала в рот ни крошки… Для нее готовили разве что макароны и манную кашу. Она вязала шерстяные жилеты, вышивала салфетки для вытирания рук, переделывала мужскую одежду и детское белье…» Что же касается царевича, те же свидетели вспоминали о нем как о хрупком, щуплом мальчике, с бледным и прозрачным лицом, любившем делать бумажные кораблики и собирать монетки и пуговицы. В противоположность этому, у его сестер был здоровый и веселый вид, а щеки – розовые, как яблоки.

Но, по правде говоря, не кто иные, как Великие княжны, более всего интриговали стражников Ипатьевского дома. Ни малейших признаков заносчивости и социального превосходства; с виду не поймешь даже, из какого они сословия. Обыкновенные скромняжечки, отзывчивые и на чужую нужду, и на малейшие знаки симпатии. Всегда опрятно одетые, они в то же время не гнушались ни застелить свою постель, ни принести ведро воды. Старшая, Ольга, 22 лет, – нежная, робкая, послушная, с широким, типично русским лицом. Читает все, что ни подвернется под руку, и, очевидно, находит в этом утешительное забвение… Двадцатилетняя Татьяна, высокая и стройная, исполнена природной элегантности, которой, пожалуй, позавидовала бы иная танцовщица. Превосходя красотою Ольгу, Татьяна и более энергична, чем она. Обычно не кто иная, как Татьяна принимает решения в маленькой группе царских детей. Сестры и братишка прозвали ее шутки ради «гувернанткой». Третья – восемнадцатилетняя Мария – пухленькая кокетка, а большие светлые глаза в семье так и называют «марииными блюдцами»… Охотно пишет акварелью, а неотвязная ее мечта – создать

собственный семейный очаг и народить кучу детишек. И, наконец, младшенькая, Анастасия, – ей нет еще семнадцати, а она уже утвердилась как личность! Повадки у нее сплошь мальчишеские – она, пожалуй, охотно лазила бы по деревьям, жаль только не положено по происхождению! А уж как ловко подражает эта проказница манерам и интонациям окружающих – засмотришься! И такая тесная связь объединяет этих четырех сестричек, что они порою подписывают свои письма своими инициалами: «О.Т.М.А», по первой букве от каждого имени. Плен, который они переносят с кротким мужеством, еще более сблизил их. Одежда, украшения, книги – все теперь у них стало общее; инстинкты собственничества, соперничества, зависти – чувства, похоже, неведомые девушкам. Исполненные невостребованной любви, они дарят ее своему младшему брату. Это – так же их ребенок, как и Александры Федоровны. Его хворости повергают их в уныние, а его улыбки наполняют их радостью. Когда ему хорошо, весь дом Ипатьевых преображается. Мало-помалу забылись пышные церемонии и торжественные приемы в Зимнем дворце, расшитые драгоценностями платья – осталось наслаждаться простым бесхитростным счастьем, что пусть в этом некрасивом старом доме у самой кромки Сибири, но вся семья вместе.

Похоже на то, что посреди этих радостных юных чувств одной царице закралась в сердце мысль, что Екатеринбург станет для них Голгофой. Мучимая темными предчувствиями, она не видела другого исхода их екатеринбургскому интернированию, кроме как смерти. И записала: «L'Ange approche»…

Но пока она проливала слезы отчаяния, контрреволюционные силы повсюду начали поднимать голову. Спасаясь от большевиков, генерал Корнилов создает совместно с генералом Алексеевым Добровольческую армию. К ним присоединяются опытные командующие: Деникин, Миллер, Кутепов, Денисов, Краснов… Люди, находившиеся под их началом, были все как один воодушевлены трагическим героизмом. Ввиду опасности со стороны «белых», как их уже называли, красные быстро реорганизовывались под энергичным руководством Троцкого, титулуемого Наркомвоенмор и Предреввоенсовета. Столкновение обещало быть беспощадным. В ноябре 1917 года генерал Деникин поднял юг страны; его добровольческие дивизии устремились к Волге и к Уралу. В Сибири на сторону белых перешел Чехословацкий легион, состоявший из 40 000 бывших пленных, отправлямых теперь на родину через Дальний Восток – их эшелоны растянулись по всей Транссибирской магистрали – и, тесня большевиков, двинулись на Екатеринбург.

Обо всем этом Николаю становилось известно из обрывков

статей, публикуемых местными газетами, да из обрывков разговоров своих тюремщиков. Но он видел во всем этом только путаницу добрых устремлений, из которой не выйдет ничего доброго ни для него самого, ни для его близких. Что особенно поражало его, так это то, что союзники выказывали полное безразличие к его судьбе. И это после того, как он положил свои отборные полки, чтобы отвести угрозу от Парижа, как он отказался подписать сепаратный мир – когда Россия сотрясалась под ударами противника! И вот западные державы начхали на него, бросив на произвол судьбы! Ведут себя так, будто и не было никогда в Петрограде царя! И все-таки представлялось, что по ту сторону границы что-то зашевелилось. Было похоже на то, что союзники после долгих колебаний решили направить в помощь чехословакам в борьбе с российской революцией экспедиционные корпуса по пять тысяч человек от страны. Так что же – во французах и англичанах, пусть и с таким запозданием, заговорила совесть? Можно ли верить, что в один прекрасный день большевики будут биты, красные флаги сползут вниз по флагштокам и царь окажется на свободе? Николай не позволял себе и грезить о возможности такого чуда… Но он с робкою надеждой следил за малейшими признаками нового. В Екатеринбурге несколько подпольных монархистов, при-ехавших из других мест, разрабатывают зыбкие проекты побега, которые тут же расстраиваются. Может, это всего лишь отложенная партия? Терпение, терпение… Николай помечает в своем дневнике: «14/27 июня. Четверг… Провели тревожную ночь и бодрствовали одетые… Все это произошло оттого, что на днях мы получили два письма, одно за другим, в которых нам сообщали, чтобы мы приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми. Но дни проходили, и ничего не случилось, а ожидание и неуверенность были очень мучительными». [297]

Между тем наступление белых армий не на шутку беспокоило городские власти. Знакомый нам член Уральского совета Голощекин срочно направляется в Москву для совещания с председателем Исполкома Яковом Свердловым. Этот последний пристально интересовался судьбой Романовых. Еще в июне младший брат Николая, Вел. кн. Михаил Александрович, депортированный в Пермь, был расстрелян под тем предлогом, что готовился к побегу. Не будет ли это лучшим средством избавиться от этой императорской сволочи?! Как бы там ни было, слишком поздно переправлять Николая в Москву для суда над ним, как того требовали многие члены ЦИКа. Чехи уже окружили Екатеринбург. А что, если они займут город и освободят опального царя? Какой провал в деле революции! Какой триумф в

лагере монархистов! Нет, нельзя терять ни минуты! Вооружившись инструкциями Ленина и Свердлова, Голощекин возвращается на Урал.

В Екатеринбурге Авдеева, которого сочли слишком примирительным, на посту коменданта «Дома особого назначения» заменили Юровским.

Этот последний занялся тщательной подготовкой истребления пленников, скрыв это в тайне даже от наружной охраны. Почти все из тех, в чьи руки местный совет вложил орудие казни, были из числа латышей или австро-венгерских пленных. Тщательно осмотрев все здание, Юровский – ну, точь-в-точь как когда-то Юсупов! – решил, что лучше подвала места для «ликвидации» будет не найти. Равным образом он детально продумал план, куда вывезет убиенных, и заказал доставить ему нужное количество серной кислоты, чтобы облить ею трупы. Педантичный и лютый, он не позабыл ни о малейшей детали. Ему так хотелось, чтобы в Москве гордились им!

… Вторник, 16 июля 1918 года. День прошел, как и все предыдущие: монотонный, серый. Вечером семья села за стол для легкого ужина. Александра Федоровна записала в свой дневник: «Бэби слегка простужен. Все ушли (на прогулку) на полчаса утром… Когда они ушли, Татьяна осталась со мной, и мы читали книгу Библию.[298] Как всегда, утром комиссар пришел в наши комнаты. И наконец после недели перерыва опять принесли яйца для Бэби! В 8 часов ужин. Играли в безик с Николаем. 10.30 – в кровать…»

… Чуть за полночь в комнаты пленников ворвался Юровский, разбудил царскую семью и прислугу и приказал немедленно одеться и спуститься вниз: мол, возможно восстание, слышна стрельба, и находиться в доме долее небезопасно. Сонные, вялые, Николай и Александра Федоровна, их сын и четыре дочурки, доктор Боткин и три человека прислуги поспешно стали одеваться. Юровский с подручными сопроводили их в пустую и грязную комнату, откуда вела дверь в чуланчик. Ее зловещий интерьер освещался керосиновыми лампами. Царь нес на руках царевича Алексея, у которого по-прежнему была перевязана коленка. Великая княжна Анастасия прижимала к груди маленького спаниэля Джимми, принадлежавшего ее сестре Татьяне. Фрейлина Анна Демидова несла под мышками две подушки. В одной из них среди перьев была спрятана шкатулка с несколькими драгоценностями императрицы. Убедившись, что все пленники в сборе, Юровский объявил им, что нужно ждать прибытия автомобилей. По просьбе царя в подвал принесли три стула. Сам он сел посредине, сына посадил справа от себя, а жену

– слева. Остальные стояли, прислонившись к стене. Из смежной комнаты доносился шум: это собирались палачи. Снаружи урчали моторы машин: они были заведены, чтобы заглушить выстрелы в подвале. Появились одиннадцать палачей с оружием в руках. Юровский достал из кармана листок бумаги и зачитал приговор: «Николай Александрович, ваши друзья пытались вас спасти, им это не удалось. Поэтому мы принуждены вас сами расстрелять. Ваша жизнь кончена». Царица и одна из дочерей перекрестились. Плохо расслышавший царь переспросил: «Что?» В этот момент Юровский нацелил свой наган и выстрелил в Николая и наследника, которые соскользнули со стульев на пол. Заработали наганы и других палачей, каждый из которых заранее наметил себе жертву. Жуткой была эта бойня – крики, запах пороха, потоки крови. Хозяева и прислуга разделили общую участь. После канонады Алексей еще дышал; Юровский добил его двумя револьверными выстрелами. Анна Демидова пыталась закрыться подушкой; ее прошили штыком. Менее чем в две минуты все было кончено.[299]

Сразу после этого невинно убиенные были погружены в кузов грузовика и увезены за город. Отъехали 24 версты, остановились в глухом лесу, у заброшенной шахты в урочище Четырех Братьев. Тела были раздеты, одежды искромсаны; были найдены тщательно спрятанные в женских корсетах драгоценности. Опьяненные яростью, палачи раскрошили тела в мелкие кусочки, изувечили их лица ударами прикладов и залили серной кислотой. Затем сволокли на кучу хвороста, облили бензином и запалили. То, что осталось от этого холокоста, было сброшено в шахту.[300]

Эту массу угля и золы и обнаружили белые офицеры неделю спустя, когда победителями вошли в Екатеринбург. Было немедленно организовано следствие; судья Н. Соколов,[301] на которого оно было возложено, идентифицирует тела по множеству найденных на этом страшном месте мелких предметов и запишет показания многочисленных свидетелей. (Как вспоминал сам Соколов, многие не только не пытались скрыть своей причастности к злодейству, но, напротив, бахвалились этим.)

… Когда следы убийства были заметены, Юровский направил в Кремль шифрованную телеграмму: «Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации».

* * *

18 июля 1918 года в ходе очередного заседания Совнаркома, когда нарком здравоохранения выступал с докладом перед своими товарищами, Свердлов попросил слова и доложил холодным тоном: «Товарищи, согласно сведениям, полученным нами из Екатеринбурга, по решению областного совета казнен Николай II. Чехословаки приближались к городу, царь собирался бежать. Президиум ВЦИК решил одобрить эту меру». В зале никто не протестовал. Затем Ленин взял слово и спокойно сказал: «А теперь, товарищи, продолжим чтение проекта постатейно». Причина ясна: исчезновение Николая II – не факт, достойный истории.

В течение сорока восьми часов Президиум сохранял новость в тайне. Когда Троцкий, вернувшись из поездки, задал вопрос, что случилось с царем, Свердлов ответил ему, что по совету Ленина Николай II был расстрелян со всей семьей: Ильич счел, что нельзя оставлять белым живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях.

И далее Троцкий высказывает свое мнение, анализируя факты: «По существу решение было не только целесообразно, но и необходимо. Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не просто для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть наши собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель. В интеллигентских кругах партии, вероятно, были сомнения и покачивания головами. Но массы рабочих и солдат не сомневались ни минуты, никакого другого решения они не поняли бы и не приняли бы. Это Ленин хорошо чувствовал…»[302]

Только 28 июля пресса получила разрешение объявить о событии, и то в лаконичной форме. Многие газетчики кричали на улицах: «Смерть царя! Смерть царя!» «Известия» опубликовали сообщение о казни, добавив, что Александра Федоровна и ее дочери находятся «в надежном месте». Конечно же, Ленину претило пачкать свою репутацию публичным признанием в убийстве жены, детей, врача и прислуги «Николая Кровавого».

Когда подробности убийства стали известны за границей, там поднялась волна гнева и возмущения. В то же время в России, в условиях хаоса и гражданской войны, мнения разделились.

Если монархистов и либералов охватило негодование, то большинство народа отгородилось пугающим безразличием.

«На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, – писал бывший премьер-министр царского правительства Коковцев, – это известие произвело ошеломляющее впечатление: одни просто не

поверили, другие молча плакали, большинство просто тупо молчало. Но на толпу, на то, что принято называть „народом“, эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал.

В день напечатания известия я был два раза на улице, ездил в трамвае или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями… Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью. Самые отвратительные выражения: „давно бы так“, „ну-ка – поцарствуй еще“, „крышка Николашке“, „эх, брат Романов, доплясался“, – слышались кругом, от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали. Видно было, что каждый боится не то кулачной расправы, не то застенка.[303]

Создавалось впечатление, что, мстя Николаю II, восставшему народу хотелось отомстить и всем императорам, до него правившим Россией. Как искупительная жертва, он заплатил за долгие века самодержавного гнета и социального неравенства. Невозможно соизмерить его личные недостатки – пусть кто-то скажет „бездарность!“ – с его трагическим концом. С момента своего восхождения на престол он попал под каток событий. Характер-середняк перед лицом планетарной катастрофы».[304]

Возможно, что, не случись войны 1914 года и революции, предопределенной военными поражениями, его правление эволюционизировало бы в мирную конституционную монархию, и Россия превратилась бы в одну из самых процветающих и могучих мировых держав во всем своем блеске. Как бы там ни было, этот последний император с трагической судьбой, при всех своих ошибках, заслуживает титул Царя-мученика, которым нарекли его последние приверженцы.

Эпилог

Бойня в Екатеринбурге имела следствием многочисленные и противоречивые исследования, интерпретации и теории. В течение длительного времени добросовестно выполненный труд судьи Николая Соколова «Убийство царской семьи», опубликованный в Европе, признавался истиной, не подлежащей сомнениям. Затем в Германии появилась молодая женщина по имени Анна Чайковская, выдававшая себя за чудесно спасшуюся во время расстрела младшую дочь царя Анастасию. Ее появление вызвало волну эмоций в кругах русской эмиграции. Что это – наглое самозванство или ослепительное откровение? Мнения разделились. Несколько приближенных к бывшему царскому двору и впрямь были поражены сходством новоявленной с Великой княжной, но большинство решительно отвергало ее претензии. Неопровержимый факт: она не говорит ни по-русски, ни по-французски, ни по-английски, а только по-немецки – на языке, который подлинная Анастасия всегда отказывалась учить. Ее приверженцы объясняли эту особенность тем аффективным шоком, который она испытала в трагическую ночь с 16 на 17 июля 1918 года. После попытки самоубийства «Незнакомка» влачила жалкое существование в приюте для душевнобольных в Далльдорфе. Затем, увидев в одной иллюстрированной немецкой газете фото императорской семьи, она стала выдавать себя за младшую дочь царя, которую вынес из Ипатьевского дома находившийся среди стрелявших поляк по фамилии Чайковский, увидев, что она еще дышит. После этого необычного заявления она стала героиней череды конфронтаций с близкими Великой княжны. Позже, выйдя замуж за некоего господина Андерсона, она отправилась в Соединенные Штаты и с упорством продолжала свою генеалогическую битву. Тем не менее ни две тетушки Анастасии, ни ее воспитатель Пьер Жильяр, который находился при царской семье в течение тринадцати лет, ни ее гувернантка, ни лакей, ни фрейлина ее матери не признали в самозванке Анастасию при встрече с нею. Бабушка царевны, вдовствующая императрица Мария Федоровна и 17 Великих князей и членов царствующего дома подписали негативное заключение. В их глазах она была всего лишь несчастной выдумщицей, которая докучает своим близким своей манией величия. Проиграв несколько процессов, в которых она пыталась доказать свое происхождение, она в последний раз получила отказ в иске в гамбургском суде 15 мая 1961 года и ушла из жизни 12 февраля 1984 года.[305]

Были и другие лже-Анастасии, появлявшиеся во всех четырех сторонах света;[306] были и лже-Алексеи, самозваные «Великие княжны»; говорят, будто в 1920 году появился даже лжецарь – сперва в Лондоне, затем в Ватикане, где он жил, скрываемый в папской тени.

Наконец несколько историков-детективов, среди которых наиболее важными и серьезными следует считать британских журналистов Энтони Саммерса и Тома Мэнголда, предприняли попытку доказать, что в ночь с 16 на 17 июля были расстреляны только царь и наследник, тогда как другие члены императорской семьи, включая царицу, были перевезены своими охранниками целыми и невредимыми из Екатеринбурга в Пермь: будто большевики сделали это, чтобы иметь про запас «разменную монету» в переговорах с немцами.

Тем не менее ни один из этих якобы выживших не заявил о себе в последующие годы. Трудно представить себе такой заговор молчания вокруг столь важных особ. Вот почему версия о полном истреблении пленников Ипатьевского дома, сторонником которой являлся Николай Соколов, представляется в наши дни наиболее правдоподобной. От себя добавлю, что, если бы в июле 1918 года уральская земля не горела под ногами большевиков, еще можно было бы представить себе сценарий, согласно которому они решили, по соображениям высокой политики, уничтожить нескольких постояльцев Ипатьевского дома и оставить в живых других в качестве заложников для переговоров с западными странами. Но это был явно не тот случай: Белая армия грозила вот-вот ворваться в Екатеринбург. Перед лицом этой все нарастающей угрозы главному комиссару Урала Голощекину, действовавшему с одобрения Ленина и Свердлова, было не до скрупулезностей. Обнажив меч, он не мог тратить время на то, чтобы, расстреляв одних, пощадить других и везти их «в безопасное место» с риском, что по дороге они попадут в руки врага. Нет, все говорит о том, что большевики предпочли самый простой, самый быстрый и самый надежный выход: «ликвидировать» императорскую семью, чтобы не оставлять контрреволюционерам никаких шансов на возрождение царизма в России. Да, разумеется, истребление в таком случае могло быть только немедленным и тотальным. Таковым было требование логики благоразумия.

Остальные вопросы, которые ставит этот чудовищный конец, носят чисто второстепенный характер. По большому счету, какая разница, сбросили ли убийцы останки убиенных в шахту в урочище Четырех Братьев, или увезли куда-нибудь в другое место, потому что не хватило серной кислоты для полного

уничтожения тел? Их ведь все равно не воскресишь! Кроме того, ходило – да и доселе ходит – много разговоров о баснословных сокровищах Николая II, спрятанных за рубежом; в недавнее время было признано, что речь идет всего-то о сумме, приблизительно равной 250 тысячам германских марок, размещенных в одном из берлинских банков, и, кстати, претендент на эти деньги имеется, а именно семья князей Гессенских, откуда родом царица! Да, прямо скажем, жалкий водоворот после грандиозного кораблекрушения…

В пользу версии о непреклонной решимости большевиков методично истребить всех членов императорской фамилии говорит и убийство младшего брата государя – Михаила, совершенное в Перми за 6 дней до бойни в Екатеринбурге, Великой княгини Елизаветы – сестры императрицы, Великого князя Сергея Михайловича, трех сыновей Вел. кн. Константина и сына Вел. кн. Павла – князя Владимира Палея. В следующем, 1919, году сам дядя царя, Вел. кн. Павел и Вел. кн. Николай Михайлович нашли, в свою очередь, смерть от большевистской пули.

Волею случая вдовствующая императрица Мария Федоровна и ее две дочери – Великие княгини Ксения и Ольга – избежали гибели; им удалось бежать из России на британских пароходах. Другие представители императорского созвездия нашли убежище во Франции, в Канаде, в Соединенных Штатах… Для них, как и для миллионов русских, рассеянных по свету, начались долгие годы унижений и тоски по родине. В сердце всех этих изгнанников жила Святая Русь, расстрелянная вместе с царем Николаем II и его семьей.

… Более не существует и Ипатьевского дома в Екатеринбурге, долгие годы носившем название Свердловск, в честь одного из тех, кто выносил приговор семье Романовых. В 1977 году Борис Ельцин – в то время Первый секретарь Свердловского обкома партии – получил из Москвы указание о сносе зловещего здания, которое привлекало слишком много любопытствующих с подозрительными намерениями. Вскоре к дому была стянута строительная техника. Работы велись целую ночь, и к утру дом, служивший тюрьмой и Голгофой царской семье, перестал существовать. Место это закатали под асфальт… Годы спустя во искупление страшного греха на этом месте был воздвигнут белый православный крест. Он постоянно утопает в цветах, возлагаемых последнему русскому царю.

1991 г.

Фото

Александр III с семьей. Вокруг самодержца – слева направо: Вел. кн. Михаил, императрица Мария Федоровна, урожд. принцесса Дагмара Датская, Вел. кн., наследник Николай, великие княжны Ольга и Ксения, Вел. кн. Георгий.

Балерина Матильда Кшесинская – первая любовь царевича Николая.

Царь Николай II и царица Александра Федоровна (урожденная

принцесса Алике Гессенская) на борту императорской яхты.

Коронование царя и царицы в Успенском соборе в Москве. Справа от императорской четы – императрица-мать.

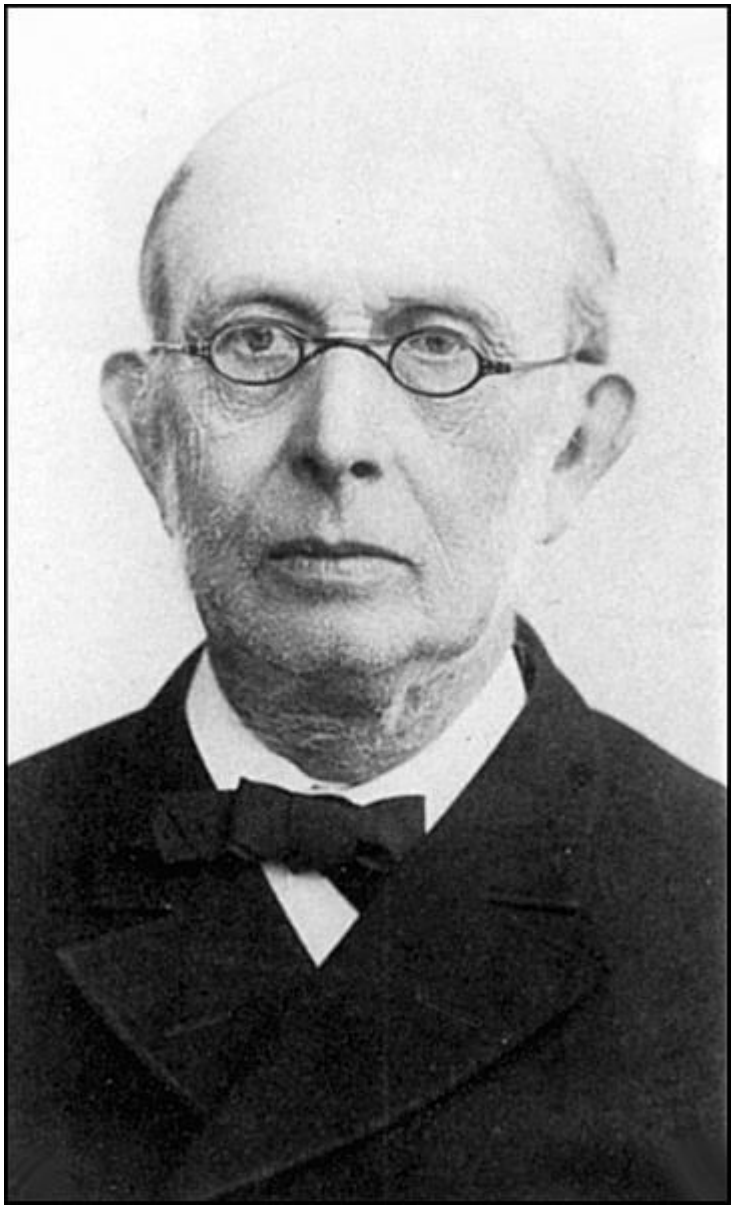
Императорская семья ок. 1906 г. Вокруг Александры и Николая слева направо: Анастасия, Алексей, Мария, Ольга и Татьяна.

Царевич Алексей (ок.1910 г.)

Императрица Александра Федоровна.

Петергоф, август 1913 года. Николай II с двумя старшими дочерьми на военном параде. Справа от государя – великая княжна Ольга в гусарском мундире; слева – вел. княжна Татьяна в мундире улана.

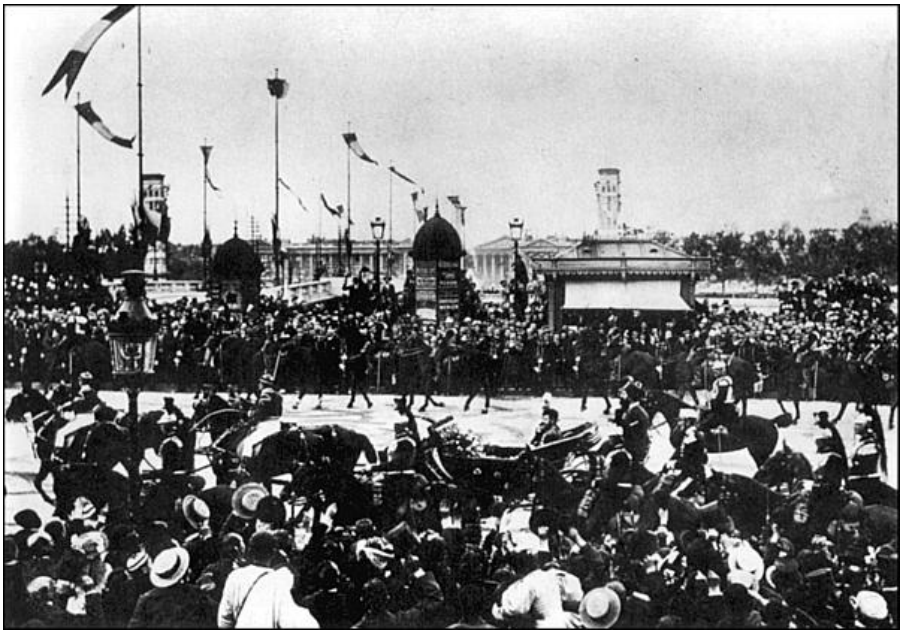
Граф С.Ю. Витте, прозванный «отцом русской индустрии». Был министром путей сообщения, затем финансов. Назначенный впоследствии премьер-министром, он вдохновил императора на принятие Основных законов государства, благодаря которым была учреждена Дума; оказался в монаршей опале в 1906 г.



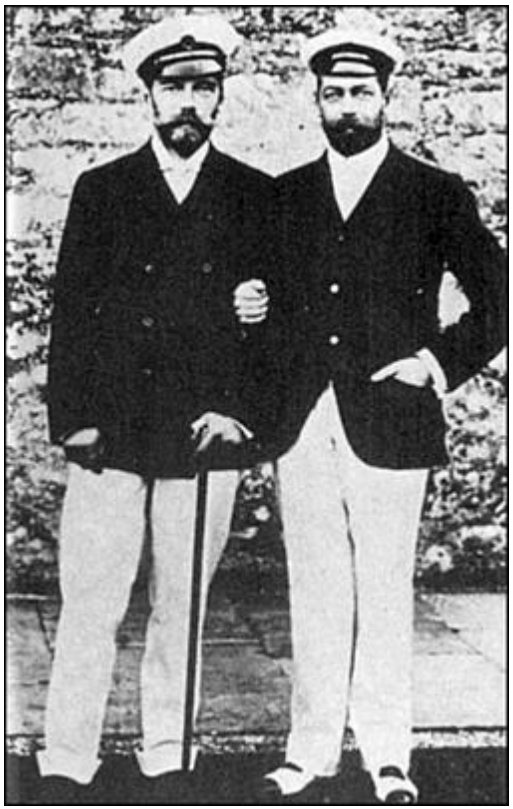
Обер-прокурор Синода Победоносцев – смертельный враг любых реформ.

Петр Столыпин.

Занимал посты министра внутренних дел, председателя Совета министров, на который был назначен после Витте. Считался крайним реакционером в глазах оппозиции и слишком либеральным в глазах дворянства; оказался в политической изоляции и принял смерть от пули в Киеве.



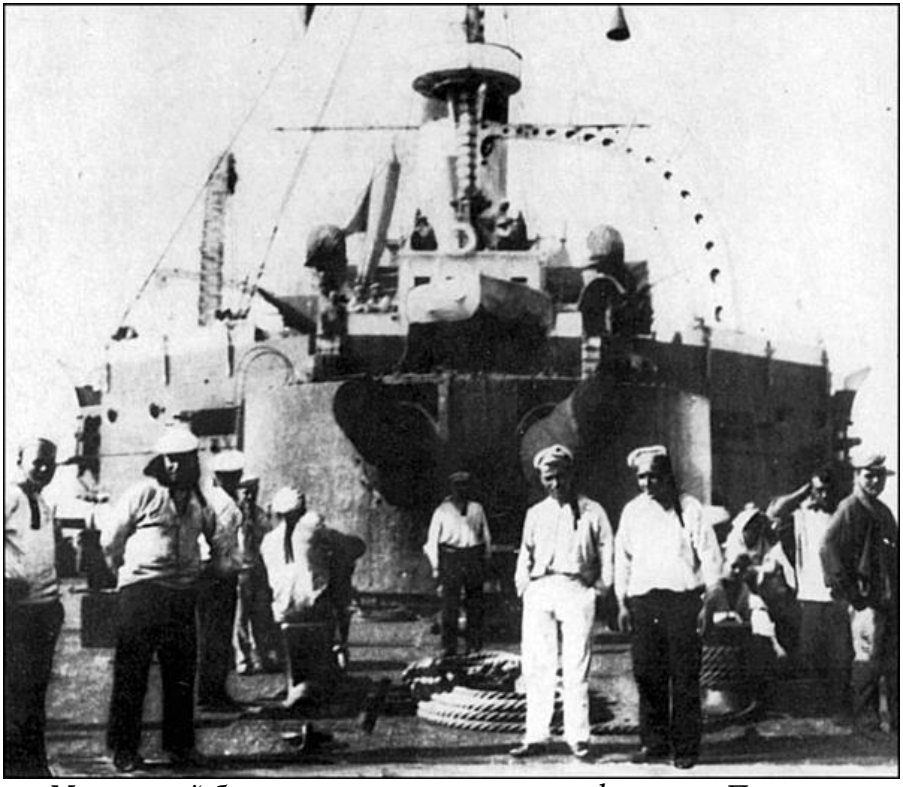
Официальный визит российской императорской четы в Париж (1896 г.). Император с императрицей направляются в русский храм на рю Дарю.



Путешествие в Россию Президента Французской Республики. Раймен Пуанкаре прибывает в военный лагерь в Красном Селе (1914 г.)

На курорте в Коувсе (1909): Николай II (слева) и Принц Уэльский (1865–1936), будущий король Георг V.

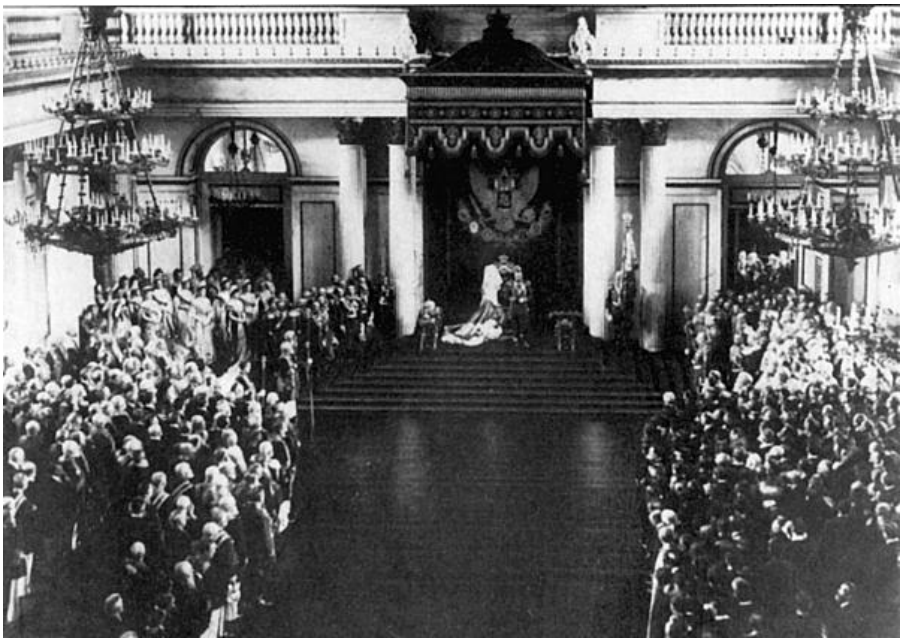
Рисунок из французской газеты «Иллюстрасьон» – последствия Ходынки. Число убитых и искалеченных – до четырех тысяч. В верхнем левом углу – «царский гостинец», в верхнем правом – его убогое содержимое.



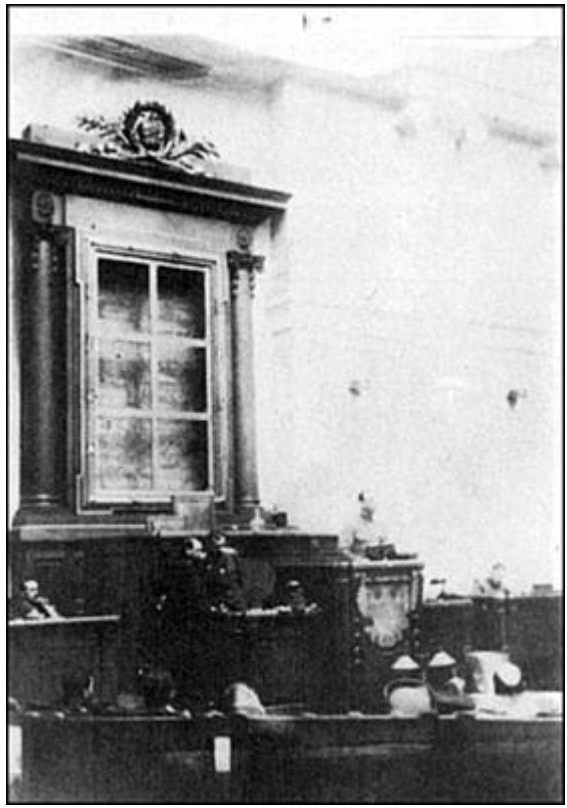
Мятежный броненосец императорского флота – «Потемкин».

«Армия Святой Руси»: Николай II благословляет войска, отправляющиеся на японскую войну.

«На все воля Божья!» – записал Государь в своем дневнике. Спите, герои Русской земли…



Торжественное открытие 1-й Государственной думы в Георгиевском зале Зимнего дворца (1906 г.)



В Таврическом дворце, где происходили заседания Государственной думы. После Февральской революции на месте царского портрета осталась зияющая пустота.

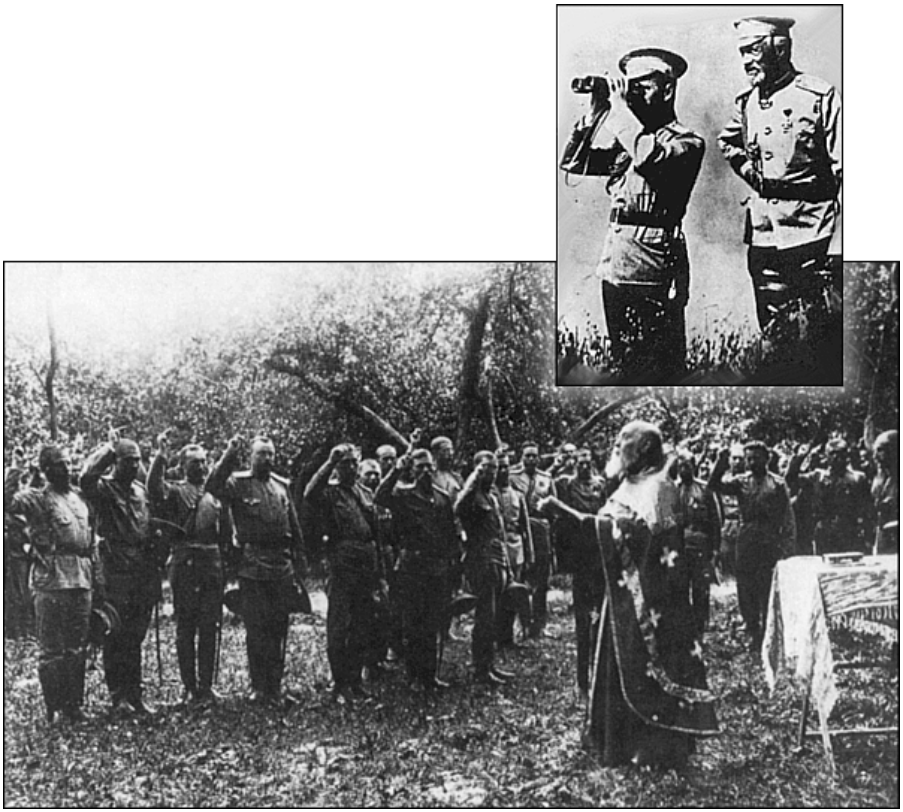
Григорий Распутин (Новых). Был предметом многочисленных карикатур, высмеивающих разом и царскую семью.

Распутин в толпе поклонниц. Справа от старца, с руками,

сложенными на коленях, – Анна Вырубова, наперстница Императрицы, имевшая огромное влияние на нее.

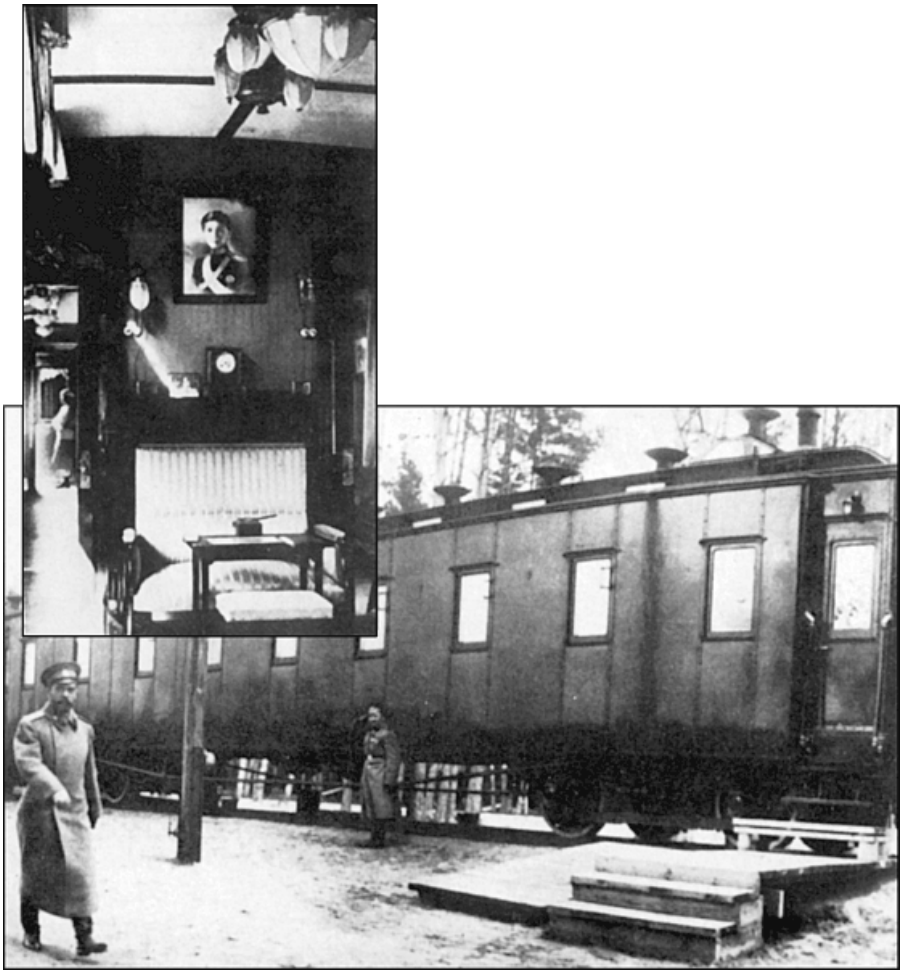
Первая мировая война. Царь объезжает строй солдат-фронтовиков.

На позициях с Вел. кн. Николаем Николаевичем, главнокомандующим русской армией в 1914–1915 гг.



Отправляясь в бой, солдаты дают клятву перед Богом.

Вел. княжна Татьяна в одежде сестры милосердия в годы Первой мировой войны.



Вагон-салон императорского поезда, в котором Николай II подписал манифест об отречении от престола 2 марта 1917 г.

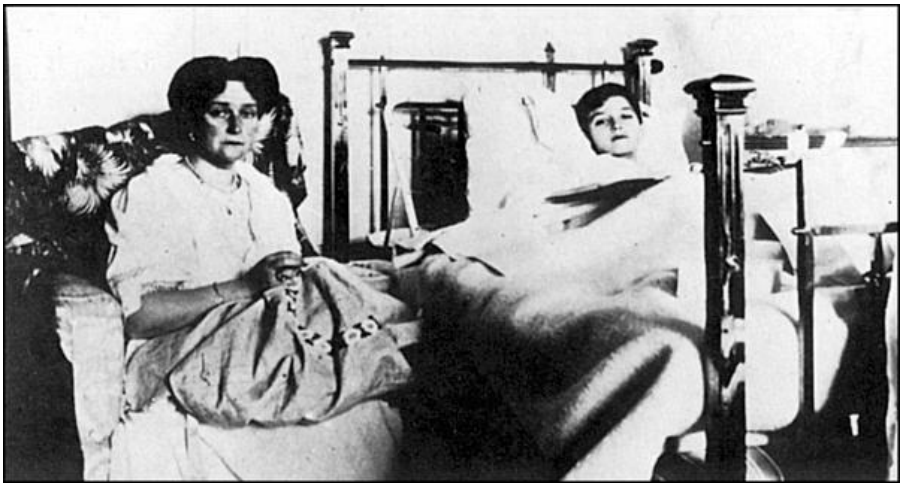
Женский ударный батальон, оборонявший Зимний дворец, где находилось правительство Керенского. Он будет вырезан большевиками…

Революционные дни в Петрограде: солдаты с красными флагами на штыках.

Александр Керенский (1881–1970) – был министром юстиции, военным министром, затем главою Временного правительства, пока не был изгнан большевиками в октябре 1917 г.

Ленин за чтением «Правды». Бесспорный лидер Октябрьской революции перенес столицу из Петрограда в Москву в марте 1918 г.

Троцкий, произносящий пламенную речь перед войсками.



1917 год… Царица у изголовья своего несчастного сына. Всего несколько дней спустя последует отречение царя от престола.

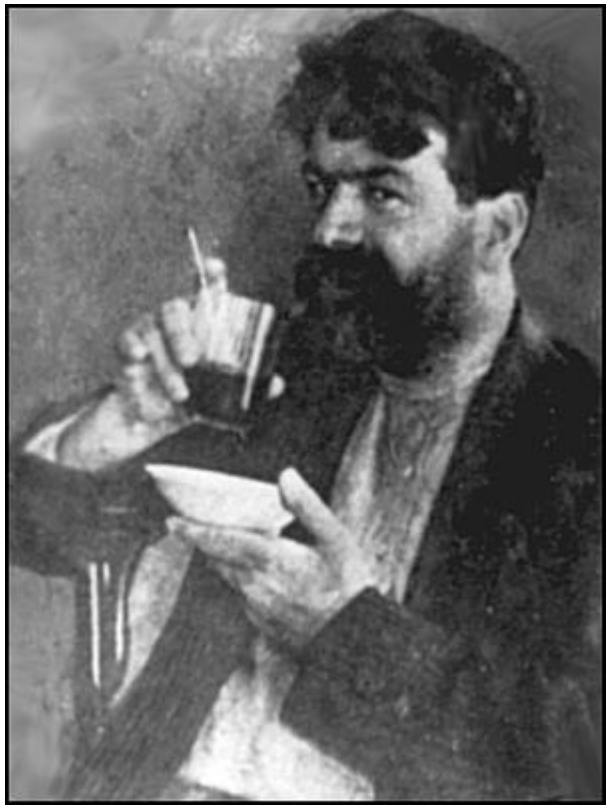
1917 год… Царская семья, интернированная в Царском Селе, за огородными работами. Второй справа – бывший царь; в центре – Пьер Жильяр, который был наставником царевича; в глубине, у деревянной будки, – царица с зонтиком и две великие княжны.

Постаревшая императрица – теперь уже бывшая! – в кресле на колесах.

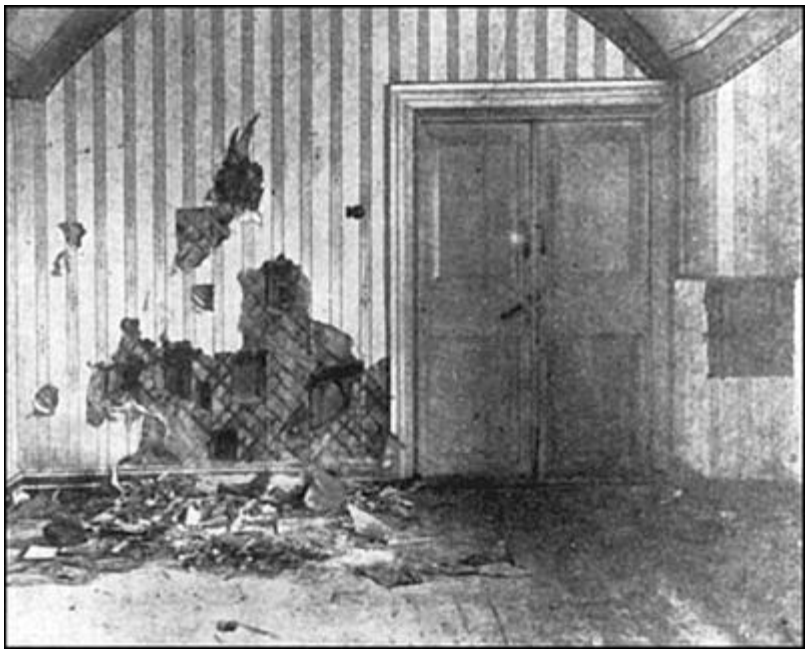
Царевич Алексей и Пьер Жильяр на яхте «Штандарт». Ок.

1911 г.

Доктор Боткин, до конца преданный императорской семье и погибший с нею вместе в Екатеринбурге.



Юровский – один из организаторов и непосредственных исполнителей убийства царской семьи.



В этом помещении «Дома особого назначения» в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля была истреблена царская семья.

С августа 1917 по апрель 1918 г. царская семья находилась в Тобольске. На снимке: бывший царь с детьми наслаждаются скупыми лучами сибирского солнца на крыше теплицы.

notes

Примечания

1

При рождении наследника полагался салют в 300 залпов. (*Прим. пер.*)

2

Помимо Николая, у Марии Федоровны было еще пятеро детей: Александр (умер во младенчестве, 1869–1870), Георгий (1871–1899), Ксения (1875–1960), Михаил (1878–1918) и Ольга (1882–1960). (*Прим. авт.)*

3

Подробнее см.: Сургучев И.Д. Детство императора Николая Второго. Детство и юность российских императоров. – М., 1997, с. 363–454. (*Прим. пер.*)

4

Здесь и далее цит. по: Дневник императора Николая II. 1890–1906 гг. – М., 1991.

5

Петя – Ольденбургский Петр Александрович, князь. (*Прим. авт.*)

6

Альфред Саксен-Кобург-Готский – герцог; *Мария* – жена его, сестра императора Александра II. (*Здесь и ниже прим. авт.*)

7

Сестра Николая.

8

Вел. кн. Александр Михайлович, впоследствии супруг Ксении Александровны.

9

Автор и рассказчик юмористических рассказов.

10

Вел. кн. Сергей Михайлович.

11

Кшесинская М. Воспоминания. – М., 1992, с. 29.

12

У Кшесинской была старшая сестра, тоже балерина. (*Прим. авт.*)

13

Кшесинская М. Цит. соч., с. 36.

Суворин А.С. Дневник. – М., 1992, с. 24.

15

Богданович А.Ф. Три последних самодержца. Дневник. – М., 1990, с. 182.

Кшесинская М. Цит. соч., с. 40, 41.

17

Суворин А.С. Дневник. С. 26.

18

Кшесинская М. Цит. соч., с. 42.

19

Фамилия пишется по-разному: Ламздорф и Ламсдорф. (*Прим. пер.*)

20

Перевод с фрагмента, приведенного А. Труайя. Об отношениях Николая и Аликс глазами В. Ламздорфа см. также: Ламздорф В.Н. Дневник. 1894–1896. – М., 1991.

21

Витте С.Ю. Избранные воспоминания. – М., 1991, с. 285.

Кшесинская М. Цит. соч., с. 47, 48.

23

Кшесинская М. Цит. соч., с. 48, 49.

Кшесинская М. Цит. соч., с. 54.

25

Разговор, переданный princesse Catherine Radziwill: Nicolas II, le dernier tsar. (*Прим. авт.*)

Жениха (*франц.*).

27

В дневнике запись по-английски; перевод цит. по: Дневник императора Николая II… С. 286.

28

Приведено по: Princesse Catherine Radziwill., op. cit. (*Прим. авт.*)

29

Пляж (*франц.*).

30

Русский текст приводится по: Дневник императора Николая II…С. 287.

31

Отец Иоанн Кронштадтский, известный своим благочестием. (*Прим. авт.*)

32

Цит. по: Мэсси Р. Николай и Александра. – М., 1990, с. 48.

Приведено по: Princesse Catherine Radziwill, op. cit.

34

Цит. по: Дневник императора Николая II… с. 110.

35

О важности этого события для формирования мнения о молодом государе (и, очевидно, его дальнейшей судьбы) свидетельствует хотя бы тот факт, что ярый поборник покойного царя С.С. Ольденбург (1888–1940) указывает, что государь, возможно, оговорился, что в тексте могло стоять **«беспочвенные** (*выделено автором*) **мечтания».** См.: Ольденбург С.С. Царствование Николая II. – Белград, 1939. Т. 1, с. 49. **(***Прим. пер.*)

36

Суворин А.С. Дневник. С. 120.

37

До наших дней дошло предание о том, что, публикуя репортаж о коронации, одна из газет созорничала, напечатав: «Митрополит возложил на голову Его Величества **ворону**… А на следующий день, „извиняясь“ за „чрезвычайно досадную опечатку“, „исправилась“: „Напечатано: „Митрополит возложил на голову Его Величества **ворону**“, читай: **„корову“**“». (Есть в сборнике В. Вересаева «Невыдуманные рассказы».) (*Прим. пер.*)

38

Репортаж о коронации взят из «Коронационного сборника», выпущенного сразу после события. (*Прим. пер.*)

39

Суворин А.С. Дневник. С. 131.

40

По свидетельству А.С. Суворина, кружка стоила 10 коп., и на пять копеек гостинцев – вот вся стоимость подарка, за который столько людей заплатили жизнью! (Дневник, с. 130.)

41

По официальным данным, погибло 1389 чел., изувечено 1300. (*Прим. пер.*)

42

Дневник, с. 131.

Princesse Radziwill, op. cit.

44

Луи (*луидор*) – старинная французская золотая монета в 20 франков, а также вообще 20 франков денег; впрочем, другой источник называет совершенно фантастическую сумму в 5000 франков за место у окна (см. Ольденбург С.С. Цит. соч., с. 68).

45

Спаги – солдаты французской африканской конной (позже танковой) части. (*Прим. пер.*)

Зуавы, тюркосы – алжирские стрелки во французских колониальных войсках; *линьяры* – обиходное название пехотинцев (до I Мировой войны). (*Прим. пер.*)

47

Сольферино – селение в северной Италии, юго-западнее Вероны, близ которого 24 июня 1859 года итало-французские войска разбили австрийскую армию.

Maurice Bompard. Mon ambassade en Russie.

49

Ратушу.

Стихотворные строки здесь и далее переведены С. Лосевым.

51

Albert Sorel. «Le Tsar et la Tsarine en France». (Article).

Товарищ министра – в России: заместитель министра, заведовавший наиболее важными структурными частями министерства. (*Прим. пер.*)

53

Georges d'Esparabès. «Le tsar et la tsarine en France». (Article).

Маклаков В. Власть и общественность на закате старой России. Ч. 2. – Париж, 1936, с. 249, 250.

55

Суворин А.С. Дневник. С. 180.

Там же. С. 228, 230.

Юрьев (иначе Дерпт) – ныне г. Тарту в Эстонии. (*Здесь и далее прим. пер.*)

Боголепов умер в марте 1901 г. Его убийца П.Е. Карпович был приговорен к 20 годам каторжных работ, но в 1907 г. бежал с каторги.

59

Суворин А.С. Дневник. С. 346.

Витте С.Ю. Избранные воспоминания, с. 299.

61

Там же, с. 577.

Кшесинская М. Цит. соч., с. 54.

63

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 305, 597.

Кшесинская М. Цит. соч., с. 54.

Princesse Cath. Radziwill, op. cit.

Мосолов А.А. При дворе последнего императора. – СПб, 1992, с. 75–76.

67

Русское слово для обозначения класса интеллектуалов. (*Прим. авт.*)

Слово «интеллигенция» вошло в русский язык с легкой руки забытого ныне писателя П.Д. Боборыкина. (*Прим. пер.*)

69

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 434.

70

Запись от 15 декабря 1900 г.

71

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 594, 595–596.

Суворин А.С. Дневник. С. 279, 280.

73

Сын К. Бенкендорфа, шефа жандармов в эпоху Николая I. (*Прим. автора.*)

74

Новый императорский поезд взамен потерпевшего катастрофу 17 октября 1888 года был закончен в 1894 году и первоначально состоял действительно из 7 вагонов; но уже первые «высочайшие» поездки показали, что этого недостаточно, и к 1902 г. поезд был сформирован заново из 10 вагонов – салон-столовая, спальня, детский, великокняжеский, свитский, служебный, кухня, мастерские, багажный и вагон для прислуги. Стоимость новых вагонов определялась суммой свыше 500 тыс. рублей. (*Прим. пер.*)

Мосолов А.А. Цит. соч., с. 230–231.

Мосолов А.А. Цит. соч., с. 236.

77

Книга Спиридовича «Последние года двора в Царском Селе» (2 т.), неоднократно цитируемая Труайя, на русском языке не публиковалась. Цитаты переводятся с французского либо даются в пересказе. (*Прим. пер.*)

Суворин А.С. Дневник. С. 326.

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 180–181.

80

Отречение было провозглашено 22 февраля 1901 г. в ответ на нападки на православную церковь, содержащиеся в романе «Воскресение». (*Прим. авт.*)

81

Суворин А.С. Дневник. С. 316.

82

«И хотя это „письмо“ было тут же опубликовано в русской печати с категорическим заявлением о его подложности, а корреспондент „Times“'а Брахам, являвшийся передатчиком этой клеветы за границу, был выслан из России – „навет“ на русскую власть пустил глубокие корни». Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 205.

83

«Чтобы не возбуждать пламенных страстей пространными… отчетами в газетах, было решено разбирать его при закрытых дверях; отчеты, впрочем, в тот же день переправлялись в Румынию и печатались во всей иностранной печати». Там же, с. 206.

84

«В город как раз возвращались войска из летних лагерей; до них дошли слухи о том, что „евреи режут русских“, и первые их удары были направлены против тех домов, из которых отстреливались евреи». Там же, с. 209.

85

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 536.

Мосолов А.А. Цит. соч., с. 178, 179.

Это нападение без объявления войны сходно с тем, которое японцы осуществили в 1941 году против американского флота в Перл-Харборе. (*Прим. авт.*)

Цит. по: Дневник императора Николая II… С. 130.

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 235.

Цит. по: Суворин А.С. Дневник. С. 371.

91

Суворин А.С. Дневник. С. 371.

Там же, с. 377.

93

Там же, с. 371.

Суворин А.С. Дневник. С. 370.

95

Неправильно писать его фамилию «Рождественский», как это традиционно делается. (*Прим. пер.*)

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 431.

Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 254.

Суворин А.С. Дневник. С. 380, 381, 383.

Цит. по: Боханов А. Император Николай II. С. 230.

100

Цит. по: Дневник императора Николая II… С. 199, 199–200.

101

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1. с. 254–255. С небольшими разночтениями приводится и в «Дневнике» Суворина.

102

Суворин А.С. Дневник. С. 395.

103

Разброс цифр по численности русских войск, сданных японцам при капитуляции Порт-Артура, огромен: Труайя называет цифру в 35 тыс., Ольденбург – 45, «в том числе около 28 000 способных носить оружие», сталинский «Атлас офицера» 1947 г. – около 30 тыс.; при этом последний источник, подводя общий баланс убитым и раненным при осаде Порт-Артура, называет цифру: русских – 27 тыс., японцев – 112 тыс. (*Прим. пер.*)

104

В дневнике Николая читаем: «с Васильевского острова». (*Прим. пер.*)

105

Разница [Гапона] с Зубатовым была огромная: тот внушал рабочим, что власть им не враг, а необходимый союзник, тогда как Гапон только пользовался сношениями с властями как **ширмой** (выделено С. Ольденбургом), а вел пропаганду совсем иного рода. Ольденбург С.С. Т. 1, с. 262.

Отметим, что этот документ казался слишком дерзким и для Советской власти – его крайне неохотно цитировали в учебниках и хрестоматиях, зато охотно приводили ответ на нее большевиков. (*Прим. пер.*)

107

Подробнее см.: Гапон Г. История моей жизни.

108

Здесь, как всегда, разброс цифр огромен: спустя два дня после события за подписью пришедшего на смену Святополку-Мирскому министра внутренних дел П. Дурново и министра финансов В. Коковцева было опубликовано правительственное сообщение о 96 погибших и 333 раненых (Боханов А. Император Николай II, с. 203). С. Ольденбург называет, опять же, официальные данные – 130 убитых (цит. соч., т. 1, с. 267); принято же считать, что погибло более тысячи. (*Прим. пер.*)

109

Впоследствии премьер-министр Англии, правительство которого установило дипломатические отношения с СССР. (*Прим. пер.*)

110

Цит. по: Дневник императора Николая II. С. 210.

В Царском Селе. (*Прим. пер.*)

Переведено с французского. (*Прим. пер.*)

113

Сдалась и последняя группа из четырех судов под командованием адмирала Небогатова – по его словам, из желания «спасти две тысячи молодых жизней»; Владивостока достигли только небольшой крейсер «Алмаз» с двумя миноносцами, один крейсер разбился о камни к северу от Владивостока, а три других крейсера, в том числе «Аврора», ушли в Манилу. По поводу трагедии Саша Черный заметил: «От русского флота остались одни адмиралы». (*Прим. пер.*)

Мосолов А. А. Цит. соч., с. 78.

115

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 459.

Григория Вакуленчука. (*Прим. пер.*)

117

С. Ольденбург пишет о восставших вот в каких формулах: «„Потемкин“… оказался на положении пиратского судна… Только насилием он мог добывать себе уголь, воду и пищу. Попытка зайти в Феодосию 22 июня показала матросам безнадежность их положения: население массами бежало за город, а солдаты обстреляли десант потемкинцев, вышедший на берег за углем и водой… Разделив между собою судовую кассу, потемкинцы разбрелись по Европе, а броненосец был возвращен русским властям» (цит. соч., с. 288).

118

У Труайя ошибочно: министр финансов. В действительности речь идет о контр-адмирале, управляющем делами Особого комитета Дальнего Востока А.М. Абазе, племяннике министра финансов при Александре II А.А. Абазы. (*Прим. пер*.)

119

Речь Трубецкого цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., с. 265, 286.

120

Цит. по: Дневник императора Николая II… С. 219.

Выдвигалось также название «Земский собор», но от него отказались, так как условия слишком изменились с XVII века для воскрешения старых форм и названий. (*Прим. пер*.)

122

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 490. По этому поводу остряки злословили: «Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, совсем даже не князь, с успехом подписав о мире параграфы, пожалован за то был в графы». Еще прозвали его «графом Полусахалинским». (*Прим. пер.*)

123

Переписка Николая с матерью дается по публикации в журнале «Красный архив». 1927. № 3 (22), с. 182–209.

Оболенский А.Д. – князь, член Госуд. совета, позже обер-прокурор Синода (окт. 1905–1906 гг.).

125

Глазов В.А. – ген. – лейт., министр народного просвещения.

А вот как злословил по этому поводу сатирик Саша Черный:
Дух свободы. К перестройке
Вся страна стремится.
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин,
Воля улыбнется!
Полицейский, будь спокоен —
Старый гнет вернется…(*Прим. пер.*)

127

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 455.

Куплетисты отреагировали на это так: «И долго буду тем враждебен я народу, что вешал я, стрелял, патронов не жалел, что всеми мерами я подавлял свободу и при дворе большой почет имел». (*Прим. пер.*)

129

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 319.

130

Цит. по: «Красный архив», 1925, т. XI–XII, с. 152–153.

131

При освобождении крестьян правительство выплатило помещикам сумму выкупа, которую крестьяне должны были погашать в течение 49 лет по 6 % ежегодно. Сумма исчислялась из величины оброка, который крестьяне платили помещикам до реформы. Ко времени отмены выкупных платежей в 1907 г. правительство успело взыскать с крестьян свыше 1,6 млрд. руб., получив около 700 млн. руб. дохода. (*Прим. пер.*)

Мосолов А.А. Цит. соч., с. 51.

133

Цит. по: Дневник императора Николая II… С. 246.

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 618.

135

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 340, 341.

Витте С.Ю. Цит. соч., с. 602, 614.

137

Так называется французское министерство иностранных дел, расположенное на набережной Орсэ в Париже. (*Прим. пер.*)

138

Текст государевой речи приведен по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 347. У Труайя ошибочно: «порядок на принципах конституции», что приводит его к не соответствующему действительности утверждению: «Это слово „конституция“ в устах государя наверняка наэлектризовало аудиторию». Заметим кстати, что манифест 17 октября был вовсе не конституцией, а лишь декларацией о якобы намерениях государя, которые тот, по большому счету, осуществлял скрепя сердце. (*Прим. пер*.)

139

Коковцев В..Н Из моего прошлого. Кн. 1. – М., 1992, с. 156.

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 348–349.

Камуфлет – афронт, оскорбление. (*Прим, пер.*)

142

Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Кн. 1. – М., 1992, с. 178.

143

Там же, с. 187–188.

144

У Труайя – «к бунту» (a la revolte), что не соответствует характеру воззвания. (*Прим. пер*.)

145

По суду 167 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению сроком на 3 месяца, что лишило их права избираться в следующие Думы. (*Прим. пер.*)

«Участием в одном из таких крупных грабежей создал себе революционное имя Джугашвили-Сталин… При этом грань между политическими и уголовными убийствами стиралась до полной неуловимости: шайки грабителей, убивая полицейских и похищая крупные суммы денег, заявляли, что все это делается „для нужд революции“. Дело дошло до того, что Московский комитет с(оциал) – д(емократов) счел себя обязанным вынести резолюцию против этих „экспроприаций“… Грабежи оказывались слишком большим соблазном, многие „товарищи“… не сдавали денег в партийную кассу, а предпочитали скрыться с добычей. Большевики, в отличие от меньшевиков и „бунда“, не стали отвергать экспроприации: хоть часть денег ведь все-таки попадала в партийную кассу». (Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 362, 368.)

«Красный архив». 1924. № 5.

Эдуард VII, король Английский.

149

Цит. по: Ольдербург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 367.

150

Цит. по: Столыпин: Жизнь и смерть. – Саратов, 1997, с. 395.

151

Третье сословие.

152

У Труайя: Intellectuels primaires. Выражение «полуинтеллигенты» взято у Ольденбурга. Цит. соч., т. 1, с. 374.

153

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 1, с. 375–376.

Государственным переворотом.

155

«*Октябристы*» называются так потому, что их политическая деятельность вдохновлялась Высочайшим манифестом 17 октября 1905 г. (*Прим. А. Труайя*.)

Ники, пора идти! (*англ.*)

157

И, более того, высочайшим повелением вообще выслан из России. (См.: Мосолов А.А. Цит. соч., с. 104.)

Впоследствии Анастасия выйдет замуж за Вел. кн. Николая Николаевича. (*Прим. авт.*)

159

Мартинисты – ученики ясновидца и теософа Луи-Клода де Сен-Мартен. (*Прим. А. Труайя*.)

И родственница знаменитого композитора С.И. Танеева. (*Прим. пер.*)

Княжна Орбелиани умерла в 1915 г. (*Прим. пер.*)

Термин С.Ю. Витте. (См.: Боханов А. Цит. соч., с. 2.)

163

Жильяр П. Император Николай II и его семья. – Вена, 1921, с. 54.

Там же, с. 4.

165

Там же, с. 48.

Там же, с. 8.

167

Там же, с. 19, 20.

Там же, с. 23.

169

Вот иная точка зрения в монографии А. Боханова: фамилия «Распутин» достаточно широко распространена в Сибири и на русском Севере и встречается в летописях уже в первой половине XVII века. В 1906 году Распутин решил поменять свою фамилию и объяснял это намерение в письме царю следующим образом: «Проживая в селе Покровском, я ношу фамилию Распутина в то время, как и многие другие односельчане носят ту же фамилию, отчего могут возникнуть всевозможные недоразумения. Припадаю к стопам Вашего Императорского Величества и прошу: дабы повелено мне и моему потомству именоваться по фамилии „Распутин Новый“. Далее шла подпись: „Вашего Императорского Величества верноподданный Григорий“». – Цит. соч., с. 283. (*Прим. пер.*)

В последние годы публикуются монографии, отрицающие связь Распутина с хлыстами, – см. напр.: Платонов О. Жизнь за царя. (Правда о Григории Распутине.) – СПб, 1996. (*Прим. пер.*)

171

Кн. Ф. Юсупов. Мемуары. – М., 1998, с. 187–188.

172

Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991, с. 163. (Последняя фраза в русском тексте опущена.)

173

Коковцев В.Н. Из моего прошлого, воспоминания. 1911–1919. – М., 1991, с. 95. (Отметим разночтения в написании фамилии: Коковцев и Коковцов. Известен случай, когда некоему поэту сильно досталось от царской цензуры за строчку «**Как овца** в когтях орла» – за созвучие с фамилией премьера.) (*Прим. пер.*)

Фрейлина ее величества. «Дневник» и воспоминания Анны Вырубовой. – Москва, 1991, с. 181–182 (репринтное издание).

Тютчева Софья – камер-фрейлина, внучка поэта Ф. Тютчева.

Фрейлина Ее Величества… С. 185.

177

Фрейлина Ее Величества… С. 185.

178

По сообщению С. Ольденбурга, третьего; партию Бориса пел Шаляпин, хором управлял известный дирижер Эд. Направник. «Левые круги долго потом не могли простить Шаляпину этой манифестации». (Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 66.)

Это случилось 5 марта 1911 года. (*Прим. пер.*)

202 голосами против 82. (*Прим. пер*.)

181

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 78. А вот как о том пишет В. Коковцев: «Престиж Столыпина сразу как-то померк. Клубы, особенно близкие к придворным кругам, в полном смысле слова дышали злобой… Столыпин был неузнаваем… Что-то в нем оборвалось, былая уверенность куда-то ушла, и сам он, видимо, чувствовал, что все кругом него молчаливо или открыто, но настроено враждебно».

182

Отметим, что 3 сентября государь посетил клинику доктора Маковского, где находился Столыпин; в программу его посещения Чернигова входило в первую очередь поклонение мощам святителя Феодосия Углицкого, прославленного в его царствование, в 1896 г. – (*Прим. пер*.)

183

«В Купеческом саду Богров имел возможность убить государя; он этого не сделал, т. к. счел, что убийство царя **евреем** (выделено автором. – *С.Л.*) могло бы вызвать массовые еврейские погромы. Совершив покушение на Столыпина, Богров не только не отрицал своей связи с охранкой, но, наоборот, усиленно подчеркивал ее». (Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 79.)

184

«Он еще с гимназического возраста исповедовал крайние революционные убеждения, но ни одна партия его не удовлетворяла, хотя он и называл себя „анархистом-коммунистом“». (Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 79.)

По этому адресу он проживал с мая 1914 года; отсюда же он уехал навстречу своей гибели декабрьской ночью 1916-го. (*Прим. пер.*)

186

По крайней мере так рассказывал об этом «направо и налево» сам Распутин; см. напр.: Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1911–1919. – М., 1991, с. 86.

Т. е. говорю. (*Прим. пер.*)

188

Цит. по: Платонов О. Жизнь за Царя. (Правда о Григории Распутине.). – СПб, 1996, с. 256. Стиль и пунктуация даны по данному источнику.

189

Там же, с. 250.

Коковцев В.Н. Из моего прошлого. 1911–1919. С. 94.

191

Выражаясь языком нашего времени: «продюсеров». (*Прим. пер.*)

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 86.

193

Цит. по: Боханов А. Император Николай II… С. 300.

Коковцев В.Н. Цит. соч., с. 97.

Constantin de Grunwald, op. cit.

196

По смете на 1914 г. казенная продажа водки давала почти миллиард рублей из общей суммы в три с половиной миллиарда; потребление водки увеличилось с 1911-го по 1913 г. на 16 миллионов ведер – 17 % за 2 года. В ответ на это в народе появились трезвеннические секты, и государь болезненно воспринимал этот народный укор государству. (*Прим. пер.*)

197

Коковцев В. Из моего прошлого. 1911–1919. С. 344.

198

Депутат Государственной думы, член «Союза русского народа». (*Прим. А. Труайя*.)

Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. – М., 1991.

У Труайя ошибочно: «Штандарт». (*Прим. пер.*)

201

Палеолог М. Цит. соч., с. 25–26.

Там же, с. 27.

203

Там же, с. 30, 31.

Там же, с. 33.

205

Там же, с. 37.

Подробнее см.: Платонов О. Жизнь за царя. Правда о Григории Распутине. С. 109–120.

Фрейлина Ее Величества… С. 146.

Повороты дел (*франц.*).

209

Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914–1919. – Нью-Йорк – Москва, 1990, с. 22.

Эта подробность – le buste raide – в русском переводе 1923 г. опущена. (*Прим. пер.*) Палеолог М. Цит. соч., с. 56.

Отметим, что это прозвучало несколько нелогично: ведь в первые дни войны как раз русские наступали по чужой земле, а не наоборот. (*Прим. пер*.)

212

Там же, с. 82.

213

22 августа было объявлено, что запрет сохранится на все время войны; он был постепенно распространен не только на водку, но также и на вино, и на пиво. Наконец, в начале сентября, принимая Вел. кн. Константина Константиновича в качестве представителя Союзов Трезвенников, государь сказал: «Я уже предрешил навсегда воспретить в России казенную продажу водки». И эти слова монарха соответствовали в то время общенародному мнению, принявшему запрет спиртных напитков как очищение от греха. (Ольденбург С. Цит. соч., т. 2, с. 151–152.)

Палеолог М. Цит. соч., с. 94.

215

Там же, с. 97, 98, 99.

216

«В конце февраля 1915 г. союзники предприняли военную операцию, которая могла проложить в Россию путь караванам со снарядами… Союзный англо-французский флот начал обстрел Дарданелльских фортов… Но попытка флотом форсировать проливы, предпринятая 5 марта, привела к тому, что несколько крупных военных судов затонуло от плавучих мин. После этого англичане не пожелали более рисковать своими дредноутами. В своих военных мемуарах небезызвестный Ллойд-Джордж, уничижительно отзываясь о полководческом гении английских и русских генералов, заявил следующее: „Если бы мы отправили в Россию половину тех снарядов, которые затем были попусту затрачены в этих дурно организованных боях, и одну пятую пушек, выпустивших эти снаряды, то не только удалось бы предотвратить русское поражение, но немцы испытали бы отпор, по сравнению с которым захват нескольких… километров французской земли показался бы насмешкой“».

217

Один из бывших свидетелей по делу Мясоедова утверждает, что против него не было никаких улик в смысле шпионажа, и для основания смертного приговора в нем было упомянуто о «мародерстве»; «взял две статуэтки из брошенного дома в В[осточной] Пруссии»: «Его смерть была нужна толпе, подобно тому, как в 1812 году московской толпе была нужна смерть купеческого сына Верещагина». (Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 162.)

Палеолог М. Цит. соч., с. 177–178.

219

Цит. по: Палеолог М. Цит. соч., с. 163–164.

220

Подробности катастрофы см.: Фрейлина Ее Величества… С. 152–156.

221

Там же, с. 148.

Цит. по: Боханов А. Император Николай II. С. 354, 355.

223

Память о «Земгоре» до сих пор сохраняется у русских эмигрантов: так, его имя носит один из домов престарелых под Парижем. (*Прим. пер.*)

Жильяр П. Цит. соч., с. 96.

Тексты писем даются по изданию: Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 3–5. – М.—Л., 1923, 1926, 1927.

Отметим одну деталь: согласно традиции в Ставку женщины не допускались, и даже императрице и Великим княжнам, приезжавшим в гости, приходилось ночевать в своем поезде, а пребывание их в губернаторском доме было всегда кратковременным. (*Прим. пер.*)

227

Симанович А. Воспоминания личного секретаря Распутина. – Ташкент, 1990, с. 35.

Облик старца широко использовался и вражеской пропагандой – так, немецкая газета «Флигенде блеттер» опубликовала злую карикатуру: Вильгельм, измеряющий портновским аршином артиллерийский снаряд, и Николай, стоящий на коленях и измеряющий «орудие главного калибра» у Распутина… Этот рисунок немцы разбрасывали с аэропланов и цеппелинов.

229

Речь идет о выпуске, ввиду того что население припрятывало не только серебряную, но и медную монету, почтовых марок, «имевших хождение наравне с разменной монетой», как значилось на их оборотной стороне. Это было признаком скорого краха твердой российской денежной системы – до «керенок» оставался шаг.

Идя навстречу настроениям общества, Николай согласился на производство следствия о деятельности бывшего военного министра В.А. Сухомлинова, хотя был совершенно убежден в его невиновности. Когда Сухомлинов был заключен в Петропавловскую крепость, он ощущал это как большую несправедливость. Предание его суду по обвинению в измене (как оказалось, на основании явно недостаточных данных) вызвало недоумение в кругах союзников, способствовало зарождению в народе толков о дальнейших «изменах»… Как впоследствии писал Уинстон Черчилль в книге «Неизвестная война» (Нью-Йорк, 1932 г.), «бесспорно, он был только „козлом отпущения“ за неудачи». (*Прим. пер*.)

231

Это был внучатый племянник того барона Штюрмера, который был комиссаром австрийского правительства по наблюдению за Наполеоном на острове Св. Елены. (*Прим. авт.*)

232

Палеолог М. Царская Россия накануне революции. – М., 1991, с. 54, 55.

233

Там же, с. 36.

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 187.

235

Палеолог М. Цит. соч., с. 37.

236

«А.Н. Хвостов должен был уйти, т[ак] к[ак] проникся верой в значение „распутинской легенды“ и увлекся мыслью ее уничтожить – при помощи уничтожения самого Распутина… Дело затянулось, планы Хвостова стали известны самому Распутину, а через него и государыне… Государь… возмутился таким образом действий министра и тотчас же уволил А.Н. Хвостова от должности…» (Ольденбург С.С. Цит. соч. т. 2., с. 190, 191.)

237

Цит. по: Боханов А. Цит. соч., с. 391.

1 ноября 1916 года. *(Прим. пер.)*

Есть и другая точка зрения – по мнению С.С. Ольденбурга, государь с этими указаниями совершенно не считался, и он приводит тому множество примеров: так, 6.IV.1915 г. Распутин не советует ему ехать в Галицию до окончания войны – поездка состоялась. 15.IX советует начать наступление около Риги – никакого наступления не происходит. 12.X.1916 г. умоляет остановить бесполезное кровопролитие на Ковельском направлении – государь игнорирует эти мольбы. (Цит. соч., т. 2. с. 190, 191.)

Princesse Catherine Radziwill. Op. cit.

241

Именно так, со сдвоенным «н», в отличие от Ираклия Андроникова, пишущегося с одним.

Во французском и итальянском языках это слово не содержит отрицательной оценки, как в русском. (*Прим. пер.*)

Юсупов Ф. Мемуары в двух книгах. – М., 2001, с. 200.

Там же, с. 203.

245

Там же, с. 205.

246

В «Воспоминаниях» Арона Симановича встречаем совершеннейшую небылицу, будто в убийстве Распутина принимала участие знаменитая танцовщица Вера Коралли. «В упавшего Распутина стреляли уже все, только Вера Коралли отказалась и кричала: „Я не хочу стрелять“. Ее крик был услышан даже в соседних помещениях». (Симанович А. Цит. соч., с. 113–114.)

247

Цит. по: Убийство Распутина. Из дневника В.М. Пуришкевича. – М., 1990, с. 54.

248

У Мориса Палеолога читаем: «бронзовым канделябром». Очевидно, для большего изящества и красоты слога. (*Прим. пер.*)

249

Описания убийства Распутина у Пуришкевича и Юсупова несколько разнятся в деталях. А вот у Симановича читаем полную небылицу: «По-видимому, Распутин выбрался из воды и потащился по льду, и только благодаря сильному морозу он погиб». (Цит. соч., с. 114.)

Но и в царской семье многие приветствовали случившееся. Так, сестра царицы, Вел. кн. Елизавета Федоровна (которая сама потеряла мужа в результате политического убийства) направила Дмитрию Павловичу и родителям Феликса Юсупова телеграммы: «Только что вернулась вчера поздно вечером, проведя неделю в Сарове и Дивееве… Да укрепит Бог Феликса после патриотического акта, им исполненного». Эти телеграммы, перехваченные полицией, попали в руки государыне. «Она плакала горько и безутешно, и я ничем не могла успокоить ее», – писала Вырубова. (Платонов О. Жизнь за царя. С. 227.)

251

Как пишет Арон Симанович, один офицер по фамилии Беляев каким-то образом узнал об этой иконе и решил ее похитить. Это ему удалось, когда место захоронения Распутина было разорено после Февральской революции. Цит. соч., с. 116. (*Прим. пер.*)

Но даже эта мера показалась многим Романовым слишком жестокой. Узнав о решении государя, 12 членов дома Романовых обратились к царю с просьбой о смягчении участи Дмитрия Павловича. «Мы умоляем Ваше Императорское Величество ввиду молодости и действительно слабого здоровья Вел. князя Дмитрия Павловича разрешить ему пребывание в Усове или Ильинском. Вашему Императорскому Величеству известно, в каких тяжких условиях находятся наши войска в Персии ввиду отсутствия жилищ, эпидемий и других бичей человечества. Пребывание там Великого князя Дмитрия Павловича будет равносильно его полной гибели… Да внушит наш Господь Бог Вашему Императорскому Величеству переменить Ваше решение и положить гнев на милость». На это Николай II наложил резолюцию: «Никому не дано право заниматься убийством, знаю, что совесть многим не дает покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь Вашему обращению ко мне. Николай». (Цит. по: Платонов О. Жизнь за царя, с. 228).

Судьба изгнанника сложилась в дальнейшем счастливо: благодаря разлуке с Россией он избежал участи многих Романовых, не попав в руки большевиков; с осени 1920-го по осень 1921 г. находился в нежных отношениях со знаменитой Габриель Шанель, затем женился на богатейшей американке Одри Эмери и уехал с нею в Огайо, но сохранял трогательные чувства к Габриель до самой своей смерти в 1942 г. (*Прим. пер.*)

253

Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914–1919. С. 68.

Constantin de Grunwald. Op. cit.

255

Палеолог М. Цит. соч., с. 200, 201, 202.

Buchanan G. My Mission in Russia.

257

Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1911–1919. – М., 1991, с. 462, 463, 464.

Кокто Жан (1889–1963) – французский писатель, художник, театральный деятель; близок к сюрреализму.

259

Charles de Chambrun. Lettres a Marie.

Палеолог М. Цит. соч., с. 204, 205.

261

Там же, с. 207–208.

Дошло до того, что представитель Союза городов, тифлисский городской голова Хатисов ездил на Кавказ предлагать Вел. кн. Николаю Николаевичу произвести переворот и провозгласить себя царем. Бывший верховный главнокомандующий отверг это предложение, ссылаясь на монархические чувства армии. (Ольденбург С.С. Т. 2, с. 228.)

Michel de Saint-Pierre: Le Drame des Romanov.

Цит. по: Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 228.

Правда, кое-какие шаги он все же предпринял: Вел. кн. Николаю Михайловичу было предписано удалиться к себе в имение Грушевку в Херсонской губернии, Вел. кн. Кирилл Владимирович был командирован на Мурман, а Вел. кн. Борис Владимирович – на Кавказ. (*Прим. пер.*)

Палеолог М. Цит. соч., с. 216, 219.

Там же, с. 229–230.

268

«В середине февраля сильные снежные заносы замедлили движение поездов… По городу ходили слухи, что скоро хлеба не будет. Обыватели начали делать запасы, печь сухари – и в результате действительно получилось, что запасы хлеба… не удовлетворяли всего спроса…24 февраля в газетах было помещено официальное сообщение: „ХЛЕБ ЕСТЬ“, в котором объяснялось, что… военное ведомство уделило для нужд гражданского населения часть интендантских запасов, и недостаток хлеба был устранен. Движение, однако, не утихло, а продолжало разрастаться». (Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 237–238.)

269

До войны весь промышленный округ Петербурга пользовался дешевым углем из Кардиффа, доставлявшимся морем; блокада морских сообщений вызвала необходимость перехода на донецкий уголь, доставляемый по железной дороге, а между тем непомерная нагрузка на транспорт привела к тому, что у России, имевшей в начале войны 20 071 паровоз, к началу 1917 года в действии осталось только 9071; вагонов соответственно 539 549 и 174 346; но и это не все – из-за сильнейших морозов в феврале 1917 г. замерзли и лопнули 1200 паровозных котлов, а ремонтировать их было некому. (*Прим. пер.*; цифры приведены по: Мэсси Р. Николай и Александра. – М., 1990, с. 342.)

«Для солдат „выступление“ было много страшнее, чем для рабочих: „Вы вернетесь к себе домой, а мы под расстрел“, – говорили солдаты рабочим-агитаторам, которые звали их на демонстрации. Выйдя с оружием на улицу, солдаты знали, что совершали преступление и что только успех может обеспечить им безнаказанность». (Ольденбург С.С. Цит. соч., т. 2, с. 240.)

271

У Шамбрена ошибочно: Александровскую, судя по всему, по Александровской колонне. (*Прим. пер.*)

Charles de Ghambrun, op. cit.

273

Право помещать на своих вывесках изображение двуглавого орла давалось «поставщикам двора Его Императорского Величества»; вполне естественно, это служило хорошей рекламой. (*Прим. пер.*)

Мельник (урожденная Боткина) Т. Воспоминание о царской семье. – М., 1993, с. 52, 53–54.

А вот отрывок из книги Радзинского: «В ночь на 2 марта Аликс постигает новый удар. Около часа ночи во дворец является генерал Иванов – тот самый, которого послал Ники с отборной командой георгиевских кавалеров. В Лиловом кабинете старый генерал рассказывает ей, как были разобраны пути, окружен восставшими эшелон и „распропагандирован“. Георгиевцы отказались выйти из вагонов – не подчинились его приказам. Никто не придет на помощь дворцу. Но опять начинаются ее миражи: она умоляет старика попытаться с георгиевцами прорваться к Ники…»

276

… Кирилл не забыл унижений в 1905 году… И еще он не простил ей грязного мужика. Там же, с. 216.

277

Выстрел милосердия (*франц.*).

Шульгин В.В. Дни. 1920. – М., 1989, с. 252.

У Труайя это звучит так: «Le radis blanc vaut le radis noir! (*Прим. пер.*) Долой самодержавие!» Перед этим новым приступом лихорадки Временное правительство разделилось во мнении: уступить ли давлению масс или попытаться навязать им Михаила, применив в случае надобности силу? Родзянко был категоричен: Михаил тут же должен отречься. Посовещавшись со своими коллегами, он отправился к Великому князю и изложил ему суть вещей. Против его ожидания Михаил ничуть не стал возражать: у него не было ни малейшего желания наследовать престол в этой обстановке раздора и ненависти. «Вы можете гарантировать безопасность моей жизни?» – спросил он. И, заметив смущение в глазах своего собеседника, заявил, что отказывается наследовать престол: «При этих условиях я не могу»… Тут же отредактировали акт отречения, сохраняющий возможность реставрации монархии в будущем. Затем взволнованный Михаил поставил подпись под документом, положившим конец многовековой автократии. Было решено, что Временное правительство опубликует в этот же день два акта об отречении: Николая и Михаила.

В разных источниках встречаются разночтения: Деревенко и Деревенько. (*Прим. ред.*)

281

Фрейлина Ее Величества… С. 208.

282

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Пер. с англ. – М., 1993. С. 230. Отметим, что французский вариант, приведенный Труайя, несколько отличается от цитированного нами – так, в нем сказано не «трагедия», а «психологическая драма». (*Прим. пер.*)

283

Потрясающее свидетельство находим среди «Несвоевременных мыслей» Максима Горького, цитирующего петроградскую газетенку «Живое слово» (июль 1917 г.): «Матрос подвозит вначале Александру Федоровну. Она похудевшая, осунувшаяся, вся в черном. Медленно, с помощью дочерей выходит из каталки и идет, сильно прихрамывая на левую ногу.

– Вишь, заболела, – замечает кто-то из толпы. – Обезножела…

– Гришку бы ей сюда, – хихикает кто-то в толпе. – Живо бы выздоровела.

Звучит общий хохот».

Палеолог М. Цит. соч., с. 299.

285

Боши – презрительное прозвище немцев в устах французов. (*С.Л.*)

Ныне Мурманск.

287

Многие из пассажиров того вагона – как, например, Зиновьев, Радек, Шляпников – через два десятилетия будут истреблены той самой системой, за которую сражались, не щадя сил. (*Прим. пер.*)

Керенский А.Ф. Цит. соч., с. 236.

Его не следует путать с матросом Деревенко, бывшим «дядькой» царевича. (*Прим. авт.*)

Мельник (урожденная Боткина) Т. Цит. соч., с. 70.

291

Здесь и ниже – фрагменты письма от 10 дек. 1917 г. Цит. по: Вырубова (Танеева) А. Страницы моей жизни, с. 270.

У Труайя ошибочно: «и образовании Советского Союза». Это произойдет еще только через пять лет. (*Прим. пер.*)

293

Цит. по: Боханов А. Император Николай II. С. 504.

Жильяр П. Император Николай II и его семья. С. 243–244.

295

Отметим, что пространное объяснение разницы между Ia telegue и le tarentasse, и именно при описании путешествия по этому уголку Сибири, дает Жюль Верн в своей книге «Мишель Строгофф», переизданной в России после революции только в 1990-е годы. (*Прим. пер*.)

Прежде эту обязанность исполнял оставшийся преданным царевичу матрос Нагорный; но случилось несчастье. Один из охранников увидел свисавшую со спинки кровати Алексея золотую цепочку, на которой мальчик повесил свою коллекцию образков. Охранник хотел взять ее, но Нагорный остановил его – и был немедленно арестован, а четыре дня спустя расстрелян. (См.: Мэсси Р. Николай и Александра. С. 427.)

297

Цит. по: Убийство царской семьи Романовых. – Свердловск, 1991, с. 236.

298

Из книги пророка Амоса: «И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь» (1, 15). «Клялся Господь Бог святостью своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами». (4, 2). (Цит. по книге Э. Радзинского «Николай II: жизнь и смерть», с. 404–405.)

299

Подробнее см.: Убийство царской семьи Романовых. Свердловск, 1991. Радзинский Э. Николай II: жизнь и смерть, и мн. др.

Впоследствии судьба жестоко отомстит многим из палачей Романовых – как «заказчикам» убийства, так и непосредственным исполнителям. Петр Войков, член правительства Красного Урала, был убит в 1927 году в Польше монархистом за участие в расстреле царской семьи; латышский революционер Рейнгольд Берзин, командующий фронтом, оборонявшим город от наступающих чехов, который сыграл не последнюю роль в гибели семьи, погибнет в 1938 году в сталинских застенках. Такая же участь постигнет еще многих причастных к расстрелу, в том числе самого Голощекина. Юровский умрет в 1938 году от мучительной язвы, а его дочь Римма, видный деятель комсомола, проведет два десятилетия в лагерях. Члену «отряда особого назначения» венгру Имре Надю царской крови покажется мало: находясь в предвоенные годы в СССР, он санкционирует отправку в застенки Лубянки многих венгерских коммунистов и, наконец, сам окажется расстрелянным в смутном для Венгрии 1956 году. (*Прим. пер*.)

301

Уточним: Соколов проводил следствие уже в 1919 г., при Колчаке. (*Прим. пер*.)

Опубликовано в журнале «Знамя» № 8, 1990 г.

303

Коковцев В.Н. Из моего прошлого. 1911–1919. С. 531.

Таким оно, впрочем, оставалось и в течение долгого времени; блестящей иллюстрацией тому могут служить стихи В.Маяковского, написанные под впечатлением посещения в 1928 году Екатеринбурга (в ту пору уже Свердловска), включая и место, куда были сброшены останки убитых пленников Ипатьевского дома. «Корону можно у нас получить, но только вместе с шахтой», – ехидничал он как в адрес покойных, так и в адрес претендентов на российский престол. (*Прим. пер.*) Как искупительная жертва, он заплатил за долгие века самодержавного гнета и социального неравенства. Невозможно соизмерить его личные недостатки – пусть кто-то скажет «бездарность!» – с его трагическим концом. С момента своего восхождения на престол он попал под каток событий. Характер-середняк перед лицом планетарной катастрофы.

Как бы там ни было, миссис Андерсон увековечила себя, попав в Книгу рекордов Гиннесса, именно благодаря этим рекордным по протяженности тяжбам, длившимся 38 лет. Согласитесь, такая слава все же лучше, чем геростратовы лавры Юровского. (*Прим. пер.*)

306

Последняя из – около тридцати – историй с лже-Анастасиями случилась совсем недавно: очередной «Анастасией» объявила себя некая жительница Тбилиси Наталья Белиходзе (скончалась в декабре 2000 г.). – См. «Моск. комсомолец», 13.07.2002 г. (*Прим. пер.*)